

HEBA



12 • 2024



НЕВА

12
2024

ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Леонид ШЕЛУДЬКО

Стихи • 3

Леонид ИЛЬИЧЁВ

Когда рок-н-ролл был зеленым. *Роман.*

Предисловие П. Барсковой • 8

Мария ЛЕОНТЬЕВА

Стихи • 103

Виктор МИРОШНИЧЕНКО

Мы не успели оглянуться... *Повесть* • 106

Олег РЯБОВ

Рисуночек Пикассо. «Шестисотый». *Рассказы* • 136

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Василий АВЧЕНКО

Космос Шукшина. *Предисловие Е. Попова* • 143

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Игорь МАЛЫШЕВ

Детские игры. *Рассказ* • 149

АРХИПЕЛАГ БЛАГОРОДСТВА

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

«Она не боится самого прокурора...» • 152

ПУБЛИЦИСТИКА

Константин ФРУМКИН

Куда эволюционирует мораль • 155

Виктор КОСТЕЦКИЙ

Оборотная сторона цивилизации • 167

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

Алексей СЕМКИН

Бунин и Тэффи. Об одной любопытной
сюжетной перекличке • 176

Вера КАЛМЫКОВА

Прирученный авангард, или Что такое
тотальность искусства • 182

Вячеслав СВЕШНИКОВ

На Таганке • 192

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Искусство чтения. Ирина Чайковская. К вопросу
о поэтике Чехова. **Собачка в «Даме с собачкой».** **Тер-**
ритория памяти. Станислав Минаков. Дочь Тарков-
ского, сестра Тарковского, мать Тарковского... **Ре-**
цензии. Елена Севрюгина. Поэзия критики. **Книж-**
ный остров. Публикация Е. Зиновьевой • 213

ПИЛИГРИМ

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

Харбин — «русский Китеж». Часть 19 • 227

Содержание журнала «Нева» за 2024 год • 251

Издание журнала осуществляется
при финансовой поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы»
запрещена. Электронную распечатку рукописей присылать
на почтовый адрес журнала
(191186, Санкт-Петербург, а/я 9).

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор

Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих (шеф-редактор гуманитарных проектов). **Ольга Малышки-**
на (шеф-редактор молодежных проектов). **Елена Зиновьева** (редактор-
библиограф). **Наталия Ламонт** (редактор-координатор).

Дизайн обложки **А. Панкевича**

Макет **С. Булачевой**

Корректор **Е. Рогозина**

Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2024

Леонид ШЕЛУДЬКО

ТРИ ВОЗРАСТА ОДИНОЧЕСТВА

1

Выкрасить волосы, выбрить виски,
брюлик в ноздрю, на запястья тату —
зверь-одиночество спрячет клыки
и убежит в темноту.

2

Когти тату отдираю от рук.
Что же со мною не то и не так,
зверь-одиночество, злобный мой друг,
зверь-одиночество, добрый мой враг?

3

Ночь вычитают часы за стеной,
стынет звезда бесприютно в окне,
зверь-одиночество, теплый, ручной,
жмется у ног и вздыхает во сне.

* * *

Баба теперь мужик.
Так поверни и так.
Бритвой по венам вжик.
Лайкни меня, чувак.
Двинуло солнце вспять.
Западом стал восток.
Лишний, как буква ять.
Лайкни меня чуток.
В тренде у них бабло.
Возле него тусня.
Если не запаadlo,
лайкни хоть ты меня.

Леонид Николаевич Шелудько — горный инженер-механик, родился в 1952 году в Чите. Автор книг стихов «Дорога через осень» (2005), «Бумажный голубь» (2007), «Рыжий» (2009), «Путь» (2016), «Брага» (2022). Стихи и проза публиковались в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Начало века», «Слово Забайкалья», «После 12», «Нева», «Невский альманах». Член Союза писателей России. Живет в Санкт-Петербурге.

Я бы ушел в дацан,
если бы был бурят.
Лайкни меня, пацан.
Видишь, мозги горят.
Лайкни меня хоть кто,
лайкни меня скорей!

Конь в голубом пальто
скалится у дверей.

* * *

Толку нет в последнем золотом,
если сказка показала дулю.
В ключик мой и дверцу за холстом
как я верил! Как меня надули...
Папа плакал, хмурился Толстой,
у Мальвины покраснели глазки:
я отдал последний золотой,
лишь бы убежать из детской сказки.
Длинный нос укоротили враз,
попросту сломали в первой драке.
Он теперь обычный, как у вас,
и я знаю, где зимуют раки,
а еще — удобней одному.
Мне родня кедровое полено.
Ничего не должен никому,
я никто — и мир мне по колено.
Я у вас единственный такой
изо всех попавшихся навстречу.
Тыкнете рукой, или клюкой,
или словом, даже не замечу.
По колено высший свет и дно:
или банк сорву, или бомжую.
Встретил раз Мальвину в казино.
Пьяненькую. Милую. Чужую.

ЧУЖАЯ

Как будто в гости приглашая,
когда закончу я дела,
мне ветку яблоня чужая
поверх ограды подала.
Ее хозяин, ладный, крепкий,
за пару лет лишь пару раз
мелькнул на даче белой кепкой
да парой фраз.

Оправдывался, уезжая:
«С утра до ночи, как юла!»
Мне ветку яблоня чужая
поверх ограды подала.
Я ей сказал тогда всего-то:
«Ну как, красивая, дела?»
Меня ждала моя работа,
а яблоня — она цвела!

Недели в месяцы итожа,
катилось лето с высоты,
взрослее дела и строже
природы прежние черты,
пророча время урожая,
и власть его, и страсть, и сласть.
И эта яблоня чужая
ждала-ждала и дождалась.

Трудилось солнце вполнакала,
и вполнакала я в саду.
И кепка белая мелькала.
Впервые в нынешнем году.
Ее хозяин у машины
медовых яблочек полмешка
уже сложил. Лишь до вершины
не добралась его рука.
Чужую мне, он, как воровку,
как не свою, соседку тряс,
являя к этому сноровку
и зоркий глаз.
Он тряс ее и снова лапал.
Считал, что вправе, по всему.
Но прав и голубь, что накапал
на кепку белую ему.

ПЕШКА

1.

Их прикрывает грудь моя
и остальных таких, как я,
и потому пока что целы,
полны отваги и вранья
король, и вся его семья,
и конница, и офицеры.

Я пешка. Жизнь моя доска.
Я верю воле игрока,
и у меня есть все, что надо:

под гимнастеркою душа,
да «сидорок», да ППШ,
да две гранаты.

Вот-вот настанет мой черед
идти вперед. Пойду вперед,
хоть с детства ненавижу драки,
но с этой шахматной доски
бежать, сбивая каблуки?
Мой ход, вояки!

Как знать, что вражий офицер
меня разглядывал в прицел
неторопливо, будто в тире?
И я упал, едва-едва
перешагнуть успел с е2
на е4.

2.

Нам бы двинуть примерившись,
чуть погодя.
Но на поле, раскисшее после дождя,
на его черно-белые клетки
мы вломились, солдатскому долгу верны,
мы вломились, удачей былою пьяны,
напрямик, напролом, без разведки.

А за ним полустанок в дыму и огне.
Там победа, которая вечно в цене.
Из развалин на том полустанке
бьет по нашим упорная вражья артá,
разбивая и гусеницы, и борта
в чернозем увязнувшим танкам.

Я команды «назад» не услышу в бою.
Вот и пру напролом, вот и кровью плюю
на себя и на драки причину.
Догорел полустанок, горит окоем,
мы из наших остались вдвоем с королем,
и король прикрывает мне спину.

Кто-нибудь,
не бывавший ни дня под огнем,
это поле и все, что случилось на нем,
отшлифует до глянца ли, лака.
На последней черте я упал в чернозем.
Взял и умер. И тут же родился ферзем.
И над нашей победой заплакал.

* * *

Зеленый старенький вагон.
Печаль ночного перегона.
Звезда, летящая вдогон,
не отставая от вагона.
Струится холод из окна,
и одеяло от болтанки
сползает на пол. И луна,
и фонари на полустанке,
полночный бег, забытый стог,
луной облизанные ели,
и чей-то плач, и грустный Блок:
«в зеленых плакали и пели».
Чужие могут не понять
такой размах, такие дали.
Чужие могут попенять
и попинать, понять — едва ли
зеленый старенький вагон,
печаль ночного перегона,
звезду, летящую вдогон,
не отставая от вагона.

Леонид ИЛЬИЧЁВ

КОГДА РОК-Н-РОЛЛ БЫЛ ЗЕЛЕНЫМ

Роман*

Улыбающийся рассказ о жизни

О романе Леонида Ильичёва «Когда рок-н-ролл был зеленым»

Долгие годы я испытывала нечто вроде легкого печального раздражения, сталкиваясь с текстами о позднесоветском прошлом, — мне казалось, что эта эпоха отошла в сумерки истории, где покрылась пылью, как детские лыжи или гитара, и на какое-то время перестала производить смыслы.

Однако сейчас очевидно, что это было заблуждение — что-то вроде горькой иронии судьбы.

История в своем обычном лукавстве изогнулась, вывернулась и предложила нам новый набор карт, в котором именно позднесоветский период оказался остро важным для понимания, проживания нашего сегодня да и, возможно, выхода из него.

Именно в тех десятилетиях мы ищем сегодня ответы на наши зияющие вопросы.

Роман-воспоминание Леонида Ильичева «Когда рок-н-ролл был зеленым» служит именно такой задаче внимательного исследователя — заново войти в поток времени, попытаться понять его и собственную личность в этом потоке.

При этом складывается достаточно парадоксальная ситуация: автор-повествователь показывает нам пласт, который не слишком легко связывается с мифологией советскости — существование молодых людей в мире музыки, причем именно рок-музыки. Таким образом нам сразу заявлено, что позднесоветское — это не только блеклая вывеска «Слава КПСС!», не только пустые витрины магазинов и эзопов язык — все гораздо сложнее: перед нами борьба молодых (и не только) людей за свою внутреннюю свободу.

Именно этот сюжет кажется мне наиболее важным и увлекательным в прозе Л. Ильичёва.

Какова же эта проза по своему существу, по своей фактуре?

Перед нами легкий, прозрачный, слегка улыбающийся рассказ о жизни, замечательно внимательный к ее подробностям, драгоценным деталям. Мне кажется, это сообщает литературной машине времени истинную власть: читатель переносится на десятилетия назад, вместе с рассказчиком читатель теперь волен не знать исхода судьбы, но наслаждаться открытостью, возможностью — все роковые ошибки и сожаления еще впереди.

Я сердечно рекомендую эту прозу тем, кто хочет силой воспоминания перенестись в мир, где играть другую музыку было актом дерзости, где молодые люди посредством знания и искусства искали способы перехитрить угрюмого Левиафана.

Леонид Ильичёв — литератор. Публиковался в коллективных сборниках «Ковчег» (2019), «Рукопожатие Кирпича» (2020) и литературных журналах.

* Журнальный вариант.

НЕВА 12'2024

Но особенно я рекомендую этот текст молодым — возможно, именно им сейчас эта книга о поиске внутренней свободы, о борьбе со страхом, всегда с легкой насмешкой, может быть особенно полезна. Сокращенный журнальный вариант, полагаю, станет стимулом прочесть роман целиком, чтобы яснее вспомнить или понять ту эпоху.

Полина БАРСКОВА

Пролог

Поезд опаздывает на полтора часа. Стоянка — минута, а у нас багажа на полтонны: инструменты, неподъемная басовая тумба, ударная установка, звуковая аппаратура, усилители, микрофоны, провода, новенький ревербератор, мои инструменты — скрипка с органомой, гитары. На областной слет «Мурманск-1971» едут студенты из стройотрядов со всего Кольского полуострова, и если бы не помощь попутчиков, пришлось бы рвать стоп-кран — во Дворце культуры рыбаков собралось две тысячи человек. Концерт прервался, ждут нас.

В спешке мы разгружаемся, подключаемся, настраиваем инструменты, пробуем микрофоны, и все это под аккомпанемент ровного гула голосов из зала и коротких всплеск аплодисментов на каждый звук электрогитар.

Наконец занавес едет, полный свет, басист на сцене один, он начинает: «Та-та-та-а, та-та-та-та-а», и одновременно зал, разогретый за полтора часа ожидания, взрывается в две тысячи глоток, узнавая «Deer Purple»: «А-а-а-а!» Мы выскакиваем из-за кулис, подбегаем к стойкам, ударник на бегу запрыгивает за барабаны, и... тарелка слетает с установки и со звоном скачет по сцене, а ударник за ней, ловит и водружает на место, но басист все это время непреклонно повторяет заход из «Smoke on the Water».

Ситуация спасена, и тут наконец мы набрасываемся на микрофоны:

На пригорке в красном домике живет дружная семья.

Там не люди и не слоники, там квартира муравья.

Слова дурацкие, самопальные, но со смыслом: группа называется «Зеленые муравьи». Впрочем, что слова! Главное — драйв.

Дальше — гитарный запил, импровизация — и поехало. Битловские вещи, арии из рок-оперы «Jesus Christ Superstar», «July Morning» — сложнейшая композиция группы «Uriah Heep», — и потом весь репертуар.

Неважно, на каком языке — слов песен мы до конца не понимаем, смысл передается через гармонию и ритм, рок шире своего времени и границ. Как поет Джон Леннон:

Imagine all the people
Livin' life in peace.
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one.

И мы вслед за ним повторяем:

Просто представь,
Что больше нет границ
И не за что убивать и умирать.
И нет религий.
Представь, все люди живут в мире.

Ты можешь назвать меня мечтателем,
 Но я не один такой.
 Когда-нибудь ты поддержишь нас,
 И мир станет един.

После концерта, в поезде на пути домой, в Ленинград, мы ощущаем себя звездами. В нашем купе толпится народ, девочки поглядывают с интересом, улыбаются, парни хотят дружить. Не знаю, как дальше сложится судьба группы, но такое чувство, что теперь я обязательно найду себя, теперь я не потеряюсь.

НАЧАЛО

Абитуриент-1967

Начало занятий в институте перенесли на октябрь, а четвертого сентября, сразу после зачисления, всех первокурсников отправили в совхоз на уборку урожая, в Ленинградскую область. Условия казарменные, зато быстро перезнакомились.

Вечерами сидели у печки, грелись, болтали, пели песни.

Высокий худой парень с детской застенчивой улыбкой на слегка скуластом лице выделялся своим сильным высоким голосом. Тенора, как мне казалось, должны иметь широкую и короткую грудную клетку, а у Саши была фигура голодающего ковбоя, только без лошади. Зато с собой у него была гитара, а рот он раскрывал так широко, что туда можно было вертикально поставить спичечный коробок. Все пробовали, но повторить такое никто не сумел. Он тут же оброс толпой новых приятелей. На поле в ожидании ящиков или бортовой машины, на которой нас развозили, мы дружно распевали то, что постоянно крутили по радио. Прежде я гордился силой своего голоса, но перепеть Сашу мне не удавалось, зато получалось твердо вести вторую партию, и у нас с ним сразу сложился дуэт. А иногда, когда кто-то из однокурсников был в состоянии заменить меня и петь втору, я подпевал басом, получалось красивое многоголосие.

За месяц вспомнили все, что знали с детства, слова всплывали сами собой:

Снова замерло все до рассвета,
 Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
 Только слышно — на улице где-то
 Одинокая бродит гармонь.

Эта песня была одной из самых любимых.

— А давайте сколотим ансамбль, — сказал Саша. — Все девчонки будут наши! У меня в школе была группа.

— Закончишь институт, делай что хочешь, — отреагировал отец, когда я уже дома обмолвился насчет ансамбля. А раньше он говорил: — Поступишь в институт, делай что хочешь.

Поступить в институт, который мне выбирали родители, непросто. Конкурс большой, а Механический институт престижный и маленький, всего три факультета, вечерний не в счет. С медалью нужно сдавать только один экзамен — физику, но только на пятерку, и тогда можно претендовать на лучшую специальность. А какая лучшая? Факультеты, кафедры — названия одно туманнее другого: «Динамика полета и управ-

ление», «Летательные аппараты», «Двигатели летательных аппаратов». Чем отличаются? Мне семнадцать, и я ни сном ни духом, а ведь профессию, как жену, выбирают на всю жизнь.

По институтским правилам, если сдал экзамены на «отлично» — берут на первый факультет, значит, он самый-самый; сдал чуть похуже — на второй, а остальных — на третий. Так же четко калибруют и по специальностям. Отец обычно советует искать золотую середину. И я высчитываю средний факультет и среднюю специальность. Буду конструктором летательных аппаратов! <...>

Большинство одноклассников — мальчики, много детей военных, в основном все после школы. Девочек всего две, да и то из них одна — вылитая комиссарша, а другая метит в космонавтки, выходит, почти мужской монастырь, а зачем они пришли именно сюда и чему хотят учиться, знают только отдельные личности, как это выяснилось уже на морковных грядках. Один энтузиаст с горящими глазами наезжал на меня: давай, мол, не теряя ни минуты, на пару строить вертолет. Я вяло отнекивался и предлагал подождать хотя бы до возвращения в город. Все, что я умею из дачного опыта, это выпрямлять кривые гвозди из старых досок. Летательные аппараты меня пока не волнуют, другое дело литература, математика и даже теория музыки, в конце концов.

Другой парень из потока переживает, что попал не в ту группу: он мечтает стать конструктором космических кораблей, а это значит двигатели на жидком, а не на твердом топливе! Ух ты! А я, значит, на жидком, вот счастье-то!

Но когда начинаются занятия, я все же решаю учиться всерьез: пора перестать всюду опаздывать, и учебники надо читать, и к следующей лекции готовиться заранее. В первый же день возвращаюсь домой, обедаю, раскрываю «Начертательную геометрию» и... обнаруживаю, что заснул на третьей странице. С тех пор живу, как обычный студент, учебники больше не открываю, только железно хожу на лекции.

Саша, мой голосистый знакомый, учится в соседней группе и после каждой лекции караулит меня со своим проектом ансамбля «как у Битлз». Здесь же в институте учатся ритм-гитарист их школьной группы, и на большой перемене Саша знакомит меня со своим одноклассником по прозвищу Стец. Тот попал на другой факультет, и чтобы укрепить конструкцию будущей мифической рок-группы, переводится на наш поток. Если Саша говорит об ансамбле в духе романтических мечтаний, то Стец кажется более прагматичным. Он загадочно молчит и открывает рот, только чтобы сказать: «Ты прав, мужик» или «Ты не прав, мужик», но при этом всем своим видом показывает, что ансамбль делать надо.

Я киваю. Я много лет пилил на скрипке, но вундеркинда из меня не вышло. Да что говорить, за все десять лет музыкальной школы так и не научился как следует играть на фортепиано. В наследство досталось лишь бесполезное для будущего инженера умение «слышать нотами». Каждую мелодию, каждый аккорд я мысленно «сольфеджирую» и могу разместить на нотном стане со всеми палочками и хвостиками, длительностями и тактами. Из-за этой способности кайфа от процесса я не получаю и считаю, что музыку не люблю. Но рок, может быть, не в счет?

Регби. Команда образца 1967–1969

Нам велели приехать на стадион Ленина на Петроградской стороне, на соревнования. По их результатам будут набирать в спортивные секции — в расписании два года обязательной физкультуры с зачетом в каждом семестре, а без физры к экзаменам не допустят. В школе были прыжки в длину, в высоту, стометровка, а тут надо сдавать

еще и плавание в открытом бассейне, к тому же этот открытый бассейн на самом деле — запруда Малой Невы, настоящей волнующейся полноводной реки.

Захлебываясь, я проплыл дистанцию. Погода осенняя, в воде терпимо, а выходить холодно, и дождичек моросит. С непривычки я устал, побрел к выходу и уже подходил к воротам, как меня окликнули.

— Молодой человек!

Я обернулся. Меня догонял щеголеватый мужчина.

— Вы за какое время стометровку пробежали?

Вопрос неприятный, мало ли какое у кого время, чего он спрашивает, но я все же признался:

— Четырнадцать и шесть.

Он выдержал паузу и говорит:

— Приходи в регби, нам всякие нужны.

Несмотря на сомнительность формулировки, я обрадовался: меня еще никуда не приглашали, попаду, значит, хоть в какую-то секцию, а не с дохликами на общефизическую. Я сразу согласился, хотя слово «регби» услышал впервые.

— И друзей приводи, — добавил тренер, — спросишь Варакина.

И я привел в команду Сашу, уговорил его пойти со мной за компанию. Стеца тоже звал, но он уже записался в самбо.

Из спорта за плечами у меня были только избыточный вес и природная гибкость, но вряд ли способность достать локтями пол так уж важна в игре с мячом. Никакой спортивной подготовки у меня не было, однако тренер отнесся к неуклюжему новичку как и ко всем, уважительно и ровно. Борис Александрович был неизменно вежлив, сдержан и здоровался со мной легким кивком головы. А я ходил на все тренировки и усердно отрабатывал главный прием регби: пас назад овальным мячом на беге вперед с разворотом корпуса в одну сторону и одновременным махом ноги в другую. Мало того, этот овальный мяч надо было закрутить так, чтобы он не кувыркался в полете, а летел, вращаясь строго вокруг длинной оси, иначе его не поймать. Не знаю почему, но меня это очень увлекало, так что через месяц-другой мои успехи в регбийной эквилибристике были замечены, и тренер на мое приветствие стал отвечать «Здравствуй!».

Но стоило только пропустить занятие, пусть даже и по уважительной причине, тренер не здоровался, а если много пропустить, то вообще переставал замечать. Такие у него были методы воспитания. Весной, когда начались тренировочные матчи, он уже подавал мне руку и пару раз даже называл по имени. Как-то мы вместе шли к метро, и тренер обмолвился, что жена у него — кандидат филологических наук. Я еще сильнее его зауважал и решился спросить, почему регби у нас считается новым видом спорта.

— Неужели раньше о регби ничего не знали?

— Конечно, знали. Первый чемпионат в стране был аж в тридцать шестом. Потом, как водится, начальству что-то не понравилось. Короче, команды расформировали, спортсменов разогнали. Сейчас, слава богу, времена другие.

— Но игра сложная, футбол намного проще. Поэтому популярнее, да?

— Популярнее! Потому что законов никто не соблюдает. Я тут несколько лет работаю, дисциплины у студентов никакой! Лесгафт говорил: в регби сорок семь законов, научись в игре соблюдать — всюду научись. Есть, конечно, ребята увлеченные, вроде тебя. Не представляю, какие из вас инженеры получатся, а я сборную Союза слеплю обязательно.

Я даже загордился, хотя особых успехов за собой не замечал. <...>

Костяк нашей команды составляли выпускники прошлых лет. Капитан Феля уже работал конструктором на Кировском заводе — небольшого роста, плотный, но быстрый

и верткий, то есть Феликс, но не железный. Было еще двое опытных игроков, Бугай и Рычаг. Бугай — мощный в ширину, а Рычаг — мощный в высоту. Остальные — студенты.

Мы подавали надежды. Как-то раз нашим соперником была выдающаяся команда «Спартак» Ленинградского мясокомбината имени Кирова по прозвищу «Мясо». Выиграть у них было непросто: ребята сыгранные, крепкие — мышцы как бычьи окорока. А мы боролись, как львы! Отличную разыграли комбинацию: из-под одного вывернулись, другого уронили, кого-то грохнули, по рукам дали, пас — и мяч в руках у Саши. Отбиваясь и уворачиваясь от «мясных», он героически бежит к линии ворот, его преследуют, спурт — и он прижимает мяч к земле. Ура! Нам засчитывают законные три очка, и мы побеждаем со счетом 15:13.

Когда мы попали в основной состав, у нас появились ошеломительные перспективы: чуть ли не рукой подать до мастеров спорта!

Саша, правда, энтузиазма не проявил.

— Послушай, мы зря теряем драгоценное время, девчонки на регби не ходят. Рок-группа намного важнее, — уговаривал он меня, а сам повадился пропускать тренировки.

Я вслед за ним тоже заколебался, ну и если подумать здраво, свою голову и уши можно употребить с бóльшим толком, чем просто бодаться.

В финальной игре сезона решался вопрос, кто станет чемпионом города. В случае победы это были мы, в случае поражения — команда университета. Мы считались фаворитами.

Стец выразил желание быть нашим болельщиком. На стадион медицинского института на Пискаревке мы ехали на трамвае до самого кольца. Нам сказали, что надо пройти больницу имени Мечникова насквозь и на задворках будет стадион. Больница оказалась целым городком из потрепанных временем и погодой двухэтажных корпусов дореволюционной постройки. Во время войны здесь был госпиталь, но по состоянию корпусов и дорожек казалось, что его бомбили совсем недавно, да и сумрак от густой листвы веселья не добавлял. По дорожкам гуляли выздоравливающие в полосатых пижамах.

Вдруг меня громко окликнули по имени. Это была Татьяна, моя соседка, крупная женщина лет тридцати пяти. Глядя в упор на Стеца, она объявила:

— Меня сюда по «скорой» привезли с печеночной коликой. Условия ужасные, еще и горячую воду отключили, но врачи хорошие.

Мужественный самбист Стец, и так-то невысокий и шуплый, под ее пристальным взглядом как-то весь сжался, обратил взор в пространство и ничего не ответил.

— Сочувствуем, — промямлил я сбоку.

— Я тут пользуюсь бешеным успехом, — продолжала она, снова обращаясь к Стецу, — Видите, там мужики на скамейке. Они меня почему-то Матильдой зовут. А вы тут чего?

— Мы на стадион, на игру, — ответил я, Саша кивнул, Стец совсем вжал голову в плечи и снова промолчал.

— Пойду, пожалуй, с вами, поболею за вас.

Тут мы пришли на стадион и оставили Стеца с ней на трибуне. Стадион выглядел неухоженным, трава возле ворот вытоптана, на скамейках сидят всего несколько болельщиков, скорее всего не наших, но музыка из громкоговорителей играет:

Чтобы тело и душа были молоды...

Закаляйся, как сталь!

Подожли к команде, начали переодеваться прямо на кромке поля, и тут выяснилось, что трое наших не явилось: время-то какое, весенняя сессия! По регламенту число игроков должно быть не меньше двенадцати, а нас как раз двенадцать.

Музыку выключили, можно начинать.

Капитаны тянут жребий, мяч в игре, Феля бьет. Удар, и вся команда бежит вперед. Университетский ловит мяч, но выпускает из рук, набегают наши защитники, Саша подхватывает, отправляет ближайшему игроку, и все бегут вперед, перекидывая мяч веером из рук в руки. Команда университета в растерянности. Счет 3:0. Мы получаем право на «попытку». Лучший бомбардир — Феля. Точный удар, мяч пролетает в створе ворот над перекладиной, это еще два очка, и счет становится 5:0!

Трибуны голосом Татьяны ревут:

— Парни, давай!

Мы воодушевлены, противник обескуражен, нам удастся все: в схватках мы успешны, передачи мяча проходят без потерь, я с игры ловлю свечу близко к воротам противника и сбрасываю мяч Рычагу, тот Бугаю, и новый занос. Еще три очка. Уходим на перерыв со счетом 8:0 в нашу пользу.

Саша выглядит огурчиком: ему, с его весом пера, гораздо легче, чем мне, с моими восьмьюдесятью с хвостиком. За десять минут я едва успеваю отереть пот с лица, немного обсохнуть, отдышаться. Замечаю, что наши болельщики держатся кучно: Татьяна энергично жестикулирует, Стец смотрит на нее словно замороженный. На секунду она прерывается, машет руками в нашу сторону и возвращается к собеседнику.

Начинается второй тайм. Команда университета собирается, и их капитану удается забить нам дроп-гол с игры. Два очка, и счет 8:2. Но мы в ударе и раскатываем их, как детей. Еще одна наша атака, снова «занос», удачная «попытка», счет 13:2! И тут против нашего защитника применяется захват, налетают и другие игроки, наш падает и подняться не может. Судья останавливает игру. Защитника уносят на носилках, и нас остается одиннадцать. Игра окончена, нам засчитывают техническое поражение.

Татьяна провожает нас до трамвая, мы снова проходим по территории больницы, больные кричат:

— Матильда, какой счет?

— Продули.

— Матильда, на кого же ты нас променяла!

На остановке продают мороженое, и Татьяна задумчиво говорит в пространство:

— А я-то думала, кавалер меня хотя бы эскимо угостит.

Но трамвай уже подходит, и мы прощаемся. Садимся в вагон в расстроенных чувствах, и Саша задумчиво произносит:

— Значит, не судьба. Не были мастерами, нечего и начинать.

— Ты прав, мужик, — решительно говорит Стец.

Надя и теормех

На одном из первых семинаров по математике в аудитории уверенным шагом вошла коротко стриженная девушка с волевым подбородком, похожая на главную героиню «Оптимистической трагедии». Комиссарша оглядела собравшихся и решительно направилась в мою сторону, тут я понял, что обречен, потому что оказался единственным, у кого нет соседа.

— Не занято? — спросила она и, не дожидаясь ответа, бесцеремонно уселась рядом.

Почему-то я разозлился, но не запротестовал, а сдержался, и правильно сделал, Надя тут же стала моей лучшей подругой. Училась она хорошо, не хуже парней, да и вся

группа была сильная. После жесткого конкурсного отбора слабых студентов практически не было, и требовалось напрягаться, чтобы быть на уровне. Хотя в школе, чтобы не прослыть зубрилой, я сознательно старался уступать первое место круглому отличнику, здесь Надина прямота заставляла меня выйти из тени.

В институте вообще все было по-новому, общественная жизнь кипела, в курилках о чем-то азартно спорили, фарцовщики «на колодце» возле парадной лестницы торговали джинсами, пластинками, на танцы народ ломился, в общаге свое веселье, — в такой движухе не хотелось затеряться.

С математикой, физикой, химией проблем не было, а вот инженерные дисциплины: начертательная геометрия, машиностроительное черчение, теоретическая механика — приводили в замешательство, не сложностью, а тем, что за ними маячило что-то непонятное и слегка пугающее, что угрожало стать профессией, а то и судьбой.

Теоретическая механика и сопромат всегда считались студенческими страшилками, но я даже увлекся теормехом. Лекции в сдержанно-холодной манере читал элегантный седой профессор. Говорили, что вся кафедра такая же блестящая а предыдущий заведующий был настоящий грузинский князь, «из бывших». Автор учебника, светило, доктор наук, все перед ним трепетали, но если в помещение входила женщина, преподаватель, ассистентка или уборщица, — неважно, он обязательно вставал со своего места и кланялся.

И практику вел необычный ассистент по имени Бронислав. Передвигался он неуклюже, говорил скупой, никогда не улыбался. Вошел, молча взял мел и провел на доске абсолютно правильную окружность, такую и циркулем-то не нарисуешь! Потом изобразил идеально ровно, как на плакате, двутавровую балку во всех проекциях. Стал писать формулы — чистая каллиграфия. И заговорил медленно, чеканно, словно гвозди вколачивал. Аудитория прибалдела. Продиктовал домашнее задание, положил мел и вышел, угловато переставляя ноги. Оказалось, что вместо ступней у него протезы, говорили, во время войны, мальчишкой, на mine подорвался. Задачки его были на грани возможного, если мне удавалось отличиться, я был горд, будто меня избрали председателем чего-то.

Комсоргом, кстати, выбрали Надю, а не меня, уж больно это шло к ее стрижке и характеру. Надя жила в нескольких кварталах от института, и выездные собрания с водкой, огурцами и квашеной капустой удобно было устраивать у нее дома. По дороге к ней мы с хохотом маршировали в ногу по Египетскому мосту в честь теории колебаний. На лекции нам рассказали, что эскадрон конной гвардии, проходя этот мост через Фонтанку парадным шагом, ввел его в резонанс и обрушил под лед вместе с лошадьми и всадниками.

А вот Дворцовый мост через Неву — Бронислав именно его брал для расчетов на тепловые деформации — Дворцовый не разломается потому, что твердо стоит только на одном берегу, а по другому, возле Зимнего, он катается на катках. Холодно станет, он съезжится и подъедет, жарко — отъедет, ко всему приспособится.

И уже подходя к Надиному дому и вспоминая Бронислава, мы, как идиоты, в пятнадцать глоток орали:

Броня крепка, и танки наши быстры,
И наши люди мужества полны,
В строю стоят советские танкисты,
Своей великой Родины сыны.

И Надежда дирижировала нами, четырнадцатью орлами:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход...

Если Бронислав посылал нас за славой, то Надька была нашим маршалом.

Критическая масса

Идея с ансамблем тем временем не рассосалась, а, наоборот, усилиями Саши и Стеца стала обрастать людьми. Хотя до репетиций дело пока не доходило, роли уже определялись: Саша поет и играет на лидер-гитаре, я подпеваю, а Стец — ритм-гитарист. На нашем курсе нашлись два общежитских приятеля, «пупели», как они друг друга называли, от слова «pupil». Женя из Краснодара поет и играет на гитаре — идеальный кандидат на бас, а Шурик из Ахтубы при ангельской наружности умеет играть на всех инструментах и согласен стучать на барабанах.

Я-то не очень рвался в ансамбль, но чтобы не разочаровывать ребят, не отказывался.

И вот в начале мая кто-то из однокурсников похода сказал, что на доске возле деканата висит список стройотряда на лето и мое имя там тоже значится. Я не поверил — с какой стати, но на большой перемене побежал на третий этаж. Действительно, на доске возле деканата висит список стройотряда «Муравей», который направляется в Лен-область, и там моя фамилия. Я разозлился: ни в какой стройотряд я ехать не собирался — и тут же бросился в приемную к нашей замдекана. Людмила Васильевна, маленькая хрупкая женщина, сидела в комнате одна, негромко работало радио, из репродуктора доносилась издевательски бодрая песня:

В буднях великих строек,
В веселом грохоте, в огнях и звонах...

Замдекана оторвалась от бумаг, приветливо улыбнулась:

— Вы что-то хотели? — Но я на улыбку не повелся и, забыв про вежливость, начал с разгона:

— Я насчет списка стройотряда. Это что, обязательство? Нельзя спросить было, что ли? Мне отцу в садоводстве помогать надо!

— Что вы, никто никого не заставляет, видите ли, мы хотели назначить вас комиссаром отряда, — мой вызывающий тон она проигнорировала.

Я сдулся. Комиссар отряда!

— Подумайте, — уловив слабинку, поднажала Людмила Васильевна. — Приходите завтра, скажете, как вы решили. Мы ни на чем не настаиваем.

Я уходил из деканата, и хор провожал меня словами:

К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься, —
Мечта прекрасная, еще неясная,
Уже зовет тебя вперед.

Я получил достойное предложение — стать комиссаром строительного отряда! Мне удалось сдержаться и не ответить согласием немедленно, не хотелось выглядеть идиотом. Мгновенно созрела удачная комбинация: в стройотряде можно создать ансамбль, и это будет нашей идеологической работой, за которую как раз и отвечает комиссар.

Теперь ансамбль стал и мне по-настоящему интересен, можно сказать, множество обстоятельств сошлось и достигло критической массы. Я уже мысленно утверждал распределение ролей: Стец — готовый ритм-гитарист, Женя на басу, они в списке стройотряда, Саша поедет, сомнений нет, группа — это ведь его идея, он лидер-гитарист и первый голос, второй пупель — ударник, надо только его сагитировать на стройку, а я кто? Да ладно, будущее покажет, а пока буду слушать, режиссировать из зала и петь. Как я и думал, уговаривать никого не пришлось, и на завтра я вернулся к Людмиле Васильевне с согласием, а она включила в состав стройотряда двух недостающих бойцов.

Древний заведующий актовым залом института, высокий и сутулый Николай Мамонтович пристально изучал заявление, подписанное комиссаром стройотряда «Муравей», то есть мною. В шапке заявления крупными буквами выделялись магические слова: «Вокально-инструментальный ансамбль», красными чернилами наискосок пролегла резолюция студенческого профкома института. Заведующий читал бумагу, перчитывал, вертел так и сяк и наконец нехотя сказал:

— Черт с вами, приходите вечером.

Тут из-за моего плеча выскочил Саша:

— А что у вас есть из аппаратуры?

— Все люди на своей играют, а им клубную подавай.

В репетиционной комнате за сценой обнаружили сильно потрепанная ударная установка, доисторический усилитель и микрофон со стойкой.

— Кто будет материально ответственным? — проскрипел скупой рыцарь, извлек откуда-то амбарную книгу и сунул мне, чтобы расписаться в журнале. — Принимайте в пользование.

Я протянул его Саше, тот передал Стецу, Стец расписался.

Электрогитар не водилось ни в институте, ни в магазинах. Саша со Стецом собрали их из подручных материалов. Деку каждой гитары в виде жука «а-ля Битлз» из фанеры 20 миллиметров выпиливали лобзиком и отделявали красным перламутровым пластиком, Стец добыл его в единственном в городе магазине «Юный техник», где населению продавали производственные отходы и неликвиды. От дешевых акустических гитар ребята взяли грифы и слегка их отформатировали под крепление собственной конструкции, и только звукоусилители нашлись в музыкальном магазине. Самой большой проблемой были металлические струны, но и их удалось достать. Гитары на удивление смотрелись вполне фирменно, да и звучание было приличным. Конечно, выступать со сцены с такой аппаратурой нельзя, но для репетиций сойдет.

Свободное время для нас нашлось только после восьми вечера. Мы ожесточенно репетировали чуть ли не каждый день и уходили последними, охрана за нами тут же закрывала двери института на засов. Чудом сессию сдали без хвостов. Почти: у пупеля Шурика хвосты на осень остались. Считай, наш ВИА был сформирован.

На строительстве коровника. Бегуницы

И приехали мы в деревню Бегуницы, шестьдесят четвертый километр Таллинского шоссе. Задрипанные избы, правление чуть посолиднее. Только на высоком холме здоровенный клуб: с высоченными потолками, просторная сцена с киноэкраном и ряды откидных стульев, а позади здания — заброшенное кладбище. Не иначе, клуб когда-то был церковью.

Нас, студентов, определили строить коровник и склад для удобрений, приставили «дядьку» — плотника, который первые дни учил нас отбивать на бревне натянутым шпагатом прямую меловую линию, тесать брус, затачивать топоры и пилы. Под его руко-

водством мы вкапывали столбы, делали между ними связки, ставили стойки и сооружали леса, обшивали стены, возводили крышу, рубероидом крыли. Все старались, но выходило топорно, и пупели комментировали: «Хорошо получится — будет коровник, плохо — библиотеку сделаем». В первый раз ходить по обрешетке крыши было так страшно, что ползали на четвереньках, но потом пообвыклись и уже бегали на восьмиметровой высоте. <...>

В конце месяца стали закрывать наряды, и выяснилось, что расценки такие низкие, что после вычета расходов на питание мы почти ничего не заработали. Мы пытались бороться, но ничего не получилось, и за два месяца работы нам выписали по тридцать два пятьдесят. Считаю, ничего, но коровник построили.

Первый концерт и первая гастроль, 1968

Зато в совхозный клуб нас пускают сразу, как только мы приехали. Ежедневно вечерами или днем в непогоду мы репетируем, а киномеханик позволяет подключить к звуковой аппаратуре. Из «Одинокой гармонии» делаем синкопированную гитарную заставку под джаз, разучиваем две инструментальные темы: популярную «Апачи» из репертуара английской группы «Shadows» всего для двух гитаристов и ударника, играть ее несложно, и нам по зубам, мы даже усиливаем ее бас-гитарой, и «Исход» из американского фильма с Полом Ньюменом. <...>

Из первых песен на английском, конечно же, битловская «Гёрл». Сашин лирический тенор очень подходит к ее оптимистическому минору, и, слушая его, я предвкушаю, как будут трепетать девичьи сердца, у нас самих щемит в груди:

Is there anybody going to listen to my story
All about the girl who came to stay?

И мы, все остальные, подхватываем:

О, гё-ё-ё-ёрл, — и все вместе вздыхаем, — гё-ё-гёрл...

Предполагается, что я буду играть на органе, но пока ее нет, моя обязанность — настраивать гитары, и хотя скрипка при мне, но она почти не задействована, зато у скрипача всегда с собой камертон и уши. Я слушаю, как звучит ансамбль из зала, и быстро понимаю, что главная проблема — это соотношение громкости голосов и аккомпанемента. У большинства групп голоса тонут в реве гитар и грохоте ударных, обычно любому музыканту кажется, что его плохо слышно, и каждый норовит вывернуть свой регулятор громкости на максимум. Я настаиваю, чтобы у нас голоса слегка доминировали над аккомпанементом и чтобы слова всегда можно было разобрать. И тогда становятся важными сыгранность и чистое многоголосое пение, а это уже отрабатывается часами.

Из быстрых мы снимаем с магнитофонной пленки «Can't buy me love», грубо говоря, любовь не купишь, и ставшую коронной «The World without Love» Пола Маккартни. Слова ее Саша знает еще с десятого класса, а теперь научил меня, и я пою вторым голосом. «Неважно, что скажут, я не хочу оставаться в мире, где нет любви».

I don't care what they say
I won't stay in a world without love.

За июль удается подготовить и отрепетировать программу, и мы объявляем дату первого концерта в клубе совхоза «Гомонтово»: 4 августа 1968 года. На афишу нужно поместить название ансамбля. Долго перебираем варианты и останавливаемся на простом: стройотряд называется «Муравей», цвет нашей стройотрядовской формы зеленый — получается «Зеленые муравьи». Привет жукам-битлам и розовым флойдам.

На концерт собирается вся деревня, от мала до велика: растениеводы, скотники, доярки, механизаторы и наши коллеги плотники. Выступление группы «Зеленые муравьи» встречают бурными аплодисментами. А мы-то как волновались! Первый концерт! Отрядовские ребята нас зауважали, и деревенские довольны.

Неясно, что может им нравиться: музыка совершенно новая, слова непонятные, ну разве что голоса — это мы можем. Молодость, кураж — такие артисты к ним еще не приезжали, да и по радио не передавали. Слухи быстро распространяются, и совсем скоро нас приглашают на гастроли в соседний совхоз. В Копорье зал меньше, а народу собирается толпа, и много детей, включая грудных. Окрыленные успехом нашего первого выступления, гитаристы ка-ак вдарят по струнам, а солисты ка-ак заголосят! Зал взрывается детским ревом, но мы упорно доигрываем до конца, и даже удается переорать детей. Они тоже мало-помалу смиряются.

Все, что могут в ответ сделать местные, — это свозить нас на развалины Копорской крепости. Когда-то Александр Невский отбил ее у ливонских рыцарей, а теперь время и пофигизм превратили ее в печальные развалины, поросшие кустарником.

— Классно было бы спеть на этих руинах, — Саша по-ковбойски вглядывается в даль.

— А что, дизель-генератор подогнать и аппаратуру подключить, — говорит пупель Женья, — раз плюнуть.

— А по полю пустить отряд апачей с луками и стрелами и табун лошадей, — подхватывает пупель Шурик, — для пущей изобразительной силы. А главное — ящик виски.

Нас приглашают и в другие совхозы, один из них имеет милое название «Сельцо». Выступаем мы все увереннее, и сезон заканчиваем тем, что в родном совхозе раскулачиваем клубные киношные тумбы — забираем из каждой по одному динамику из двух: им половина и нам половина, зачем им по две? С тем и отбываем в Ленинград. А где еще динамики взять? В магазинах такого не продают.

Тетя Диана

Вернулись в город незадолго до начала занятий. Родители еще на даче, квартира свободна, и мы с общежитскими пупелями зависли у меня. Женья сварганил яичницу с помидорами из десятка яиц, что нашлись в холодильнике. После столовской пищи результат потряс.

В завершение сезона большим стройотрядовским коллективом завалились в ресторан «Седьмое небо» в гостинице «Советская», на все тридцать два рубля с носа. В Казахстане Надежда заработала в десять раз больше, она потом хвасталась, что выбила себе мужскую работу — кирпичи класть: тычок-ложок, тычок-ложок. На такие деньги одеться можно по фирме. А с нашими — только пропить.

Изнутри новенькая интуристовская гостиница сверкала, и мы слегка оробели, но швейцар за пять рублей проявил рассеянность, и нам удалось проникнуть всей гурьбой в запретную зону. На огромном лифте вознеслись на последний, шестнадцатый этаж. Модерновый интерьер в стиле лаконичного конструктивизма, все с иголки. Столы, посуда, форменная одежда официантов, оборудование туалетов, из зала через окно во всю стену шикарный вид на город, Исаакий, Адмиралтейство, крыши домов до горизонта, фабричные трубы где-то вдали...

Шурик, наш ударник, чувствовал себя в ресторане вполне свободно. После ужина с вином отправился в бар, уселся на высокий стул возле барной стойки, заказал коктейль и стал клеить барменшу. Красивая статная женщина была занята делом: разливала напитки, смешивала коктейли и перемещалась при этом позади стойки, как модель по подиуму. Проходя мимо Шурика, она реагировала на его заигрывания и улыбалась, хоть не всегда и не сразу. И когда она прошла мимо него в очередной раз, Шурик послал ей в спину сакраментальный вопрос:

— Девушка, а как вас зовут?

Она остановилась, повернулась к нему, посмотрела сверху вниз и ответила низким грудным голосом:

— Тетя Диана.

<...> В конце января брат прорвался в Дом писателя на вечер творческой молодежи Ленинграда. Зал был мест на двести пятьдесят, а народу набилось в несколько раз больше, потому что прошли слухи, что будет Бродский. До него выступали тоже замечательные молодые литераторы: бард Городницкий, автор «Атлантов», смешные рассказы читали Валерий Попов и Сергей Довлатов, про которых брат раньше не слышал. Но выступление Бродского потрясло, он декламировал в такой напряженной эмоциональной манере, что всех пронзило ощущение не виданной ранее интеллектуальной свободы. Он читал «Остановку в пустыне»:

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь.

В этих стихах, да и вообще у Бродского нет ничего антисоветского, но все равно был колоссальный скандал, все выступающие пострадали, а инициаторов вечера наказали.

А у нас в институте обсуждали свои местные запреты. В студенческом эстрадном театре репетировали пьесу Марка Розовского «Целый вечер как проклятые». Ставил ее выпускник Театралки Кама Гинкас, эпиграф к пьесе был из Юлиана Тувима:

В страшных домишках, в страшных квартирах
Страшно живетсЯ страшным мещанам.
Вьются по стенам копотЬ и сырость
Ужасом черным, смертным туманом

С утра долдонят, бормочут, рядят
Про дождь, про цены, про то, про это.
Один — походит, другой — присядет...
И все — явленья иного света.

Принимала комиссия парткома, которую возглавлял доцент с кафедры истории партии по прозвищу Люциферов. Пьесу он, скорее всего, не понял, но классовое чутье подсказывало ему, что она вредная, спектакль он запретил, да еще бумагу на режиссера в Театральный институт накатал.

— Сидят две пары за столом и весь вечер разговаривают ни о чем! У нас нет таких студентов, для нас это неактуально, зачем нам такой спектакль? И вообще, кто эту чушь написал?

— Марк Розовский.

— В какой группе учиться?

— Вообще-то, он в Москве...

— Ничего, и до Москвы доберемся.

Можно сказать, Люциферов почти повторил слова из пьесы: «Безусловно. Нам нужно только такое искусство, которое было бы не таким, как то искусство, которое не является искусством».

Ежедневные мелочи тоже доставали. На лекции преподаватель выгнал студентку. Она вошла в аудиторию в брюках, и тот спросил:

— Почему вы в брюках?

Она в ответ:

— А почему вы в брюках?

— Пойдите переоденьтесь и тогда приходите.

Почему рок-музыка казалась им опасной? Свои пластинки у нас не выпускали, фирменных было не достать, только у фарцовщиков за бешеные бабки. Приходилось песни переписывать с магнитофона на магнитофон.

Отец сочувствовал нашим разговорам, молчал, но пару раз произнес:

— Только лишнего не болтай.

Ленинский зачет

Людмила Васильевна предложила стать секретарем бюро второго курса. А Надю снова переизбрали комсоргом группы. У меня была идея, и Надя меня поддержала: пускай комсомол — это фикция, но на нашем курсе все будет по-настоящему, и рулить будут самые деловые и авторитетные ребята.

Я честно обошел каждую группу факультета и попросил выдвинуть кандидатуру самого уважаемого студента. В бюро вошло семь человек. В чем, кроме организации выборов комсоров в группах и сбора членских взносов, должна заключаться наша работа, трудно было сказать, но Сашу в комсомол я принял и тем выполнил план по приему новых членов. Хотя он окончил школу имени Макаренко, где применяли методы трудового воспитания и прививали коллективизм, Сашу комсомолом почему-то не охватили.

Мы с Надей очень хотели работать серьезно, а выходила одна глупость.

Весной спустили команду начать подготовку к празднованию столетия вождя революции и провести Ленинский зачет. Каждый комсомолец должен был как-то отличиться к юбилею, а на зачете отчитаться. С этим Ленинским зачетом мне пришлось выкручиваться, чтобы не выглядеть полным болваном.

Всем выдавали анкету с вопросами типа: какие берете на себя социалистические обязательства.

Ответы мы получали такие:

«Пить не больше десяти литров пива в день»;

«Хочу бороться за права негров в Америке».

Настаивать на серьезных ответах почему-то было стыдно, и я пытался просто познакомиться и поговорить с каждым. Скоро стало ясно, что эта затея совершенно бессмысленная. Частенько на меня смотрели скептически, в результате осталось неясным, удалось ли мне скрыть свой идиотизм.

И правда, в Америке молодежь протестует против войны во Вьетнаме, в Париже студенческие волнения, а мы в ответ берем повышенные обязательства сдать зимнюю сессию без троек, доложить комиссии об общественной работе, рассказать, какие культурные мероприятия посещали. <...>

Что касается моей системы отбора активистов в бюро, то ее можно было бы назвать удачной, потому что мои птенцы пошли в рост. Один стал командиром стройотряда,

и против него возбудили дело за финансовые нарушения. В конце концов он отбился и возглавил стройотрядовское движение уже во всем институте. Другой стал секретарем комитета комсомола института, и относительно него были разбирательства «по аморалке», потому что жена пожаловалась на его гарем. Третьего судили «по хулиганке», четвертого разбирали за пьяную драку. К концу своей годовой вахты, оглянувшись на тех, кого породил, и ужаснувшись содеянному, я ушел в отставку и отказался выдвигаться на новый срок. К счастью, никто из моих выдвиженцев не сел.

С тех пор я зарекся заниматься комсомольской работой.

Инкубационный период

Между тем фарцовщики «на колодце» парадной лестницы продавали битловские диски. «Револьвер», а потом и «Сержант Пеппер» мы с ребятами видели, даже в руках подержали, но денег таких не было, и нам приходилось довольствоваться магнитофонными записями. Сняли несколько номеров, в основном там слова про девушек, и это более-менее понятно.

Сначала «I saw her standing there», и Саша пел:

Ей было всего семнадцать,
Представляете,
И смотрелась она обалденно!

В припеве я подпевал Саше вторым голосом (за Леннона):

Как же мог я танцевать с другой (о-о-о)
После того, как увидел ее.

И дальше зажигательно о том, как танцевали всю ночь, тесно прижавшись, и все такое.

Потом освоили «I should have known better», тоже на два голоса, сначала без губной гармошки, потом ее заменили органомой:

Хорошо бы познакомиться с такой девушкой, как ты,
Мне бы понравилось все, что делаешь ты
И что делаю я, хэй, хэй, хэй, вместе с тобой.

«Сержанта» мы сначала больше слушали, чем играли. Музыка была новой, сложной, инструментов до беса: кларнеты, колокола, медные духовые, а содержание — совсем непонятно о чем. Пока что повторить это всерьез в нашем составе было невозможно.

И почти сразу после возвращения в город удалось достать билеты на концерт «Аргонавтов». Огромный зал ДК имени Ильича на Московском проспекте был переполнен. Мы, естественно, даже и не мечтали услышать вживую «Битлз» или «Роллинг стоунз», но и на этот концерт было сложно попасть, таких масштабных выступлений студенческих групп еще не было, а об «Аргонавтах» все уже знали.

На живом концерте группы я был впервые. И все во мне перевернулось. Ритм, басы, достающие до печеник, многоголосье, чистое пение солистов, пульсация зала, охваченного единым чувством, — я был опрокинут. Я будто проснулся, стихия рока захватила меня целиком, от макушки до пяток. Настолько эти музыканты были новыми,

яркими, так поражали ритмом, раскованной манерой исполнения и белоснежными сценическими костюмами, что производили ошеломляющее впечатление.

Публика неистовствовала, а мы были в прострации: это же пятикурсники из нашего института, с приборостроительного факультета!

— Неужели и нам когда-нибудь удастся подняться до их уровня? — меланхолично произнес Саша, когда мы шли к метро.

— Можно только мечтать, — пробормотал я.

— Да, мужики, придется постараться, — поставил железную точку Стец.

«Гроб с музыкой»

А через несколько дней Сашу и Стеца вызвали с занятий в комитет комсомола института. Там их поджидал знакомый киномеханик из совхоза.

— Парни, пошли поговорим.

Все трое молча вышли на улицу, и он сказал:

— Верните динамики по-хорошему, обойдемся без милиции!

Уператься не стали, сбегали наверх, в репетиционную, притащили динамики.

И мы остались без звука.

— Ну, и как теперь стараться? — в расстройстве сказал я Стецу, когда мы собрались на репетицию.

— Будем решать, — ответил он и отправился искать ходы на черный рынок.

Первым делом через знакомых маклаков он достал три ламповых усилителя по пятьдесят ватт, из тех, что устанавливались для голосовой трансляции в электричках. Мощности было достаточно, а вот частотные характеристики недотягивали. В конце концов парни с приборостроительного помогли довести усилки до ума.

Дальше дело было за акустикой. Стец и Саша набрали учебников по акустическим системам, провели расчеты, выполнили чертежи, договорились с институтской столяркой и по этим чертежам заказали тумбу. Оставалось достать динамики. <...>

Так в группе появился собственный «гроб с музыкой» — басовая тумба с двумя динамиками такого веса, что ее с трудом можно было поднять вдвоем. Много лет эту машину во искупление грехов мы таскали на все выездные мероприятия, честно рекламируя продукцию отечественного производителя.

Почти сразу мы стали зарабатывать на выступлениях, и все деньги шли на аппаратуру и инструменты. И стипендию сюда же отдавали, только с общежитских не брали.

А вскоре удалось достать дефицитную органолу «Юность» в музыкальном магазине. Теперь я выходил на сцену со скрипкой и смычком, укладывал скрипку на верхней панели моего клавишного инструмента, пристраивал смычок, водружался на свое законное место и уже без дела в паузах не стоял.

Новый ударник

Ударную установку можно было свободно купить в магазине, но стоила она четырехста рублей. Таких деньжищ у нас не было. Установка считалась лицом ансамбля, надпись «Зеленые муравьи» должна была красоваться на барабане. Мы играли на институтском, и Мамонтович сам удавился бы и нас удавил, напиши мы хоть что-нибудь на клубном имуществе. Такую надпись мы оставили на память о себе на совхозном большом барабане, теперь необходимо было начертать ее на собственном, и я пришел просить у родителей в счет будущих заработков. Они надеялись скопить на ма-

шину, но хотя отец время от времени говорил: «Хватит дудеть на трубе, займись лучше делом», мне поверили, да и брат за меня вступился.

— Мальчик увлекается музыкой, и это хорошо! — сказала мама, и вопрос был решен.

И вот теперь наша аппаратура сверкала надписью и горела лампочками и смотрелась не хуже фирменной.

Но по дороге к славе мы потеряли ударника Шурика. Завсегдатай пивбара «Дубок», шашлычной и чебуречной, он стал пропускать репетиции, исчезать с лекций и вообще из города, а хвосты так и не сдал. Держался таинственно, типа, дома у него осталась любовь, и он летал к ней на свидания. Назанимал денег у приятелей в общежитии. Почувяв неладное, приехал его отец-полковник, вызвал нас с Сашей на встречу и потребовал объяснений, не из-за нас ли, дескать, его сын запустил занятия. Набравшись мужества, мы заложили Шурика и раскололись про его долги. Нашу душевную травму от измены другу полковник заштопал тем, что расплатился со всеми должниками и забрал сына домой.

Новым барабанщиком прошел по благу Вова, мой одноклассник и приятель. Вова лихо играл на аккордеоне «Чардаш» Монти, с музыкальным ритмом у него было все в порядке, и идею переквалифицироваться он комментировал с юмором: «Было у отца три сына: двое умных, один — ударник». И в отличие от Шурика учился он хорошо.

А Шурика было жалко, он был веселый и шепутной, мы уже полюбили его, и артист он был хороший. <...>

Золото Маккенны

После весенней сессии комитет комсомола включил нас в программу концерта в Летнем театре Измайловского сада, посвященного открытию стройотрядовского сезона. Театр легковесно назывался Летним, но площадка для нас была очень серьезной. Само здание еще дореволюционной постройки было деревянным, а ажурный металлический каркас, можно сказать собрат Эйфелевой башни, был спроектирован знаменитым инженером Шуховым для Всемирной выставки в Париже. Зал был огромный, на тысячу двести мест, с креслами и интерьером, как в императорских театрах. И это был наш первый настоящий концерт!

Мы приехали за полчаса до начала и слегка перепугались: здесь выступали и Дунаевский, и Утесов, и Любовь Орлова, и кто только не! Оказалось, что институтскую программу пристегнули вторым отделением к дневному концерту Валерия Ободзинского. А народ только что посмотрел «Золото Маккенны», где он прогремел на всю страну. Боевик этот так хорошо продублировали с американского, что даже в знаменитой закадровой песне Ободзинский обличает дьявольский желтый металл на чистом русском языке.

Вновь, вновь золото манит нас!

Вновь, вновь золото, как всегда, обманет на-а-а-с!

Его звенящий тенор кружил над залом, а мы в наших зеленых стройотрядовских формах суетились со своей аппаратурой, не понимая, куда ее заносить. И никто не знал. Спросить некого, везде либо пусто, либо закрыто. Наконец из администраторской вышли две тетki в синих форменных костюмах и говорят:

— А вы, мальчики, что здесь делаете?

— Мы выступать приехали, — заблеяли мы вразнобой.

— Шутите? Здесь Ободзинский выступает, вам вряд ли придется.

— Тогда мы пойдем, извините, — попятился оробевший Саша.

— Ой, а мы машину уже отпустили, — прошептал Женя.

Администраторша выдержала паузу, обвела нас взглядом и отчеканила:

— Вы что, институт? Вы во втором отделении выступаете? Минуточку, я схожу узнаю. Стойте здесь.

Стоим, мнемся. Ударник, каланча под два метра ростом, бормочет: может, это и к лучшему. Я злюсь — опять комсомол нас подставляет.

Не зная, что нас ждет вдали,
В пути сжигаем сердца свои,
А грифу кажется, что это
Ползут по скалам муравьи, —

дразнится Ободзинский.

Через несколько минут администраторша возвращается, ее будто подменили, и она говорит медовым голосом:

— Ой, ребята, извините, проходите в грим-уборную, вот она как раз открыта, готовьтесь, я скажу, когда вам выходить.

И у нас начинается дикий мандраж.

Валерий Ободзинский заканчивает под гром аплодисментов, объявляют антракт, занавес закрывается, освобождается сцена, и нам велят готовиться. Мы расставляем аппаратуру, вытаскиваем свой «гроб с музыкой», провода подключаем, настраиваем усилитель, пробуем гитары, и тут к нам подходит сам кумир публики.

Прохаживается по сцене, похлопывает по нашей басовой тумбе и подзывает кого-то мужика:

— Смотри, как солидно, может, и нам такое надо! Пойду, пожалуй, из зала послушаю.

Мы все напряжены, все боятся облажаться, что-нибудь забыть... И правда, где моя скрипка? А брал ли я ее сегодня вообще? Можно, конечно, и без нее, я на ней только в проигрыше играю, но она все же добавляет своеобразие... Да, точно, брал. Где ж тогда? Хорошо, если в гримерке.

Как сумасшедший бегу в гримерку.

Мечусь за кулисами по лабиринтам коридоров. Черт! Где эта комната? Где эта дверь? Где моя скрипка? Куда мне теперь?

Вот моя скрипка, вот моя дверь...

— Ты, что ли, «Зеленые муравьи»? — вдруг слышу за спиной низкий, с хрипотцой, спокойный голос.

— Да, «Муравьи». Уже начинать! — В спешке оглядываюсь. У стенки напротив тоненькая девушка складывает губы трубочкой и выдыхает сигаретный дым.

Удар сердца. Вот это да! Меня как будто вырубает из сети, обесточивает. Я такой еще никогда не встречал.

— А мы тебя тут всем театром ищем, — подбородок вправо-вверх, челка на глаза вниз.

— А я скрипку искал.

— А зачем тебе скрипка? — Рука к лицу, сигарета в губы. — Разве ты не рок?

— Для понта. Я, вообще-то, на клавишах. Я после музыкалки.

— Я тоже музыкалку... Ваши ребята говорят, — затылка, губы трубочкой, выдох, — ты один знаешь, как вас объявлять. Что мне про вас говорить-то? — пальчик в сторону, два *staccato* [отрывисто] по сигарете.

— А ты... — вдох, пауза, *sincora* [сбой], — кто?

— А я кто? Сама не знаю кто... — выдох, пауза, *fermata* [остановка]. — Коломбиной тут у вас работаю.

— Скажи, э... скажи, э... что «Зеленые муравьи»... первое выступление... на большой сцене... да я всех потом назову... когда сыграем. — *Sincora, sincora, sincora* [сбой, сбой, сбой]!

Подсознательно я жду, что это вот-вот закончится, но сам не могу очнуться, и тут наконец-то набегают басист с ударником и набрасываются на меня:

— Вот ты где, давай скорее, все готово, сейчас занавес откроют!

Подбежали и — обратно по коридору. *Tutti* [Всем оркестром]!

Я дергаюсь было за ними.

— Без меня не начнут, — по щелчку сигарета летит в урну, девушка отталкивается от стены и спокойно шествует на сцену — *andante maestoso* [медленно и величественно]. Я за ней — *accelerando* [постепенно ускоряясь]!

Бросаюсь к органам, кладу скрипку и оглядываюсь. Ударник кивает в сторону кулис и подмигивает мне. Басист подбегает поближе, насколько позволяет провод:

— Классная девушка, где ты ее заклеил?

— Она сейчас нас объявит.

— Как зовут?

Ответить, что не знаю, не успеваю, идет занавес. Что она говорит, не слышу, только голос.

Тут мы принимаемся за свою «Одинокую гармонь». Вторым номером, как всегда, «The World without Love».

А потом «I'll Get You»:

Imagine I'm in love with you
It's easy 'cause I know
I've imagined I'm in love with you
Many, many, many times before.

Представить, что я влюблен в тебя,
Легко, я это знаю,
Я представлял, что влюблен в тебя,
Много, много, много раз и раньше, —

поем мы в унисон.

Нам хлопают, свою порцию славы мы получаем, по крайней мере, не облажались.

Мы уходим со сцены, прихватив инструменты, приходится еще ждать, когда закончится концерт, чтобы забрать аппаратуру. Пока ведущая объявляет следующий номер — стихотворение Вознесенского, — я смотрю на нее из-за кулис, слушаю и надеюсь хотя бы узнать, как ее зовут, но она уходит в другую кулису. Я бегу искать и опять теряюсь.

Она находит меня сама:

— Хорошо сыграли, мне понравилось. Почему-то я раньше вас не слышала.

— Спасибо. А ты из эстрадного театра?

Девушка характерным женским приемом дует на упавшую прядку волос, улыбается и кивает.

— Можно тебя подождать?

— Лиди! — Кто-то окликает ее.

— Извини, меня ждут, — так и не ответив на мой вопрос, она уходит своим неспешным шагом.

Я лечу отпрашиваться у ребят. Ехать недалеко, но аппаратуру надо собрать, погрузить, разгрузить, поднять наверх. Четыре человека справятся, но обычно участвуют все. Меня понимают, тем более послезавтра уезжать в стройотряд, и отпускают, обещают доставить мою органолю в целости.

И когда концерт заканчивается, мы со скрипкой идем караулить возле выхода. Лида выходит и как ни в чем не бывало, будто договорились, просовывает свою руку под мою согнутую свободную. Мы отправляемся к метро. Ранний вечер, солнце светит по-июньски ярко. Идем по Фонтанке к Московскому проспекту, о чем-то говорим. Что тот-то сказал то-то, что та-та сделала неправильно, а та-та — все наоборот, но тоже неправильно. Что сессия сдана, а лето впереди. Мне послезавтра в Казахстан, а ей в деревню. Идут машины, редкие прохожие навстречу, и заплеванный Польский садик навстречу. Кружим по садику, находим чистую скамейку, молча сидим, слушаем, как Эдит Пиаф голосом Лиды поет из окна соседнего дома:

Но, ррѐен-дѐррѐен,
Но, жѐ на рѐе-гретѐрѐен,

и начинаем целоваться.

Лето с верблюдами, 1969

...Скучаю. Тоска страшная. Но вспомню тебя, и сразу веселее. Зачем тебе такие круглые глаза и такие пушистые волосы? Кудри до плеч должны быть у девушек, парню это ни к чему. А целоваться ты не умеешь. Придется учить...

Верблюды спускаются к водопою длинной пологой тропой и, напившись, поднимаются прямо к нашим вагончикам, карабкаясь теперь по крутому склону. Земля осыпается под ногами, как эхо, с небольшим отставанием, не мешая верблюдам взбрыкивать, и переставлять ноги, и дальше взбираться наверх, прихватывая по дороге листочки с уже порядочно обглоданных кустиков. Сколько бы они ни оступались, мерное движение их шей все равно напоминает неспешное колыхание волн. Караван идет дальше, мимо вагончиков, в свою пыльную бескрайнюю степь жевать колючки и сухую траву.

Один дромадер останавливается против сцены, и челюсть его ходит с боку на бок, пока он раздумывает, не стоит ли плюнуть.

Если б чудо совершилось,
Если б сзади подошла
И глаза закрыла мне рукой,

Я бы взял твои ладони,
К ним губами прикоснулся,
Несмотря на дождик проливной.

Степной меломан стоит как вкопанный и вслушивается в наши аккорды, пока пастух не щелкнет кнутом, и тогда он отворачивается, трогается с места, возобновляя в прежнем темпе свою ритмичную партию. Горб его уныло свисает, слепни жужжат, и, играя бичом, посвистывает пастух.

Только бы Саша не забрал эту песню себе. Я сам должен ее петь. В ней есть чудесное совпадение музыки и момента. Слова Онегина Гаджикасимова. Этот автор возник неожиданно, и сразу все стали петь его песни. У них слова не про рябину с дубом, не про клен с березой и не про мартеновские печи, которые горят и день и ночь, а, как у «Битлов», про что-то совсем простое и личное:

Нету телефона у меня-а-а-а-а.

И есть где показать голос. Опять же неровные строфы, редкие рифмы, почти белый стих — это такая новая мода, а восточная мелодика — чем не ответ на западный рок. И «Караван» Дюка Эллингтона напоминает, я ощущаю в ней ритм волны, взбрыкивание крупом, помахивание хвостом и печаль в глазах.

В газетах пишут «несоветская музыкальная риторика», а мы увлеклись его песнями не случайно: он работает в музыкальной редакции Всесоюзного радио, готовит передачи о зарубежной рок-музыке, даже перевел битловскую «Girl», и ее исполнял Ободзинский, а про себя говорит:

По ночам в тиши я пишу стихи...

Река Урал. Письмо

Поезд привез нас с аппаратурой в Казахстан, на полуостров Мангышлак, чтобы строить нефтепровод. Выгружаемся на железнодорожной станции Макат — какой-то домишко вместо вокзала и больше ничего. Оттуда сто пятьдесят километров по степи до поселка Индерборский (попросту Индер) трясемся на бортовых грузовиках и трясемся за аппаратуру. Поселок строили в тридцатые, чтобы добывать бор. Лагерь отряда расположен на безлюдном высоком европейском берегу реки Урал, а на другом берегу, низком и тоже пустынном, уже Азия.

К приезду отряда квартирьеры, студенты-старшекурсники, соорудили посреди голой степи специально для нашего ансамбля крытую и огороженную с боков террасу со сценой в глубине. Потом у них заработало воображение, и они пристроили к боковой стенке барную стойку. Передней стенки нет, только штaketник и калитка, как в вестернах. Выпивку отряд частью привез с собой, а «Москванын», водку «Московскую» казахского розлива, удалось купить в поселке. И еще завхоз добыл несколько ящиков чешского пива. Барменом заделался предприимчивый парень с третьего курса и объявил, что стакан коктейля «Отвертка» — двадцать копеек, бутылка пива — рубль. Народ недоумевает, как он распорядится доходом, да и денег с собой особо нет, и на всякий случай никто ничего не платит. В итоге выпивка быстро заканчивается, но калитка при входе хлопает, и народ вваливается в бар, ощущая себя ковбоями — укротителями диких мустангов и хозяевами прерий.

Стройотрядовский лагерь из шести вагончиков тут же рядом, в каждом по два купе; вход посередине, налево и направо — спальные отсеки на четверых. Плюс навес-столовая с кухней, плюс склад, а подальше в степь, поближе к тушканчикам — туалет. <...>

Скорпионы и гадюки — наши нехитрые развлечения. Скорпион может прятаться под любым камнем, лапы переставляет, по земле бежит быстро, под палочкой, которую мы ему подсовываем, пролезает, под другой камень прячется. Любой камень перевернуть — и там найдется этот маленький лапчатый экскаватор, только вместо ковш — жало, опять побежит, преодолеет полосу препятствий и спрячется. Просто ру-

ками его не надо трогать. Бывают еще каракурты, а каракурт — это вам не скорпион, это черный паук, которого надо бояться, укус его смертелен. Но нам он так и не попался. Или мы ему.

Гадюки живут под вагончиками, им там, в тени, наверное, прохладнее, их тоже не стоит тревожить и тыкать палкой, тогда и они нападать не будут. Поначалу мы их даже не замечали, а тут парни нашли целое гнездо, разворошили, и оттуда поползли змеи одна за другой. Наш Кашевой хватает змею и двумя пальцами зажимает ей голову, она пасть разевает, а укусить не может; другой рукой он держит змею за хвост. Его напарник — рядом наготове с бутылкой, чтобы засунуть гадюку головой в горлышко. А чтобы запечатлеть геройство и силу воли, в трех шагах стоит фотограф и дирижирует:

— Отпусти хвост, пусть она обовьется вокруг руки, тогда и фотография выйдет эффектнее.

— Сам отпусти, — сдавленным голосом говорит Кашевой, проявляя предсудительность, — похоже, он не хочет рисковать своим большим будущим в процессе тренировки воли.

В свободное время я в воображении пишу Лиде, отвечаю на письмо, которое неожиданно нашло меня через три недели после приезда.

...Никого в деревне нет, три бабки и я. Автолавка с хлебом приезжает раз в неделю. Пошли колосники, хожу за грибами, пугаю леших, говорю сама с собой, пере-крикиваюсь с эхом. Ночью, бывает, проснусь, и кажется, что жизнь остановилась и ничего больше в ней не произойдет.

А мы сидели в Польском садике, или мне это приснилось?..

Казахская ССР, Гурьевская область, поселок Индер, стройотряд «Богатырь».

Обратного адреса нет!

«Нету телефона у меня-я-я!»

Но я все равно пишу, мысленно, пытаюсь развеселить, а адрес она, наверное, при-шлет в следующем письме. Описываю все, что вижу, и мне кажется, что пишу я стиха-ми. Рифмы придумывать неохота, наверное, это белый стих.

Вот Вова сидит на скамейке, жарясь на солнце,
я вижу, как он пытается перетянуть барабан,
который порвал от усердия, так колотил, что дыру он пробил.
И где умудрился он только среди казахских степей
добыть себе новую кожу. Вот рядом Стец, зашивает штанину,
ему такая погода в кайф, он любит жару,
А меня это пекло вгоняет в гипноз.

Нет, не пойдет, перечеркиваю и даже комкаю воображаемый листок и кидаю его под ноги. Хорошо бы в таком духе:

Льет ли теплый дождь, падает ли снег,
Я в подъезде возле дома твоего стою.

Если представить воду, станет легче дышать. Попробую описать что-нибудь мокрое:

Мы идем по колено в воде — с бреднем бредем —
моя вторая в жизни рыбалка. Первый раз на Вуоксе

сырым комариным летом я поймал на удочку
 плотвичку и маленького окушка.
 А тут в степи озерцо,
 река отступила после разлива и не оставила рыбе
 выхода в реку — полезай в нашу сеть.
 Нас с десятков парней, мы бредем по колено в воде
 и тащим на берег улов. Толстолобики, жерех —
 таких названий я не слышал —
 и почти два десятка зубастых щучек.

Щелк, щелк, треск затвора фотоаппарата — покажу потом ей фотоотчет.

...Как там твои ребята? Работаете или развлекаетесь? Безделье — это совсем не то, что мне сейчас нужно. Животные тоже грустят, корова грустит, собака, только куры бегают и кричат, но они сумасшедшие...

Не грусти, Лида, слушай! Однажды мы выудили из реки и привезли в лагерь осетра, огромную молчаливую рыбину, нужно быть силачом, чтобы ее удержать. Фотографируются все по очереди. На фото Вова-ударник, высокий мальчик, крепкий, держит ее за хвост на победно вытянутой руке, голова рыбины свисает почти до земли, а Стец подхватывает ее нежно двумя руками, как девушку, и баюкает. Пленки проявят и напечатают, когда мы вернемся в город. Поэтично, как полагается в письме к любимой девушке, эту рыбину не описать, а тем более гадюк и скорпионов, наших соседей. <...>

Тяжелая нефть

Строим мы, как выяснилось, нагревательную станцию Индер для уникального горячего трубопровода Гурьев—Куйбышев: высокопарафинистая мангышлакская нефть застывает уже при тридцати градусах, и без подогрева ее по трубам прокачать невозможно. Таких нефтепроводов в мире нет, по идее переработку нефти надо бы строить рядом с добычей, тогда и перекачивать ее горячей на полторы тысячи километров не пришлось бы, но у нашей экономики своя логика и дешевая рабсила.

Сначала долго роем котлован, потом начинаем возводить опалубку, но тут дело стопорится, у заказчика возникают непредвиденные трудности с финансированием объекта. Работы останавливаются, и выясняется, что в отряде подходят к концу запасы продовольствия. Тогда командир находит для всех левую работу в поселке. Мне со Стецом достается перегружать лопатами цемент. Очень хочется пить, а воды нет. После работы, пока мы ждем машину из лагеря, покупаем арбуз и, прежде чем есть, отмываем соком лицо и руки. Через три дня договариваемся с клубом нефтяников, что вечерами будем играть у них на танцах за деньги, раза три выступаем, а заработанное отдаем в отряд на пропитание.

Через какое-то время финансирование восстанавливается, и мы возвращаемся к стройке: сколачиваем опалубку, вяжем арматуру, завозим и разгружаем строительный песок, цемент. Все более-менее, как в фильме «Операция „Ы“»: песок и цемент таскаем на носилках, в бетономешалку загружаем лопатами, воду льем ведрами, раствор по опалубке разгоняем пневматическим вибратором.

Мы все исполняем роль Шурика, а разъяснительную работу ведем с тушканчиками, за горизонтом, поскольку с санитарией у нас не фонтан, все мучаются желудками и постоянно бегают в степь. Тушканчики стоят с умильными мордочками, сложив лапки, и внимательно наблюдают.

А по пятницам и субботам мы регулярно играем в своем баре. Основная программа отработана еще за зиму. Начинаем с меланхоличной инструментальной пьесы. Под нее народ обычно собирается, раскачивается, оглядывается. Потом, чтобы окончательно расстроить загрустившую публику, поем какую-нибудь медленную, например, популярную, из репертуара «Веселых ребят».

Грустя, смотрю в твоё окно.
Тебе, я знаю, всё равно!
Тебе, я знаю, всё равно, —
Ведь ты забыла всё давно.

Затем что-то пободрее, потом новая, совсем уже мажорная и веселая «Прелестная виолончелистка» со скрипичной партией для меня, из «Скальдов». Эта польская группа гастролировала в Ленинграде и успешно продала свою фирменную аппаратуру местной команде, но, к сожалению, не нам, нам с иностранцами встречаться нельзя.

В первые недели, когда мы начали репетировать и играть по вечерам, парни в баре потянулись на музыку, но желающих танцевать, естественно, было немного. Твист, чарльстон, шейк плясали индивидуально или в кружок. Но со временем девочки все-таки обнаружили, стройотряд из Ленинградского института советской торговли стоит лагерем неподалеку.

Однажды в субботу соседки появляются на танцах, и это сразу повышает настроение публики и массовость мероприятия. А ближе к концу сезона кое-кто из них навещается к своим новым приятелям. Стец среди этих счастливиц, он еще к тому же втайне от всех первым разведал свободное купе в дальнем вагончике. Потом на это место начинают покушаться другие, и ему иногда приходится даже вступать в схватку с варварскими силами противника, но он свое место отстаивает.

Шефский концерт и закрытие сезона

Командир отряда договорился в городском клубе сыграть на День строителя шефский концерт. Днем на репетиции подключили аппаратуру и заземлили ее на батарею отопления. Мы частенько так делали, чтобы усилитель меньше фонил, когда в электрической сети не было хорошей земли. Начали прогон, сыграли свою «Гармонь» и только врубили рокешник на всю мощь, как по проводам побежал дымок и в нескольких местах загорелось. Я сидел за органом ближе всех к кулисам, меня торкнуло, я сорвался к рубильнику, на который случайно обратил внимание перед началом репетиции, и дернул, отключил питание. Удивляюсь своей необычной прыткости, возвращаюсь за инструмент. Ребята деловито проверяют, что сгорело, щелкают тумблерами, трогают провода — вроде ущерба нет, лампочки загораются. Включают рубильник — все работает как ни в чем не бывало. Нас это почему-то не настораживает.

Зал полон. Концерт начинается ударно, сами радуемся, как мощно и классно звучит. На пятой песне Саша передает стойку с микрофоном Жене, Женя берется за стойку, и вдруг между нею и струнами его бас-гитары вспыхивает электрическая дуга. И вот я вижу: басист корежит в судороге, он, как в замедленной съемке, падает навзничь на сцену, стойка валится на него, а меня пробивает мысль о рубильнике, и после секундного оцепенения я срываюсь в правую кулису и рву рубильник на себя.

Поворачиваю голову влево, к сцене: басист лежит на полу, над ним на коленях солист, а ритм-гитарист и ударник — над ними обоими. Женя без сознания, его бьют

по щекам, а народ ломится вон из зала, в дверях давка. Публика, как нам сказали, была уверена, что гитариста пырнули ножом.

По счастью, Женя вскоре пришел в себя, даже хвастался, какой он тренированный: год до института работал электриком, и его, случалось, било током, поэтому, как он говорил, и жив остался. А скорее всего, у него на пальцах были серьезные мозоли от струн, а на ладонях — от лопаты. При разборе полетов выяснилось, что батареи в клубе не были заземлены. Концерт свернули, пострадавшего эвакуировали в лагерь, весь оставшийся вечер он лежал, ему давали сердечные капли, и пришел в норму он лишь через день. В ближайшую пятницу Женя уже стоял на сцене в нашем баре и играл, как прежде.

Закончили сезон тем, что несколько дней и ночей посменно и непрерывно лили монолит. Фундамент нагревательной станции поставлен на века!

Возвращались в Ленинград на поезде в самом конце августа.

В поезде, как обычно, ехали с песнями, грела мысль о доме, о встречах.

Льет ли теплый rain,
Падает ли snow,
Я в подъезде возле дома
Твоего to stay.

Жду, что ты to go,
А быть может, no.
Стоит мне тебя to listen,
О-о, как я happy!

Эстрадный театр

— Старый Козел, вождь племени кобзонов, стал уже стар. Пора племени кобзонов выбрать себе нового, молодого вождя. Хао, Старый Козел все сказал, говори ты, Вонючий Бизон.

— Вонючий Бизон говорит, слушайте! Бледнолицые хотят напасть и отнять наши запасы желтого песка. Но у нас неостанет желтого песка, чтобы вставить всем бледнолицым большие желтые зубы. Вонючий Бизон призывает вступить на тропу войны. Хао, Вонючий Бизон все сказал, говори ты, Хитрый Пенек.

— Хитрый Пенек считает, что на тропу войны вступать не следует, потому что она вся заросла колючками. Хао, Хитрый Пенек все сказал.

Я сижу в заднем ряду огромного актового зала на репетиции институтского студенческого Эстрадного театра. Как только мы вернулись в город, я начал разыскивать Лиду, и единственной зацепкой оказался студенческий театр. Я проник тайком на несколько репетиций и ни разу не встретил ни ее, ни кого-нибудь из знакомых по весеннему концерту. Все новые лица. Репетируют старую репризу из спектакля «Девять песен о сатире» Олега Рябоконя, он когда-то гремел и за год до моего поступления получил главный приз на Первом всесоюзном фестивале студенческих театров от самого Аркадия Райкина. «Песня» называется «Ковальчук — друг индейцев». Я видел этот спектакль на первом курсе, и тогда он считался острым, а сейчас, через два года, кажется идиотским, и тайного смысла не разобрать, хотя все поднатюрели в чтении между строк.

— А для тебя, Василий Сергеич, мы споем нашу, индейскую. — И хором, деревенскими голосами:

Раздольная, широкая
Инде-ейская-а поля!

Василий Сергеич — это Толстиков, первый секретарь обкома. Если это он вождь племени кобзонов, значит, он засиделся и его пора сместить, а бледнолицые — это москвичи, они всех спортсменов и артистов себе забирают — так это интерпретируется в кулуарах.

Следующий номер объявляет парень, никакая не Лида.

На сцене семь диснеевских гномов в академических ермолках, выстроенные по росту, идут мультяшным шагом и поют хором:

Мы а-, мы а-ка-де-ми-ки,
Идей на-уч-ных плен-ни-ки,
Мы и-щем зер-на истины
И дви-жем мир впе-ред.

<...> С руководителем театра, доцентом Томсинским с кафедры «Детали машин», мы сталкивались, у него право первой ночи на время репетиций в актовом зале. И он же член парткома, ответственный за художественную самодеятельность, поэтому с музыкантами он всегда строг, для него наши ансамбли — еще одна головная боль, а мы воспринимаем его как конкурента в борьбе за зал. Но я думаю, он пытается, как может, прикрывать от парткомовских ястребов Эстрадный театр, свое детище, а рок-группы — это уж как получится. Ястребы, как им и полагается, раньше едва терпели знаменитый институтский джаз, а нынче из последних сил терпят нас, доклеывая по пути Эстрадный театр. В прошлом году сняли спектакль по пьесе Марка Розовского, а теперь уже и спектакль Рябоконя висит на волоске.

Когда репетиция заканчивается, я подхожу к ведущему.

— Привет! Раньше вроде девочка вела спектакль?

— Понятия не имею.

— А ты давно в театре?

— Да нет, первый год.

— Тогда ясно. А есть кто-то из старичков? — ведущий указывает на парня постарше, и я подваливаю к нему.

— Спектакль готовите?

— Если удастся собрать, сыграем на факультетском вечере. Старые выпустились, а новых вводить муторно — Олег Рябоконь уходит на телевидение.

— Жалко, но он молодец. А не знаешь, где девушка, которая номера объявляла?

— Ты про Лиду? Говорят, академку взяла. Может, на съемках.

— А как ее фамилия?

— Понятия не имею.

— А где она учится?

— Нигде, говорю же, академку взяла.

— А кто может знать?

— Да никто, из старого состава никого нет. Разве только у Олега спросить, пока не ушел.

Я отправляюсь искать режиссера, но того уже и след простыл. И никаких нитей у меня в руках не остается. Тоска.

О Лиде я мечтал все лето. У меня такой девушки еще никогда не было. Девочки из нашей группы — не в счет. С Надей мы однажды сходили в филармонию — ни мне,

ни ей не понравилось, а со спортсменкой, которая еще в школе посещала кружок юных космонавтов, попробовали проветриться в Парке имени 30-летия ВЛКСМ, и она предложила мне покачаться на качелях-лодочках. Я-то на космических тренажерах не практиковался, и потому с этой лодочки отправился напрямик в кусты. Тошнота прошла, но к аттракционам я больше и близко не подхожу и с космическими девушками дружить не пытаюсь.

А земных девчонок где взять: учеба, репетиции, на танцах они в зале, а мы на сцене. Мой запасной вариант — соседка сверху, мы с ней по трубе перестукиваемся, и она спускается ко мне, чтобы я помог решить задачку. Она была первая, кого я пригласил в кино, на «Брак по-итальянски» с Софи Лорен в главной роли. С соседкой мы прошли школу молодого бойца, но очень-то далеко не зайдешь: ее мама двумя этажами выше, а жениться по необходимости в мои планы категорически не входит. Да и моя мама. Стоит ей справедливо заподозрить, что я где-то пропадаю не один, она тут же весьма прозрачно намекает, чтобы я вел себя порядочно и зря девочкам голову не морочил. Поэтому если девочка мне не настолько нравится, чтобы жениться, я больше двух раз с ней не встречаюсь, чтобы не обнадеживать. А жениться, я знаю точно, буду только по большой любви.

Я думаю о Лиде. Лида — совершеннейшее исключение. В тысячный раз клянусь себя, что так и не раздобыл ни ее адреса, ни телефона. Не в отделе же кадров искать, это смешно. Про меня-то она все знает. Если я для нее что-нибудь значу, она меня сама найдет. Пока не нашла.

Лунная программа

— А можете что-нибудь рассказать про высадку американцев на Луне, говорят, там какие-то сложные маневры?

Слухи о том, что американцы высадились на Луне, доходят до нас еще на стройке. В Ленинграде многие работают на космос, у отца на работе строят луноход. Обидно, что первенство упущено, в газетах об этом пишут скупно, а ведь, по сути, — эпохальное событие! И обсудить не с кем.

Преподаватель смотрит на часы и машет рукой:

— Ладно, давайте поговорим. Я тут не самый большой специалист. Задача, как я себе представляю, самая сложная на сегодняшний день. Им пришлось выйти на околоземную орбиту, с околоземной стартовать к Луне, выйти на лунную орбиту, сесть на Луну, обеспечить выход людей на поверхность, вернуть космонавтов обратно на орбиту Луны, а потом вернуть возвращаемый модуль на земную орбиту и обеспечить посадку. Масса перестроений, стыковок и расстыковок, постоянная связь между Землей и всеми участниками операции.

— А мы могли бы такое сделать? Почему мы отстали?

— Конструкторская школа у нас хорошая, научная база отличная, а вот где беда — так это с технологией и качеством исполнения. И в электронике сильно отстаем, соответственно, и в связи. Тоже, заметьте, не в теории, а в технологии и в качестве исполнения. Мы с вами механики и, зная фундаментальные законы, должны стараться компенсировать системные недостатки изобретением уникальных конструктивных решений. Образно говоря, это значит прорыть такой туннель, чтобы оказаться по другую сторону горы, не поднимаясь на вершину.

— А как же мы спутник первыми запустили, и Гагарин?

Преподаватель разводит руками:

— Удача, что и говорить, риск. Королев был сильным руководителем. Без него такое уже не повторить. Главное в космосе — надежность, и тут нам до мировых стандартов как до Луны.

И я вспоминаю, что рассказывал наш староста, в числе активистов он был в Звездном городке на экскурсии.

— Представляешь, когда корабль с Германом Титовым вышел на заданную орбиту, один пиропатрон сработал несинхронно, из-за этого третья ступень отделилась от обитаемого отсека не полностью, и они стали биться друг от друга. И вот сидит он в обитаемом отсеке и думает: какая из коробочек окажется крепче?

На такие истории отец говорит:

— Чтобы вся система работала, нужны конкуренция и небольшая безработица, а вместо Госплана — рыночные механизмы. У буржуев свобода на улицах, а на производстве жесткий порядок, а у нас наоборот. Но тебе не переделывать мир. Все, что ты можешь — встроиться в существующий, не нарушая, насколько возможно, нравственности, и постараться самореализоваться.

— И все же можно получить удовлетворение от результата своей работы и в нашей системе, — говорит он. — Ты пока не представляешь, какую эйфорию ощущает человек, который увидел, как придуманное в голове и нарисованное на ватмане вдруг поднимается в воздух, начинает ехать или хотя бы ползти.

Я пока не понимаю, как можно встроиться в мою будущую профессию, а уж об эйфории и речи нет. Лунная программа, конечно, интересна — с общечеловеческой точки зрения, но копать в пиропатронах и гайках мне совершенно не хочется.

Басовая чехарда

А в ансамбле беда с басистом, Женя вместо занятий все чаще оказывается в пивбаре «Дубок» и окончательно съезжает с катушек. Его отчисляют, зато к нам приходит Слава из соседней группы.

У Славы круглое лицо, мягкие повадки, теплые интонации, он весь такой уютный, что моментально вписывается в коллектив, и нам начинает казаться, что он всегда играл на бас-гитаре в нашем составе. Слава о себе ничего не рассказывает, но становится своим для каждого из нас. Он хозяйственный, как Стец, постоянно перешучивается с Вовой и, как Саша, собирается поехать по грибы к родне в Калининскую область и даже меня зовет. Мне-то кажется, что у меня с ним особые отношения, но, по сути, у него такие со всеми. И еще Слава тоже пишет песни: и тексты, и музыку, нам остается их только аранжировать. Первой мы делаем «Песенку про дятла».

Сначала мы на три голоса мажорным аккордом поем, будто выстраиваем радугу. А дальше как бы из глубины леса, как бы на ушко, по секрету, Славин баритон:

Звонкий дятлов перестук,
Снова бродит он со мной...

Мне больше всего нравится вклиниваться в проигрыш к каждому из солистов и вставлять на органоле к месту и не к месту свои неожиданные «ку-ку».

Песни пишут и Саша, и Стец, мы их коллективно аранжируем и включаем в репертуар. Теперь на концертах мы играем не в чем попало, а в белых рубашках и в лучших темных брюках.

Большой дом и цвета художественной самодеятельности

Главное место для танцев — второй по величине Розовый зал, там традиционно проходят знаменитые институтские сейшены, и туда ломится весь город. Играть в Розовом зале нам пока не по рангу, другое дело розовым «Фламинго». Шутка. Два года назад мы впервые услышали там группу «Фламинго» с Аликом Асадуллиным, и меня поразил его высокий и чистый тенор, сильный при его субтильном телосложении, и попсовый прикид, напоминающий наряд экзотической птицы: вельветовые джинсы и замшевые фирменные шузы фиолетового цвета. И то и другое было круто, особенно потому, что о джинсах я даже не мечтаю, фарцовщики таких размеров не возят.

Сейчас в институте лидируют «Аргонавты», они играют на танцах в Розовом зале либо дают концерты в актовом. Не занята только площадка в дальнем фойе актового зала, возле туалетов, после концертов там проходят танцы, и эта площадка достается нам.

Внутри вуза можно играть все, никто не вмешивается, только студенческий оперотряд следит за порядком на танцах да институтская охрана караулит вход и стережет периметр. Их главные враги — тусовщики и хипари с Невского. Этих стараются отсечь на проходной, но они все равно просачиваются, тогда их отлавливает оперотряд и выпроваживает на улицу. По всей видимости, в институте не так боятся музыки, как пришлых, которых нельзя контролировать и пугать отчислением.

И вдруг на концерте «Фламинго» и «Галактики» в студенческом клубе Политехнического института накануне нового 1970 года — скандал. По городу проходит слух, что концерт разогнали, формулировки из комсомольских источников такие: творились безобразия, люди танцевали в проходах и висели на люстрах, а девушки снимали лифчики и махали ими в воздухе. Наутро после концерта музыканты обнаруживают свою аппаратуру в Большом доме серого цвета.

Народ ухмыляется и подытоживает:

- а) танцы в проходах угрожают моральному облику советского человека;
- б) советские девушки — не люди, потому что не висят на люстрах и носят лифчики;
- в) размахивание лифчиками угрожает советскому строю.

Ох, не советская это музыка и не советское это поведение.

В институте начинается паника, «Фламинго» и «Галактика» — наши студенты! Начальство переживает за свою судьбу, музыканты переживают за ребят и за судьбу ансамблей. И не без оснований.

Похоже, что запреты готовились давно, и это только повод, чтобы устроить показательную порку. В конце концов ответственность сваливают на «умников», проводивших мероприятие, — физико-механический факультет Политеха — и снимают их декана. Наше начальство не трогают, а выступления группы «Фламинго» запрещают.

ЛДХС, Ленинградский дом художественной самодеятельности тоже реагирует и выпускает приказ:

а) выступления вокально-инструментальных ансамблей в гитарном составе ЗАПРЕТИТЬ;

- б) в обязательном порядке иметь в составе духовые инструменты и фортепиано;
- в) всем группам пройти регистрацию;
- г) прежние названия отменить и согласовать новые.

И главное:

д) вокально-инструментальные ансамбли должны обязательно регистрировать программы выступлений и литовать тексты песен.

Таким образом, без штампа цензуры «Разрешено к исполнению» на сцену ансамбли выпускать больше не велено. Не выполнить этот приказ нельзя, но и выполнить невозможно.

Мы это ощущаем как нож в спину: только-только встали на ноги, начали получать приглашения отовсюду — и вот те на! Долго сомневаемся, стоит ли легализоваться: зарегистрируешься, и за тобой начнут следить, контролировать, что-то запрещать. Но делать нечего, пытаемся зарегистрировать тексты песен и программу выступлений, чтобы не отрезать себе возможность выступать в городе.

Документы для регистрации готовлю я, и дело это, если подумать, оказывается несложным, мы давно уже готовы не только читать между строк, но и писать иносказаниями. Я достаю печатную машинку и отстукиваю список из тридцати двух наименований — нашу творчески переосмысленную программу.

На дело отправляемся вдвоем с Сашей и Стецом. ЛДХС располагается на улице Рубинштейна.

С собой у нас отпечатанные в трех экземплярах тексты десятка наших песен на русском, каждая — на отдельном листе, и программа выступлений с названиями групп большими русскими буквами, все это мы несем в солидной папке для бумаг, находим нужный кабинет и попадаем на прием к ожидаемо строгой чиновнице. Она велит нам сесть, раскрывает папку с текстами и начинает просматривать. Читает и морщится, потом озвучивает несколько строк и саркастически отзывается об их стихотворном качестве, но папку на проверку принимает и велит прийти за ответом через неделю. А вот программу начинает разбирать на месте.

К «Музыкальному моменту» и «Баркароле» не придраться, но у инспекторши более широкий кругозор, чем я ожидал.

— Клод Лелюш — это кинорежиссер, а не композитор, — восклицает она торжествующим тоном училки, поймавшей школьника на списывании.

Это хук, но я парирую удар:

— Это не Клод, а Курт Лелюш, его брат. — Пауза. На это ей нечего возразить. Раунд закончен, очко в нашу пользу. Мы и не сомневаемся, что у проверяющих нет такого английского и знания зарубежной эстрады, чтобы проверить, что тут правда, а что фантазия, лишь бы названия звучали привычно.

Идет война во Вьетнаме, и до нас доходят песни протеста американской молодежи. Есть и у нас такая песня Сашиного сочинения со словами:

Автомат прирос к твоей руке, силой не отнять,
И в ушах всегда звучит приказ: «Стрелять, стрелять, стрелять!»

Программу утверждают. В конце концов мы получаем залитованные тексты с печатью «Разрешено к исполнению», лишь на страничке с Сашиним текстом слово «твоей» зачеркнуто синими чернилами и сверху рукой цензора написано «его». Мы не спорим: ясное дело, автомат может прирасти только к руке американца, а не к руке мирного советского солдата. Зато это единственное исправление. Видимо, понравились мы ей своим видом прилежных комсомольцев и короткими стрижками под военную кафедру.

Вручая нам папку, инспекторша говорит:

— Вот есть же приличные советские молодежные группы, не то что эти развратники на Западе. Смените только вы это название, что за чушь, «Зеленые муравьи», где вы таких видели! Возьмите нормальное, вот есть же «Веселые голоса», «Голубые гитары».

Мы выходим и долго смеемся над ее попыткой перекрасить муравьев в голубой цвет.

На гастроли в лагерь

Семестр подходит к концу, и надо думать, что делать летом. Однажды Саша приходит на репетицию взбудораженный: есть предложение поехать в лагерь трудновоспитуемых подростков, и нас зовут обсудить это в комитет комсомола.

— Сомнительная идея, — кривится Вова.

— Да уж, — поддакивает Слава. — Нам эта шантрапа все раскурочит и потырит, знаю я их.

— Да нет, — я тоже не в восторге, — надо что-то серьезное, надо хорошую программу на следующий год, а там и репетировать негде.

— Клуб наверняка есть, в лагерях всегда клубы, ты чего, в пионерлагерях на танцы не ходил? — Слава перекидывается на другую сторону.

— А я никогда и не ездил в пионерлагерь, у нас садоводство.

— Ну вот, жизни и не знаешь, — подначивает Слава. — Все скрипочка да пятерочки.

— Клуб, сказали, в деревне есть, — добавляет Саша, — аппаратуру будем там держать, зато все вместе, и на репетиции обещают отпускать.

— Надо узнать, какие условия, — авторитетно ставит точку Стец. — Других вариантов пока нет. Давайте сходим, поговорим, а там видно будет.

Все вместе идем на переговоры. Секретарь комитета — большой начальник, я год назад довольно плотно терся в комсомоле, но вижу его вживую впервые, раньше слышал только имя: Сергей Алексеев. Выглядит старше предельных двадцати восьми комсомольских лет, солидный, взрослый товарищ.

— Экзамены сдадите досрочно, практику мы вам засчитаем, — говорит он, как будто мы обо всем договорились. — Значит так: в нашем Ленинском районе три вокзала, а рядом с ними — доходные дома начала века. От Витебского в сторону Обводного канала — Семенцы, бандитский район, слышали? А слышали, что Ленку Пантелеева подстрелили именно там, на Можайской? Это были казармы гвардейцев Семеновского полка, а теперь огромные коммуналки. А возле Балтийского вокзала — вообще трущобы, скоро на снос, и жильцы там соответствующие. С родителями нам ничего не сделать, а детей надо вытаскивать. Наш институт шефствует над детской комнатой милиции Ленинского района, и уже который год студенты ездят воспитателями в летний лагерь на Карельский перешеек. Эти пацаны человеческого отношения в жизни не видели, и вы можете сыграть в их судьбе важную роль.

Агитировать он умеет.

— Будете комиссарами, у каждого — свой отряд, не робейте, справитесь. Я туда уже пять лет езжу, в этом году, правда, другой начальник будет. Дело благородное, а вам еще и питание будет бесплатное. Мы такой лагерь первыми организовали, и опыт наш, между прочим, теперь по всему Союзу распространяют. Принимают только мальчишек и называют их бойцами, потому что лагерь — военно-морской патристический. Ребята в основном неплохие, только жизнь у них тяжелая. В каждом отряде будет еще воспитатель, ваш напарник, а вы сможете уходить днем репетировать, клуб недалеко, на станции.

Даром убеждения этот Сергей Алексеев уж точно обладает.

— Вы там не стесняйтесь, если для порядка надо будет, то можно и прутиком по-воспитывать! — удивляет он нас в конце встречи.

И мы расходимся готовиться к экзаменам и думать о летних гастролях.

ТРУДНОВОСПИТУЕМОЕ ЛЕТО, 1970

Остров

Пазик въезжает через брод на территорию лагеря, минует КПП с обломанным шлагбаумом на берегу, заезжает в лес и останавливается в центре поляны. Рядом под навесом длинные, потрепанные непогодой столы и скамейки, за столами строение с печной трубой, смутно напоминающее кухню, похоже, это и есть наша столовая с бесплатным питанием. Сюда и выгружаемся: я с чемоданчиком и скрипкой, Слава с гитарой и сумкой, Вова с рюкзаком и барабанными палочками. Чуть поодаль — штаб, более солидное строение жилого вида.

Все остальное: взлохмаченные сосны, корни, камни, шум ветра, — незнакомое и дикуватое. Сквозь кусты — просверки водной ряби, там на фоне озера контуры странных построек: под взъерошенными островерхими крышами на склоне приютились пять длинных домиков. Каждый на тонких сваях, к каждому ведет своя лесенка — архитектура избушки на курьих ножках, но не одной, а целых пяти. Стенки в одну досочку, сляпанные ловкими руками юных бандитов прежних призывов, уже посерели и разошлись. Это наши палатки, нам тут жить полтора месяца.

Осматриваю домик, который достался мне: железные кровати, по восемь штук с каждой стороны, подозрительно хлипкие, с продавленными панцирными сетками, скрипучие. Ладно, думаю, детки весят меньше взрослого. Тумбочки — одна на двоих, сойдет, красть у меня нечего. Справа горой сложены матрацы, я перекладываю один себе на первую от входа кровать, она вроде покрепче, да и место стратегическое — контролировать вход. Электричества нет, оптимистический расчет на белые ночи — с их трепетным светом сквозь щели в домик входят духи сосен, которые качаются за стенами и оживляют «приют убогого чухонца».

Оставляю чемоданчик и иду со скрипкой к столовой, где меня ждут ребята с гитарами, чтобы отнести инструменты в клуб и встретить там Стеца и Сашу, которые везут аппаратуру. Перед нами брод, закатываем штанины и между собой отмечаем, что остров от материка изолирован не очень-то надежно. Брод неглубокий, на другой стороне обуваемся и чапаем на станцию Кузнечное. Идти не так близко, как говорили, четыре с половиной километра, но приходим вовремя: ребята как раз подъезжают к клубу.

Помогаем им выбраться и перенести все имущество в клуб, в комнату за сценой, которую ребята, когда ездили накануне договариваться с директором, выторговали на очень выгодных условиях: мы ежедневно репетируем, а на выходных играем на танцах и концертах — бесплатно, а нам предоставляют комнату для хранения аппаратуры и зал с бесплатным электричеством. И они не внакладе: обычно здесь танцы под магнитофон.

Инструктаж комиссаров

В лагерь мы возвращаемся уже к вечеру, детей привезут только завтра, а нас собирают в штабном домике на инструктаж. Вместо Сергея Алексеева начальником аспирант нашего института, мы его видели на собрании в комитете комсомола, там

он молчал и ничем себя не выдал. Есть еще два милиционера: начальник районной детской комнаты милиции в форме с погонами капитана и другой, одетый по гражданскойке. Установки дает капитан:

— Запомните, мы с вами вывозим малолетних хулиганов из города, чтобы снизить число правонарушений, которое летом от безделья обычно растет. И побегии необходимо пресекать.

— Хорошо бы в зародыше, — шепчет мне Слава.

— Все они из неблагополучных семей, все состоят на учете. Родители пьют, домой собутыльников водят, а то еще мать с каким-нибудь мужиком на одной кровати спит, а наш пацан со своей девочкой на другой. Воспитать вы их не успеете, не действуетесь, но хотя бы эти два месяца они поедят нормально и не поубивают друг друга.

— Ну, ну, не все так плохо, — успокаивает начальник, — несколько сотен детей прошло через лагерь, за пять лет многим, я думаю, здесь помогли. Когда Алексеев открывал лагерь в шестьдесят пятом, он придумал военно-морскую тему, потому что нашлись щедрые шефы из Балтфлота, а потом озеро, дисциплина, военно-морская кафедра в институте — одно помогает другому. Так что теперь я ваш адмирал. Сергея взяли в обком, он будет продвигать эту идею в масштабах города, а то и страны, а здесь командовать буду я.

— О, мужики, после института мы только лейтенантами будем, а тут нас сразу в капризы!

— Капитаны у нас милицейские, а вы комиссары и должны отвечать за воспитательную работу с бойцами. Я тут тоже впервые, рассчитываю на вашу поддержку. Телесные наказания мы, конечно, применять не будем, но от карцера не откажемся. Беглецов обычно удается поймать, и за побег положено наказание. Карцер вон в той будке за командирским домиком, подальше от палаток. Все вместе мы называемся «Подростковый военно-морской патриотический лагерь Ленинского района Ленинграда» или сокращенно ПВМПЛ-70. Ну, будем надеяться, что все обойдется. И еще, к вашему сведению, здесь, на острове, дальше по берегу в лес, наш студенческий стройотряд. Студенты работают в местном совхозе, но главное, скажу так: они здесь для нашего усиления, на всякий случай, так что не волнуйтесь, у Сергея Алексеева все продумано.

До того у меня и в мыслях не было волноваться. Я и не думал о том, что отбиваться придется, думал только, что мы нашли удачный вариант провести лето вместе. А тут вдруг понял, что и им с нами здорово повезло: на такую работенку не всякий согласится, а мы не разбежимся и одним ансамблем пять отрядов закроем.

— Подъем в восемь, зарядка, умывание; общее построение с подъемом флага в девять, потом завтрак.

Расходимся на ночевку. Домик встречает меня тучей комаров. Так спать невозможно, вспоминаю, как родители в садоводстве выкуривали насекомых дымом, бегу в столовую, нахожу ведро, в штабе набираю газет. Рву траву и укладываю на бумагу в ведро, в домике поджигаю, открываю дверь, оставляю ведро и выхожу на волю. Дым прет изо всех щелей вместе с комарами. Закрываю дверь и понимаю, что отсутствие света — это плюс. Только помещение надо держать закрытым, через щели, надеюсь, комары не ползут, заноз испугаются. Делюсь опытом и ведром с ребятами.

Варяги

Утром приходят автобусы с нашими подопечными. Мне достаются пацаны на вид лет по двенадцати, они тушуются на новом месте и ведут себя смирно. Выделяются не-

сколько: длинный Ершов — своей активностью, а деловой крепенький Шереметьев — наоборот, сдержанностью. Еще один, по кличке Блокадник, — тощий, как скелет; три приятеля с гитарами держатся вместе, остальные пока на одно лицо. Мне удастся привести всю шоблу в кладовую, каждый получает одеяло, подушку, постельное белье и полотенце. По кроватям они разбираются сами.

Подходит время обеда. С криками и толкотней пацаны рассаживаются по скамейкам, я сажусь во главе стола. Ершов и еще два добровольных помощника отправляются получать алюминиевые миски, кружки и ложки и раздают их народу. Приносят хлеб, кладут на середину стола, все вскакивают и, как свора собак, набрасываются на хлеб. Куча-мала, хватают куски, отталкивая друг друга. С добычей рассаживаются по местам.

— Ребята, — говорю я, — хлеба всем хватит, не забудьте, сейчас будет суп, а потом и второе. А хлеба я попрошу принести еще.

Новую партию хлеба расхватывают уже не так энергично, свалка гораздо меньше.

Приносят бак с супом, ставят возле меня, велю Ершову разливать. Он берет черпак, наполняет миску чуть ли не через край и ставит передо мной.

— Дели на три, — команду, — и отправляй на дальний конец, в стройотрядах так принято.

Теперь он наливает нормальные порции, свою я получаю последним. На второе — макароны по-флотски, дневальный раздает их по моей схеме, к компоту все наелись, и толчеи больше нет.

После обеда отправляемся проследить, как детишки будут обустраиваться на тихий час. Смешно, конечно, какой тихий час для таких лбов, но лесной воздух и осоловелость после обеда берут свое, и они затихают. К вечеру я начинаю их различать и даже запоминаю кого по имени, а кого по фамилии. Трое с гитарами — это уже готовый ансамбль, и вокруг них сразу собираются любители дворовых песен. Мы в их возрасте тоже такое пели, но нам это казалось своеобразной романтикой, а тут выходит голый соцреализм:

Лагерь познакомил, детка, нас с тобой,
Прокурор принес печаль-разлуку,
Суд на наше счастье и покой, вай-вала,
Поднял окровавленную руку.

Ладно, посмотрим, кто в чьих руках.

Следующее утро начинается со всеобщего построения на стадионе с подъемом флага. У каждого отряда, по идее, должна быть своя песня. Я выбираю знаменитый «Варяг», его так часто поют по радио, что первый куплет знают все, даже маленькие дети:

Наверх, вы, товарищи, все по местам,
Последний парад наступа-а-ет.

Вот чем я перебую их воровские песни!

Слова бойцам нравятся, и мы начинаем их учить. Песня намного длиннее, чем поют по радио. Текст нам выдал начальник лагеря, но при этом пробормотал: вот нашел какой-то старинный вариант, ты там обработай. А я заранее не посмотрел и стал петь им с листа:

Из пристани верной мы в битву идем,
Навстречу грозящей нам сме-рти.
За Родину в море открытом умрем,
Где ждут желтоли-и-цые черти!

Весь текст на удивление запоминался нелегко, некоторым вообще не давался, учили много дней, и только желтолицые черти были встречены громким одобрением, и их сразу взяли в обиход, хотя если что и стоило пропустить, то именно этот куплет. «Черт желтолицый» сразу стал у нас фирменным отрядным ругательством, причем самым безобидным из всего, что было в ходу.

Дальше там про битву. Наученный желтолицыми чертями, я сразу пропустил следующий куплет, где в предсмертных мученьях трепещут тела, живо представив, как мои бойцы будут это изображать. Оказалось, что я обладаю хорошими задатками массовика-затейника и хормейстера. Слова были только у меня на бумажке, и я громко и с воодушевлением запевал. Пропую строчку, выкрикну скороговоркой следующую и пою ее вместе со всеми. Первым подхватывал Шереметьев, голос у него еще не сломался, и его красивый и сильный дискант звеняще шел вверх и проникновенно падал, как на волнах:

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.
Лишь волны морские прославят одни
Геройскую гибель «Варяга»!

Репетировали мы много дней, и это было моим спасением, потому что делать мне с ними, по сути, было нечего. Я это быстро понял и стал воображать, как из отряда соорудить хор Александрова к родительскому дню. Шереметьев будет солировать, а я изображать голосом басовый аккомпанемент, но он засмущался, а я не стал настаивать, да и родительский день у нас не предполагал никакого концерта. Но я довольно долго возился с этой мыслью, пытаюсь учить пацанов петь, и, по крайней мере, «Варяг» у них стал получаться.

Стратегии воспитания

Наш режим был таким: с пацанами мы проводим время до обеда, в час дня уходим на репетицию, час туда, час обратно, два часа в клубе, возвращаемся к пяти, пропускаем только обед и тихий час. Подменять нас должны были напарники-воспитатели. Затевать до обеда что-то серьезное с ребятами у нас не получалось. И особых трудовых повинностей, как это было заведено в первые годы существования лагеря, больше не было, только небольшие работы по уборке территории и дежурству на кухне. В хорошие дни они купались под нашим присмотром, играли в пинг-понг и футбол, а в основном болтались сами по себе.

С утра мы всем отрядом, воодушевленные завтраком, маршировали по стадиону и пели, и мне это казалось удачной педагогической хитростью. Я подозревал, правда, что бойцы за моей спиной сговариваются на свои подвиги, но закрывал на это глаза. Были, конечно, у них какие-то стычки, шалости, но до серьезных разборок не доходило, и я не вмешивался. Чувствовал, что влезешь, и придется решать, кто прав, кто виноват, а с этим никогда не угадаешь, и доверие легко потерять.

Я пытался понять, как вести себя с мальчишками, и нашел подходящими, кроме хорового пения, только два воспитательных приема: говорить с ними на равных и не называть их по прозвищам. А нехитрые прозвища, вернее, клички были почти у каждого: Сметана (блондин), Цыган (черноволосый и смуглый), Шнобель (длинноносый), Скелет (такой же тощий, как Блокадник, но повыше ростом), Боец (Бойцов).

Воспитатель Боря появился через два дня. Во время завтрака я уступил ему место во главе стола, Ершов ему первому передал миску с тройной порцией каши, он ее принял и начал есть. Я сел сбоку, с ребятами и, как уже было заведено, взял свою миску последним. В тот же день мы отправились на репетицию. Вернулись к полднику, и что было в обед, я не видел. Когда Боря пришел на ужин и сел за стол, нагловатый гаврик по кличке Леший с деланным изумлением спросил: «Боря, а ты что, тоже хочешь есть? Ты же ничего не делал!» Боря не отреагировал и продолжал вести себя как ни в чем не бывало. Ребята явно над ним издевались, а на мне это сказалось неожиданным образом. На следующий день, когда мы вернулись с репетиции, я обнаружил, что они оставили мне обеденную пайку: суп, кусок недоваренной куры с макаронами и компот!

Боря продержался у нас недолго, через несколько дней он лагерь покинул. Как выяснилось, он вообще тут оказался по ошибке: работал себе кладовщиком на Карбюраторном заводе, его мобилизовали на работы в подшефный совхоз, а в профкоме что-то напутали, и неожиданно он обнаружил себя воспитателем.

Но напарник мне, как и каждому из ансамбля, был необходим: кто-то же должен оставаться в отряде днем, и начальник выделил мне свою жену, она скучала без дела, и вот наконец дело нашлось. Алина быстро установила контакт с пацанами: водила их в лес за земляникой, на озеро купаться. Мы с ней спелись и передавали отряд друг другу из рук в руки. С воспитанниками она вела себя, как женщина обычно ведет себя со своими детьми, а как раз этого им в жизни и не хватало.

Не всем так повезло, как мне с Алиной. Воспитателями оказались еще более случайные люди, чем мы, а дети были отнюдь не паиньки, и мы с «муравьями» делились случаями из жизни своих отрядов.

У Саши были малыши, и там, естественно, сложилась самая спокойная обстановка. Малыши-то малыши, но из неблагополучных семей, и у каждого своя история. Когда по стадиону проходил Сашин отряд, я обратил внимание, что один боец не умеет даже маршировать. Все дело в отмашке: нога должна идти вперед с противоположной рукой, а у него правая с правой, левая с левой, и с каждым шагом его разворачивает.

— Зато курить он уже умеет, — прокомментировал милицейский капитан, когда я спросил его, что это за чудо. — Епишкин, ему всего шесть лет. Что-что, а маршировать ему в жизни придется.

Остальные были постарше, но все равно младшего школьного возраста. Вообще-то, они играли и баловались, как и положено таким детям, а воспитательным приемом у Саши, особенно в плохую погоду, было рассказывать им сказки, которые он и сам любил. Вот вечером, после команды «отбой», лежат все по кроватям и начинают просить:

— Саша, расскажи сказку! — И Саша заводит:

— Шерлок Холмс сел в свое глубокое кресло и закурил свою любимую трубку.

Утром они обступают его и спрашивают:

— Саша, а что там было дальше?

— А ты на каком месте заснул?

— Шерлок Холмс сел в свое глубокое кресло и закурил свою любимую трубку.

У басиста Славы воспитанники были примерно такие же, как у меня, от одиннадцати до четырнадцати. Удивительно, что при всей своей ласковости в обращении и балагурстве он навел у себя в отряде самую строгую дисциплину. В первые же дни вечером, обнаружив, что подопечные шумят после отбоя, он скомандовал:

— Кто тут не спит? Разговорчики разговаривает? Всем встать! Бегом — десять кругов по стадиону.

— И после десяти кругов ложатся и засыпают как миленькие, — довольно улыбаясь, хвастался Слава.

В зlostных случаях нарушения дисциплины он заставлял провинившегося по полчаса стоять с поднятыми вверх руками, зажимая уши. Работать, как каторжных, ребят не заставляли, кормили хорошо, они играли, ходили в лес, купались, как остальные дети, но дисциплинированно, строем, и никаких особых эксцессов у него в отряде не было. Вроде бы и нестрашные наказания, но они оказались очень действенными, и бойцы Славу боялись как огня.

Когда расформировывали отряд Стеца и к Славе переводили пятнадцатилетнего Шевченко по кличке Шеф, которого привезли в лагерь на милицейском «воронке», тот плакал. Шевченко с двумя подельниками того же возраста в подворотне на улице Шкапина, где на задворках Балтийского вокзала дома пропитаны копотью и безнадегой, раздел и ограбил мужика. Бандит? Бандит, но ребенок. Он плакал потому, что Слава очень строгий и все его боятся.

Ритм-гитаристу Стецу, у которого контингент был тоже от одиннадцати до пятнадцати, не повезло больше всех. С самого начала обстановка у него была нехорошая: если в подростковом коллективе есть зlostный заводила, вокруг него очень быстро складывается бандитская атмосфера. А у него как раз такие и оказались, в отряде пили, курили, открыто матерились.

Как-то комиссар вошел в палатку, а мимо просвистел нож и воткнулся в дверь. Стец — человек дела и не очень-то разговорчивый, а справиться с такими головорезами может только хороший психолог. Следующим утром Стец пригласил Сашу на пляж и в присутствии своих бойцов как бы невзначай продемонстрировал на нем технику самообороны без оружия — бросок через бедро. Авторитет на некоторое время вырос. Но атмосфера была та еще: ножи имелись у многих, хотя один пацанчик оказался обычным пионером из нормальной семьи, чьи родители повелись на название «военно-морской патриотический лагерь». Естественно, бойцы с опытом тут же присвоили ему кликуху Пионер. Думаю, он многому научился от товарищей по отряду в этом патриотическом заведении, а по возвращении щедро поделился этим опытом со своим пионерским отрядом.

И не только он, я тоже обогатился новыми знаниями о жизни и пополнил словарный запас. <...>

Вове достался старший отряд. Его тактикой было дружить с пацанами, завоевать авторитет, выдавая себя за своего. Он из семьи военного и за свою школьную жизнь сменил семь школ, последний год учился в Тамбове, где отец командовал авиационной частью. Из этого города Вова привез в Ленинград хороший аттестат и жизненный опыт в виде сломанного носа, а также решимость учиться в хорошем вузе.

Вова был самым высоким из нас, но ему еще не исполнилось двадцати, а старшему воспитаннику уже стукнуло восемнадцать. Восемнадцатилетний сбежал в первый же день, милиционеры пытались его перехватить на станции, но не сумели. Обнаружилось, что перед побегом он украл импортные плавки у студента из стройотряда, а через два дня пришло сообщение, что беглец обнаружился в городе, где продал укра-

денное, деньги пропил, в пьяном виде загремел на пятнадцать суток и в лагерь больше не вернется. Следующему по старшинству бойцу было всего семнадцать, и Вова почувствовал себя увереннее.

Назавтра, чтобы завоевать авторитет, Вова начал рассказывать на ночь своим бойцам про космонавтику и Циолковского. Было тихо, все слушали, но утром обнаружилось, что пока все спали, с его студенческой формы срезали все блестящие пуговицы. Ударник провел дознание, и когда их нашли в матрасе, то двенадцатилетний злоумышленник объяснил, что комиссар сам виноват: ведь невозможно не украсть, когда добро без присмотра висит.

Взаимоотношения с воспитанниками вроде стали налаживаться, но дней через десять (мы только вернулись с репетиции) обнаружилось, что трое пацанов ударились в бег.

Их быстро хватились, и Вова с обоими милиционерами бросился в погоню. Вернулись они вместе с беглецами только утром, пацанов поместили в карцер, и Вова потом нам рассказывал.

— Мы настигли их в поезде в сторону города и высадили на небольшой станции, не доезжая Приозерска. Чтобы вернуться в Кузнечное, надо было ночь ждать обратного поезда. Я снял с них ботинки, босиком, думаю, никуда не денутся, и начал переговоры с бугром.

— С кем, с кем?

— С главарем. Разговоры вел только с ним, остальные ничего не решают. Сторговались на том, что побег мы не оформляем, а они возвращаются в лагерь и больше не убегут. Пацаны вроде успокоились, закемарили на полу в вокзальном павильончике. Я пересказываю наш уговор милиционерам, один согласен, другой — нет. Капитану не нужны неприятности, и он готов замять дело, а оперативник, который по гражданке одет, никаких наград не ждет, говорит, что как приехал сюда с двенадцатью рублями, так и уедет, и пускай все будет, как положено.

По большому счету он прав, конечно. Я же ботинки с них снял, а наутро-то что оказывается? Они опять в обуви — украли у кого-то, их ботинки-то у меня! Но я уже не стал допытываться, чтобы не убили.

— Ну, так и отправил бы их в город.

— Понимаете, какая-то внутренняя связь появилась с этой братвой: чувствую, что могу ими управлять, а с другой стороны, я и дистанцию могу с ними выдержать. И стал я отмазывать своего бугра.

— И что, отмазал?

— Пока нет, у него, оказывается, уже есть условный срок.

— Ну тем более нужен тебе такой.

— Да я понимаю, без него остальные будут себя вести тихо. Интересно мне, как это пацаны учатся взрослой жизни. Я вот замечал, что много где, ну в казармах например, обязательно установится такая иерархия. Главный авторитет, бугор, талантливый руководитель, можно сказать, держит мазу. Те, кто делает основную работу и выполняет команды бугра, — это мужики, а терпилы или шестерки — это те, кто прислуживает бугру. Каждый отлично знает свою роль, и она их, как правило, устраивает. Перераспределение возможно, но только сверху, и все это я вижу у моих хулиганов. Вот уверен, что и в карцере этот прыщ ничего не делает, а только командует: посуду отнеси, грязь убери, — а остальные двое ему прислуживают.

— А ты надеешься стать его дрессировщиком или останешься простым зрителем, любителем острых ощущений? — поинтересовался я.

— Ха, простым уже не получится. Понимаете, я понял, что от моего слова зависит, сколько человеку сидеть. Он у меня даже симпатию вызывает, у парня есть какая-то власть над людьми, а власть, знаете ли, это большая притягательная сила.

Вовиноного бугра все же увезли, и его судьба осталась неизвестной.

Шеремет

Белые ночи пошли на спад, вечером становилось темнее, и вот в день, когда мой отряд дежурил по лагерю, очередной пацан сбежал, но его поймали. Наказание за такой проступок — карцер, и на меня выпала обязанность назначить кого-то из бойцов в охрану на ночную вахту с двадцати трех до полчетвертого утра.

Требовалось найти надежного хулигана, которому можно поручить провести прохладную июльскую ночь, бодрствуя на природе, да еще с таким сомнительным поручением. Я решил обратиться к Шереметьеву. Хотя со мной он держался независимо и отчужденно, я его внутренне выделял для себя, и не только из-за голоса. Ребята его уважали, как мне казалось, за то, что у него есть чувство справедливости, вел он себя очень сдержанно, никого не обижал и сам в обиду не давался. Не знаю я, что он состоит на учете в детской комнате милиции за грабеж магазина в составе группы, никогда бы не подумал, что с ним не все в порядке. Вообще-то, все бойцы казались мне хорошими, если с ними по-человечески обращаться, а как раз этого в своей жизни они не видели.

Позвал Шеремета в штаб, сказал, что годом раньше беглеца выпороли бы прутиком, а сейчас он всего лишь посидит ночь в карцере, и попросил подежурить. Что делать, если он откажется, я не знал, запасного варианта у меня не было, но он согласился, сказал только, что сходит одеться потеплее. Я остался его ждать.

Жду, а он не идет. Не выдержал, пошел искать. И вот прохожу между отрядными домиками, сквозь щели слышимость отличная, внутри нашего домика один голос говорит:

— Ты что так одеваешься, правда, что ли, дежурить собрался? Да наплюй, зачем тебе это надо?

Другой, я узнал Шеремета, говорит:

— Не, я не могу, неудобно, я Леше обещал.

Соображаю, что его собеседник — это длинный Ершов, тот самый, который всегда бегал за мной хвостиком, демонстрируя полную готовность услужить. Вот он кто, Ершов, — шестерка, как говорит Вова, разве можно таким доверять! Я вернулся в штаб и набрался терпения. Вскоре Шеремет пришел, как обещал, и отстоял-таки вахту.

Когда лагерь закрылся, я нашел среди забытых вещей свидетельство о рождении Шереметьева. Долго пытался найти его самого, чтобы вернуть этот важнейший документ, звонил в телефонную справочную, однажды даже зашел в детскую комнату милиции. Наш капитан все еще там работал, и я спросил, что он знает о моих ребятах.

— Не хочу тебя расстраивать, но ничего хорошего их в жизни не ждет. Те полтора месяца были для них отдушиной, но возвращаются они в свою среду, откуда и вышли, так что сомневаюсь, что им что-нибудь светит, кроме отсидки. Вываться смогут только очень немногие.

О Шереметьеве он тоже ничего не знал. Я даже расстроился и долго потом вспоминал его звенящий дискант:

Не скажет ни камень, ни крест, где легли
Во славу мы русского флага.

Лишь волны морские прославят одни
Геройскую гибель «Варяга»!

Холерическое, 1970

Лагерь закрывался, наше трудновоспитуемое лето заканчивалось. Саша и Слава отправились на август собирать грибы каждый в свою деревню в Калининской области, Стец скрылся, как обычно, в неизвестном направлении. Поехать в деревню, где много грибов, было и моей мечтой, и я выбирал, кому составить компанию — Саше или Славе, оба звали. Но тут Вова стал уговаривать меня рвануть на месяц в Казахстан, где работали его друзья по общежитию, строить железную дорогу Гурьев—Астрахань.

— Поехали, заработаем, арбузов поедим!

Ну, и как тут откажешься?

Летайте самолетами Аэрофлота

— До перерыва успеть бы.

— На Симферополь не знаете, на какое число билеты есть?

— Бери на любое, а потом лезь на посадку.

— Вова, спроси, что значит «на посадку».

— А что такое на посадку?

— Если есть свободные места, можно улететь, но нужен билет на любое число.

— Слышь, если билетов не будет, берем на любое.

— В Астрахань-то будут, не в Сочи же!

— Не говори гоп...

Конец июля, жара невыносимая. Невский, кассы Аэрофлота, народу битком, у окошечек столпотворение. С трудом определяемся, где какая очередь, и становимся в разные, где быстрее подойдет; стоять часа два, не меньше. Толпу лихорадит — билеты достаются не всем, а меня еще будоражит детское воспоминание, как мы с родителями летали в Москву на Ту-104Б и зачем в кармане кресла лежали бумажные пакеты.

Вовина очередь подходит первой, он сгибается пополам и ласковым голосом говорит в окошечко:

— Девушка, здравствуйте, нам до Астрахани два билета на ближайший рейс.

— В Астрахань билетов нет до конца августа, — голос у тетки суровый.

— Девушка, найдите, пожалуйста, что-нибудь, нам в стройотряд надо, нас там ждут!

— Где я вам найду, Астрахань на карантин закрыта. Ее вообще нет.

Сзади уже недовольные голоса:

— Ну что вы там застряли, берите и не торгуйтесь.

Я прикрываю Вову корпусом, а он умильным голосом просит тетку:

— А что же нам делать? — и мне: — Куда полетим-то, что там рядом?

Я мучительно представляю карту и беспомощно пожимаю плечами.

Вова снова наклоняется к окошечку:

— А вы что посоветуете? Нам, вообще-то, в Гурьев надо.

— Тогда Волгоград.

— Два билета, пожалуйста.

— Свободные места только на тринадцатое августа.

— А правда, что можно через посадку улететь пораньше?

— Не знаю, не пробовала.

Вова мне:

— Берем? — Я протягиваю деньги.

Вова получает два билета на 13 августа, и мы идем смотреть расписание: Волгоград, время вылета 7.40, время прилета 10.45, дни отправления 2, 4, 5 и 7, тип самолета — Ил-18.

Сегодня вторник, 28 июля, ближайший рейс в четверг. Вова едет улаживать свои дела с общежитием, ему надо постираться и вообще, а я еду домой объясняться с родителями.

Отец тусклым голосом замечает, что карантин, вероятно, из-за дизентерии.

— Говорят же им: мойте руки перед едой, так нет, — у отца ассоциации с войной, он переболел брюшным тифом, когда ездил на фронт собирать танки для заводского ремонта.

Мысли у родителей какие-то мрачные, но, так или иначе, вслух они не пытаются возражать.

В четверг в шесть с копейками утра мы с Вовой уже в аэропорту. Разведываем, на какой стойке рейс на Волгоград, и занимаем там стратегическую позицию. Начинается регистрация, за стойками появляются девушки в форме, и мы пытаемся войти с ними в контакт, задаем дурацкие вопросы, получаем отлуп, мол, посадят, если места будут. Толпимся возле самолета, свободных мест в конце концов нет, но мы не унываем: следующий рейс завтра.

Наутро мы снова в аэропорту, и снова нам не везет, сажают всех, кроме нас. Самолет запускает винты, а мы бредем по летному полю и отворачиваемся друг от друга, чтобы скрыть навернувшиеся слезы. Обидно.

Первого нам наконец везет, и через три часа беспокойного сна мы приземляемся в Волгограде. Сразу бросаемся к кассам покупать билеты на Гурьев. И только здесь становится ясно, что Астрахань закрыта на карантин не просто так. Холера! А дома-то ничего не знают или уже знают?

— Не лететь же обратно, — хорохорится Вова, — тридцать два рубля все-таки потрачено!

И я соглашаюсь, я тоже не люблю поворачивать на полпути.

Думать, что улететь из Волгограда в Гурьев будет легче, чем из Ленинграда в Волгоград, теперь нам кажется легкомыслием. Сегодняшний рейс улетел, следующий — только завтра ранним утром, билетов, конечно, нет, а из брони поступают в продажу за два часа до вылета. В единственной кассе, которая стоит в центре зала, в стеклянном аквариуме с полукруглым окошечком сидит симпатичная девушка. Мы понимаем, что она наш единственный шанс. Складываем вещи возле кассы и начинаем дружить.

Оставшийся день до вечера и всю ночь мы ее развлекаем. Поем то вместе, то порознь, то чуть ли не пляшем возле кассы, чтобы размягчить ее девичье сердце. В отличие от нас она выпалась перед сменой, настроение у нее хорошее, билеты покупают редко, и к нам она благосклонна.

Под утро выясняется, что дежурство заканчивается раньше, чем билеты начнут продаваться, но она обещает замолвить словечко перед сменщицей и выполняет свое обещание: мы первыми получаем билеты и ползем регистрироваться на рейс.

Один миг, и мы просыпаемся уже в Гурьеве. Здесь, в казахстанском областном центре, базируется районный комсомольский штаб питерских стройотрядов, которые строят железную дорогу Гурьев—Астрахань. Отряд с очень ленинградским названием «Зенит», куда мы нацеливаемся, стоит на полустанке Ганушкино. Вообще-то, до Ганушкина далековато, километров двести с гаком. Рассчитываем, что комсомольцы помогут нам добраться до места, но прежде надо найти штаб.

Столица Гурьевской области поражает нас своими глинобитными домиками. Солнце слепит и жжет, мы идем по вымершей пустой и пыльной улице, и нам не по себе. После бессонной ночи и краткого забытья в самолете все вокруг колеблется в мареве горячего воздуха и кажется миражом. Вдруг собака, которая недвижно лежит в тени современной двухэтажной высотки из стекла и бетона, шевелит хвостом, и это доказывает, что окружающий мир реален. Похоже, нам сюда, таблички при входе подтверждают: «Исполком», «Райком партии», «Райком комсомола», «Облсовпроф».

В пустынном вестибюле гораздо прохладнее, чем на улице, на вахте тоже никого. Райком комсомола удастся отыскать на втором этаже, штаб стройотрядов мы находим по громким голосам, звонкому женскому смеху и звону посуды. В большой комнате нас встречают вдрабадан косой командир и не менее веселые девицы, пахнет пьянкой и недавним развратом. Они дружно пьют на нас глаза, немая сцена, на мгновение наступает тишина, а потом хором голоса:

— Вы с ума сошли, все валят отсюда, а вы сюда приперлись!

Мы бодримся.

— Жарко, мы ночь не спали, нам бы до «Зенита» добраться, пока светло!

В рабочий поезд до Ганушкина тем не менее они нас пристраивают. Уже там, через день после прибытия, мы узнаем, что Гурьев закрыли на карантин, и от этого становится спокойнее: пути назад точно нет, но мы, так сложилось, в чистой зоне, отрезанной от внешнего мира. До своей холеры мы долетели.

Шпалоподбойка

Отряд живет в больших палатках на двадцать человек каждая, кровати для нас готовы, оказывается, нас и правда ждут. Моя ближе ко входу, Вовина — где-то в глубине, рядом с его друзьями по общаге.

Утром выходим на работу по ремонту железнодорожного пути, проложенного два года назад. Насыпь устроена слоями, верхний слой из щебня, на жаргоне путейцев — балласта. За время эксплуатации пути просели. Первый этап — подъёмка; по технологии требуется, когда насыпь улеглась, немного приподнять рельсы со шпалами и насыпать балласта, а потом подбить балласт под шпалы в местах крепления рельсов. Дело в том, что шпалы должны опираться именно на эти две точки, а между рельсами и на обоих концах шпалы должны слегка провисать, иначе они сломаются. И вот проходит специальный поезд, хоппер-дозатор, и сыплет балласт. Потом идет поезд, который приподнимает рельсы вместе со шпалами на пять-шесть сантиметров. А потом идем мы с восьмикилограммовыми пневматическими вибраторами с плоским языком на конце и вручную уплотняем — подбиваем балласт под каждую рельсу со всех четырех сторон стыка рельсы со шпалой.

Если живописать нас Репиным, то выглядит так: восемь парней с отбойными молотками сгрудились над шпалой, как бурлаки, привязанные шлангами к тележке с компрессором. Утрамбовали — и по команде синхронно переползаем на следующую шпалу, бригадир подгоняет: «Быстрее, быстрее», — тележка с компрессором подтягивается по рельсам сзади.

Действие происходит под палящим солнцем, тридцатипятиградусная жара в тени, а тень только на перекуре и только от столбов. Вибратор отбивает руки, пыль, грохот, руки сводит. Отдых — по команде, столбы стоят редко и достаются не каждому. Воду привозят в цистерне. После того как становится известно, что Гурьев тоже закрыт, воду хлорируют еще круче, чем раньше: открываешь кран — вода не течет, пока

ломиком не пробьешь хлорную пробку. Выбьешь пробку — вода потекла. Набираешь ее в кружку или фляжку, но в рот взять невозможно, кажется, что это чистая хлорка, можно только заливать прямо в горло, «не жуя». С тех пор я умею лихо пить водку.

Когда подъёмка пути закончена, наступает этап рихтовки. Собирают несколько бригад, часть народа становится к одному рельсу, часть — к другому. У каждого в руках лом, мастер встает в отдалении, метров за тридцать, чтобы видеть кривизну, опускается на одно колено, прицеливается, указывает, в каком направлении будем двигать рельсы, каждый из нас подсовывает свой ломик под рельс, и мастер запевает:

Чайник новый!
Чай горячий!
Девки любят!
...стоячий!

Он поет свою частушку истово, снова и снова, а мы на каждый ударный слог тащим железную палку на себя, рельс со шпалами чуть-чуть перемещается поперек насыпи в нужном направлении, пока путь таким образом не выпрямляется. Замолкает — у нас перекур, или мы переходим на следующий участок или, бывает, двигаем рельсы в обратном направлении, выравниваем.

После рихтовки по трассе идет еще одна бригада из двух человек с путевыми молотками и подбивает костыли, ослабленные после подъёмки. Костыли фиксируют положение рельса на шпале. У молотка длинная ручка, удлинённая головка и небольшой боек; им, как клювом, следует точно попасть по шляпке костыля. Для этого нужна особая сноровка, эти двое — элита нашей бригады, и я с завистью смотрю на ребят, обладающих прицельным ударом. Хотя молотком по гвоздю я умею бить, но сомневаюсь, что смогу попасть по шляпке костыля, размахнувшись плеча.

Работа на шпалоподбойке — самая тяжелая, с которой я когда-либо сталкивался, и здесь я не хуже других. Я доволен, что узнал про себя такое.

Любите меня скорей

По дороге обычно мы спим, спать хочется всегда, а если не спим, то поем, певцов — хоть отбавляй. Главное, что, кроме нас с Вовой, в отряде есть Влад, парень с нашего курса из крутой, но нестабильной хард-рок-руппы «Наследники». Мы с ним знакомы, но шапочно. Я подпеваю Владу, а по ходу дрезины выясняется, что его «Наследники» весной распались и теперь он самурай-одиночка и ни в какой группе не состоит.

Влад потрясает меня музыкальными талантами: он поет и нормальным, и хриплым голосом, и даже высоким чистым фальцетом и не только рок или блатняк, но и старую эстраду, и даже джаз. Всю дорогу он изображает Эллу Фитцджеральд в гершвинской «O, lady be good».

Он исполняет это упомопрачительно смешно и эротично, я такое спеть, наверно, не смог бы, и ритмически эта вещь так не похожа на рок, который мы поем, а музыкально-то как сложно! Джаз меня мало интересует, но как раз эта вещь хорошо знакома с детства, брат часто слушал разные записи «на ребрах» Луи Армстронга и Эллы Фитцджеральд. В исполнении Влада это звучит очень зажигательно.

Второй голос Влад держит не хуже меня, виртуозно играет на гитаре, а еще он владеет кларнетом, саксофоном и губной гармошкой в придачу.

На нашем с Вовой холерическом фоне (мы-то с ним жизнерадостные идиоты) флегматик Влад — такой крутой хипарь, уже глубоко женатый, истощенный и отрешенный,

с висящими по моде усами, что я долго не решаюсь открыться, что хочу позвать его в «Муравьи». Строго говоря, у меня нет права единолично приглашать кого-то в группу, но и упускать шанс — глупо. Очевидно же, что участие такого музыканта может вывести нас на другой уровень.

Вова меня поддерживает, и я делаю Владу предложение. Ко всеобщему счастью, оказывается, что «Муравьи» ему нравятся, он быстро соглашается, и я впадаю в эйфорию от наших музыкальных перспектив и моего удачного кадрового решения. Любите меня скорей!

К Исаакию, к пиву, к жизни

Перед отъездом на радостях мы качаем начальство, и у завхоза из кармана сыплется сахар, которого мы практически не видели. Вове в общей суматохе достаются два куска, и это для него большая удача. Он всегда голодный, а я всегда стараюсь похудеть, на стройках мы с ним обычно заключаем контракт: я отдаю ему половину порции чего бы то ни было: мяса, рыбы, гречи, перловки, — а он обязан это съесть. При такой работе Вове трудно поправиться, а вот мне удастся сбросить за месяц восемь килограммов. Но эти два куска сахара он поминает отрядному начальству долго. А еще он открывает мне глаза на то, что руководство по-тихому гонит самогон: доктор шприцем вводит в арбузы смесь спирта с дрожжами, а когда брага перебродит, они с приближенными сепаратно квасят.

Выезжаем мы из места дислокации в опломбированном вагоне. Гурьев закрыт на карантин, Астрахань тоже закрыта, а мы едем из чистой зоны через зону заражения, поэтому двери опечатаны снаружи. Состав на промежуточных станциях останавливается, но на платформах дежурят десантники с пистолетами Макарова в кобурах. Перед остановкой на промежуточной станции бригадир поезда по громкой связи объявляет:

— Проводники, кто откроет вагон, тому лично клизму вставляю.

Мечта поесть арбузов все же осуществляется, хотя в искаженном виде, как это бывает во сне. Перед посадкой завхозу удастся затариться машиной арбузов, и мы перекидываем их из грузовика в наш вагон. Арбузы лежат везде, ступить негде, они навалены в два слоя и в купе, и в коридоре, чтобы пройти, на каждом шагу приходится пинать их ногами либо карабкаться по стенкам. Радует нас недолго. Первое же вскрытие показывает, что арбузы едва розовые и малосъедобны, но комсомольцы все доводят до конца, и мы мучаемся, но упорно их едим.

«От холеры к Исаакию, к пиву, к жизни!» — такой огромной надписью мелом украшают вагон художественные натуры из нашего отряда. Это стоит нам нескольких лишних часов стоянки на узловой станции Рузаевка в Мордовии: вагон грозят отцепить и поставить на трехнедельную обсервацию. В итоге удается договориться с санитарным контролем и обойтись малой жертвой: надпись с вагона стирают и поезд выпускают на линию.

Домой в Ленинград мы с Вовой везем трофеи: зарплату за отработанное время по триста восемьдесят рублей, это почти восемь стипендий, и нового яркого «Зеленого муравья». А мой личный трофей — железнодорожный костыль в подарок родителям за то, что я им не писал весь месяц, поскольку письма оттуда все равно не доходили.

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС, 1970—1971

Плавное перетекание

Четвертый курс протекает ламинарненько, опасные пороги уже преодолены, и те, кто встроился в учебу, без особой спешки переходят от предмета к предмету, от зачета к зачету, от сессии к сессии. Преподаватели на экзаменах по спецкурсам не зверствуют, им больше нет нужды кого-то ловить и отсеивать, состав стабилизировался, что выросло, то выросло, и задача у них теперь мирно довести учебное судно до заветной пристани. Хотя встречаются отдельные, вконец обнаглевшие личности с одной стороны и особо злорадствующие с другой.

На экзамене по гидравлике один студент списывает билет на доску прямо с конспекта, а конспект держит в руке, прикрывая его мокрой тряпкой. Но что-то он увлекся: то ли вопрос наконец-то заинтересовал его, то ли конспект слишком длинный, но только когда приходит его время отвечать и преподавательница направляется к нему, он еще не вполне готов и в панике прячет конспект вместе с тряпкой под свитер. Экзаменаторша слушает ответ, садится к столу, где лежат зачетки, и говорит:

— Сотрите с доски, пожалуйста.

И что-то в ее бесстрастном голосе звучит такое, что все присутствующие дружно поворачиваются к доске и наблюдают. Студент достает мокрую тряпку из-за пазухи и пытается стереть с доски. Работают только кисти рук, поскольку локтями он прижимает к животу конспект. Он даже слегка приседает и чуточку подпрыгивает, как пингвин, чтобы достать все надписи. Аудитория напряженно следит, затаив дыхание, но конспект все же выскальзывает и падает на пол, и все, кроме преподавательницы, ржут, а она, делая вид, что ничего не замечает, с чувством глубокого удовлетворения ставит и ему в зачетку «удовлетворительно».

Газодинамика рассчитывает подъемную силу крыла и реактивную тягу двигателя. Она описывает процессы, похожие на гидродинамические, но в другой среде, и формулы здесь тоже по большей части эмпирические. Изучаем мы течение газа в сопле. Но не в той сопле, что сопля, а в том сопле, что сопло, сопло Лаваля. А сопло Лаваля — это газовый канал со специальным профилем, который сначала сужается, чтобы разогнать поток до сверхзвуковой скорости, а потом расширяется, создавая мощную реактивную тягу, и мы рассчитываем эту тягу методом конечных элементов по Рунге-Кутты и Адамсу-Штернеру.

Кажется, эти фамилии придуманы специально, чтобы лучше запомнить про реактивную тягу. Звучит почти как Голенищев-Кутузов, Сухово-Кобылин или Ляпис-Трубецкой.

Из обширного курса по эксплуатации ракет мое воображение задевает сообщение, что емкости нельзя испытывать воздухом: небольшой газовый баллончик способен разнести не только корпус ракеты, но и весь испытательный корпус. Надо использовать жидкость, она практически не расширяется, и если бак не герметичен, то он просто потечет. А в разделе по технике безопасности в память врезается, что по строительным нормам и правилам в лестничном пролете не должно быть больше восемнадцати ступенек, и теперь я с азартом пересчитываю ступени каждой лестницы, по которой поднимаюсь.

Второе рождение

С тех пор как появился Влад, ансамбль переживает второе рождение. Влад не только приводит с собой новых поклонников, но и приносит новые песни.

Теперь мы открываем вечер рокешником «Shakin' All Over» британской мерсибит-группы «The Swinging Blue Jeans». Мы поем на псевдоанглийском, копируя, насколько слышим, слова оригинала, смысл примерно такой:

Когда ты приближаешься ко мне,
Меня колотит по всему телу:
Дрожь в коленках, трепет в бедрах,

Мурашки по спине,
Шейк-шейк-шейк.

Мерсибит — это группы из Ливерпуля, города на реке Mersey, а есть еще и брамбит — а это обозначение для групп из Бирмингема, и Влад разучивает с нами «I'm a Man» из репертуара группы «Spencer Davis»: тут никакой слащавости, сплошная мужиковатость, типа, мне некогда разводить антимонии, люби меня таким, как я есть, и Влад голосом изображает из себя мачо.

Как старожилам нам удастся получать для репетиций в актовом зале гораздо больше времени, чем раньше, и мы разучиваем новый репертуар. Из «Shocking Blue» берем знаменитую «Venus», которую народ называет «Шизгара». Это уже нидерландский бит «nederbit». Песня только-только набирает обороты и на глазах становится одной из самых любимых и заводных.

Мы копируем британскую блюз-рок-группу «Ten Years after», которая только что выпустила тяжелую композицию «Love Like a Man», и в ней на протяжении почти восьми минут есть место не только показать брутальный голос, но и развернуть гитарные проигрыши. Влад знает, что и кому там надо играть, и показывает каждому из нас его партию. Он сам и поет, поэтому та абракадабра, что он произносит, тоже на его ответственности, хотя звучит очень похоже на английский, а содержание и так ясно по названию — люби по-мужски, значит, песня о любви.

Из «Deep Purple» мы играем быструю ритмичную и многоголосую «Hash», которая начинается загадочно: трижды через паузы страшное, как в немецких сказках, лесное эхо, потом два удара-аккорда гитар и ударных, два такта мощного хода на лид-гитаре, и — пошел ритм, а под него, похоже, любовная песенка суровыми мужскими голосами и хором, что-то вроде:

Хашш! Хашш! Она разбила мне сердце, но я все равно люблю ее.
Тсс! Тсс! Думал, что слышу, как она зовет меня сейчас.

Ну и конечно, «A Whiter Shade of Pale» группы «Procol Harum». Классическое, вернее, слегка барочное органное начало, чистый голос солиста — Влад поет с виду бесстрастно, но с внутренним напряжением.

Какие-то фанаты приносят новую музыку, новые стили, называют новые имена, одно другого экзотичнее: лондонская группа «Atomic Rooster» («Атомный петух»), «Grateful Dead» (что-то типа «Благодарный мертвец»), и одно из этих имен, «Jethro Tull», меня цепляет тем, что сольный инструмент у них — моя любимая флейта.

Младший приятель-ударник Володя Калинин проводит нас на вечер в соседнем Технологическом институте, там играют его друзья, и в композиции из «Jethro Tull» на флейте замечательно солирует Ласло, студент из Венгрии. Я жалею, что нам такое не сделать: Влад и кларнетист, и саксофонист, но флейты у нас нет.

С Владом и наше многоголосие становится еще на один голос богаче. Они с Сашей удачно дополняют друг друга по исполнительской манере, по музыкальным стилям и по репертуару.

ОМСК, ЛЕТО 1971

Танцы с вениками

После четвертого курса студентам нашего вуза полагается технологическая практика, и традиционно ее проходят на одном из заводов. Всем хочется поехать куда-нибудь подальше, чтобы страну посмотреть, и Надин дядя, доктор технических наук, договаривается, чтобы нашу группу отправили в Омск.

Дорога до Омска занимает двое суток.

В первый рабочий день являемся в бюро пропусков, сдаем паспорта и ждем. Оформить двадцать один пропуск — дело не быстрое. Болтаемся по вестибюлю, разглядываем объявления: требуются токари-расточники, шлифовщики, электромонтеры, фрезеровщики. Инженеры не требуются. Чем будем заниматься — поди пойми.

Наконец из окошечка голос:

— Студенты, готово!

Разбираем документы, на Влада пропуска нет и паспорта нет.

— А где мой?

— Обращайся к своему преподавателю.

Влад в испарине, бегаёт ищет нашего доцента — руководителя практики, потом они вместе исчезают, а мы с сопровождающим идем на завод. Приводят в техбюро, распределяют по группам, что-то рассказывают. Неясно, покажут ли ракеты, может быть, если хорошо будем себя вести. Дают копии непонятных чертежей на синьках с аппарата «Эра», будем писать какие-то техпроцессы. Дома, чтобы в техбюро работать не мешали.

Через час выходим, на проходной нас поджидает бледный Влад.

— Трындец, ребята. Еду обратно ближайшим поездом, послезавтра. Я ж фамилию жены взял, паспорт уже новый, а допуск — на старую.

— А говорил, что со старой фамилией не везет, вот теперь повезло, аж до Питера за бесплатно!

О ракетных технологиях, в которых мы должны практиковаться, у меня остаются смутные представления. Главное впечатление, что цеха очень чистые, не могу сравнить ни с чем, что я когда-либо видел. И хотя в сердце завода — сборочный цех — нас не пускают, там секретность выше нашего допуска, возникает ощущение чего-то важного, до чего мы еще не доросли. Зато нас пускают в цех, где сваривают обечайки, из которых потом собирают «Союзы». Все рабочие в белых халатах и в нашем цеху, и там, где собирают санки из обрезков того же алюминия. Или наоборот, обечайки из обрезков санок. Обечайки огромные, метра три в диаметре, а сварочный портал такой грандиозный, что рабочий сидит наверху в кабинке агрегата. Ездит вдоль обечайки по рельсам и варит. Не абы какой сваркой, а аргоно-дуговой. А сколько санок можно сварить и продать из одной бракованной обечайки!

По утрам мы ненадолго, на час-полтора, ходим на завод, стараясь не мешать строительству космических кораблей, в остальное время делать особо нечего.

Главное место развлечения — городской пляж на Иртыше. Чуть ниже по течению в него впадает Омка, после нее вода в Иртыше становится темно-коричневой, и местное радио прославляет это величавой песней:

Хороша Нева, и Москва-река,
Волга-матушка хороша,

Многим нравится Обь-красавица,
Только лучше нет Иртыша-а-а!

Немного освоившись, мы начинаем искать возможность репетировать. Ударник с басистом добираются до профкома, выпрашивают ударную установку из клуба и договариваются, что нам откроют летнюю заводскую танцплощадку. За это нас обязывают два раза в неделю играть на танцах, и клуб развешивает по микрорайону афиши.

И вот первый вечер. Аппаратура слабенькая, удлинителей не хватает, но все в конце концов как-то устраивается, местные мальчики помогают. Мы волнуемся, как получится — на открытом воздухе опыта выступлений нет. Народ подтягивается к площадке.

Вова усаживается за барабаны.

— Гляди-ка, девушка с веником, — говорит он басисту.

— А вот еще одна, — Слава добавляет себе звука на басу. — Березовый, в баню собрались, что ли.

— Да они все с вениками. Что бы это значило? — удивляется Саша.

— Мода такая. Потом в баню. Или после бани на танцы.

Я смотрю, и правда с вениками все поголовно — и девушки, и парни.

Объясняется все позже. Когда темнеет и зажигают прожектора, в атаку бросаются сибирские комары размером со стратегический бомбардировщик. Они пикируют на танцующих, те отмахиваются вениками, будто в парной, а нам на сцене приходится несладко. Поет себе лирический тенор куртуазную песню, а тут ему комар садится на нос. Это ж какую выдержку надо иметь! Барабанщик кое-как отбивается, и мне одну руку всегда можно высвободить. Я со своей органомой сажу в глубине сцены, во время гитарного проигрыша ко мне по очереди подбегают гитаристы, и свободной правой я бью их по мордасам.

На бис идут душещипательные песни. Вот, скажем, приходит записка: «Сыграйте, пожалуйста, „Стоп-стоп, Юзик“, это песня из репертуара дружественных «Аргонатов»:

Стоп-стоп, мюзик, танцует девушка с другим,
Стоп-стоп, мюзик, остановите этот ритм!

Сибирской публике, в том числе и детям заводского начальства, ленинградские гастролеры нравятся: народу на танцах всегда тьма. И практику на удивление оценивают так высоко, что директор решает отправить всех студентов домой на заводских самолетах, с попутным грузом. Дочка директора похлопотала. Круто, это тебе не двое суток в поезде трястись.

Первый самолет и девушки потом

Мы со Стецом летим первой партией, а он до этого на самолетах не летал. Привозят, значит, нас на заводской аэродром, выгружают возле самолета в толпу заводчан с семьями. Самолет кажется нам каким-то маленьким в сравнении с толпой, идем его осматривать и обнаруживаем: ба, да хвостовое оперение сделано из парусины! Вот, думаем, несерьезно-то как. Расспрашиваем заводчан, и кто-то объясняет, что это Ли-2, советская версия американского бомбардировщика «Дуглас» военных времен. Приглашают в салон, вскарабкиваемся, и народ рассаживается со своими чемоданами по скамейкам, расположенным вдоль бортов. Грузовой вариант? Или десантный? Тут

выходит командир, пристально осматривает нас с другом и говорит, что машина перегружена, один лишний должен сойти! И всего-то полтора десятка человек, неужели вес одного недокормленного студента может существенно повлиять на перегруз? Все притихают, но никто не выходит. Командир держит паузу и с задумчивым видом скрывается в кабине. Начинаем разгоняться, вдруг в какой-то момент обороты мотора резко падают, самолет замедляет скорость и останавливается. Снова выходит командир и приказывает перенести чемоданы к кабине пилотов, самим перейти в нос и встать вплотную к кабине.

— Зачем? — подает кто-то голос.

— Зачем-зачем! Чтобы не перевернуться на взлете.

Настроение падает до критической точки. С чем и взлетаем. Тут начинает трясти, и чем дальше, тем сильнее. Самолет то резко подкидывает, то он проваливается в воздушные ямы. Ремней безопасности нет, только поручни в виде скоб на фюзеляже, вцепиться в них — единственная возможность не свалиться со скамейки. Винтокрылый наш лайнер трюхает себе в первом эшелоне, на высоте пятьсот метров — все возвышенности и провалы земной поверхности, особенно над Уральскими горами, ощущаются собственным желудком. Смотреть надо все время в иллюминатор — там красота, как на макете, только мутит, отворачиваешься — кругом зеленые лица, от адского запаха, того и гляди, самого вырвет.

Закрывать глаза нельзя — делается еще хуже. Но настоящее светопредставление начинается, когда влетаем в грозовой фронт. Кажется, что машина теряет управление и проваливается в бездну. В иллюминаторах молнии, по поверхности крыла бегают и дробятся электрические разряды, безумствует гром.

Ощущения времени нет. Вот она, полнота жизни: хуже, чем есть, невозможно себе представить. Не помню, как я очнулся, видимо, когда самолет вышел из грозы. Постепенно все как-то успокаивается. На промежуточной посадке в Казани мы приземляемся удачно. Следующая посадка в Быкове, а потом — родное Пулково.

Остальным троим: солисту, басисту и ударнику — выпадает лететь днем позже через Москву на большом транспортном Иле вместе со всей аппаратурой. В столице Саше удастся купить фирменную гитару на деньги от проданной в Омске самопальной, вырезанной из ДСП, и в придачу к гитаре добыть «квакушку», чтобы она в проигрыше завывала, как у настоящих мастеров: «Уа-уа».

Но нам надо торопиться: на июль и август мы уже зафрахтованы на Кольский полуостров.

КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, ЛЕТО 1971

Станция Апатиты

Стройотрядовский эшелон идет по маршруту Ленинград–Мурманск. Солист отлеживается: перепил накануне, мы с ритм-гитаристом тихо расположились на своих полках, валяемся, никого не трогаем, басист с ударником отправились по вагону знакомиться. Плацкартный, все открыто, все на виду, в соседнем отсеке симпатичные девочки из Ленинградского педиатрического института едут врачами стройотрядов. Хорошо слышно, как Слава и Вова заливают: мы рок-группа, такая-растакая, наш солист тяжело заболел, потерял аппетит, вместо трех порций на обед одну только может осилить. Пожалейте нас, полечите нас. Давайте дружить.

И дружба, кажется, завязывается, и ребята поют:

Поезд мчится, стучат колеса, стучат колеса тук-тук-тук.
Четверо в поезде водку глотают, бычки в томате с ножа жуют,
Эй, проводница, кончай ругаться, что мы из титана украл стакан,
Просто нам сегодня не спится, и каждый из нас немного пьян.

Ну, парни не совсем и врут: мы уже известны в городе настолько, что штаб всех ленинградских стройотрядов еще весной позвал нас на июль—август работать агитбригадой, ездить с концертами по Кольскому полуострову. В Омске мы фактически проскучали месяц, играя только на танцах, а тут рассчитываем на публичные выступления со своей программой. Пункт назначения — станция Апатиты за полярным кругом, районный центр, где селят студентов, а оттуда развозят по строительным площадкам. Наши работают на первом в СССР 90-метровом трамплине, другой отряд строит Кольскую АЭС.

Приехали. Поселились вместе со всеми студентами в готовых, но еще не сданных в эксплуатацию пятиэтажках, в отдельной квартире. Дом жужжит, как улей, квартиры пустые, одни кровати с голыми панцирными сетками, все бегают, раздобывают матрасы, подушки, постельное белье. Нам достается двухкомнатная квартира. Все кровати мы собираем в большой комнате, а маленькую обустраиваем наподобие диванной — вместо ковров раскладываем матрасы.

Отправляем гонца в штаб, и тут выясняется, что агитбригада — это туфта, обман, никаких поездок не будет, концертов не будет, зарплаты не будет, только талоны на завтрак и обед. Командир решил на музыкантах сэкономить и запродавал нас в ресторан играть каждый день без зарплаты, зато, говорит, чаевые — все ваши.

Если б знали, просто на стройку бы записались, там прилично платят, а уж играть в ресторане — последнее, о чем мечталось. Мы, будущие конструкторы космических кораблей, которые бороздят... — и играть в ресторане! Пьяный угар, блатные песни, нэпманский разгул, «Очи черные...» и всякое такое. А куда деваться? Не обратно же ехать. И деньги на аппаратуру нужны, и репертуар совсем нересторанный, надо полнотью перекраивать. Беда.

Но это, оказывается, еще полбеды.

Располагаемся поужинать и заодно обсудить, что будем играть завтра в ресторане. Вдруг в дверь барабаны. Открываем — а там санитары, из-за их спин выглядывают медички из поезда.

— Раз, два, три, четыре, пять. Кто здесь больной?

— Нету у нас больных.

Вдруг самая маленькая выбегает:

— Вот этот, худой, — и указывает на Сашу.

— Вы что, шуток не понимаете! — наперебой кричат басист с ударником.

— Какие шутки с дизентерией!

Пиф-паф! Как по команде, санитары его хватают и силой увозят в инфекционную больницу, где это — не говорят. Немая сцена. Продали! Вот же девушки какие... педиаторки! А парни им еще пели.

Делать-то что? Завтра играть, а тут обсервация двадцать один день, инфекционный барак! Полный облом! С этим и ложимся спать. Просыпаемся в унынии: без солиста нам в ресторане делать нечего. Идем завтракать за талоны: кафе самообслуживания на первом этаже типовой стекляшки. Одно название, что кафе, обычная столовка, но кормят сытно, и дружелюбные девочки разного возраста. Идем лежать дальше. День тянется к вечеру, мы — в прострации.

В пять часов внезапно материализуется солист. Подскакиваем на кроватях, ура, спасены! Вопросы потом, бросаемся в ресторан расставлять аппаратуру, подключаться — а там и наш выход.

Пока готовимся, Саша рассказывает подробности. Привезли его в больницу, там переодели его в полосатую больничную пижаму, утром взяли анализы, поместили в палату, но шкафчик, куда старшая медсестра спрятала одежду, он заприметил с вечера. После обеда с помощью гвоздика, отработанным еще в пионерлагере приемом, он вскрыл навесной контрольный замочек, переоделся в гражданское, вылез в окно и вышел вон. У встречного мужика спросил, где тут железная дорога. Тот показал направление: надо только через сопку перевалить, а там уже станция Африканда.

Местная байка про название. Едет Екатерина со свитой в карете, видит: деревня, останавливается, выходит. Солнышко светит, жарынь. Екатерина потягивается и говорит: «Прямо Африка! — тут снег повалил, и она добавляет: — Нда!»

Саша перевалил через сопку, увидел станцию, дождался поезда и зайцем, без денег, без документов, прибыл через полчаса в Апатиты.

В этот вечер мы в ударе — как будто в ресторане играли всю жизнь. Ночью Саша на поезде возвращается в больницу и тайком через окно проникает в свою палату.

На следующий день Вова едет выручать его уже на машине, и так еще два дня, пока в Апатитах Саша не нарывается на главврача районного штаба, который орет, чтобы без справки он в городе больше не появлялся. Солист возвращается в больницу, а к этому времени успели отрицательные анализы на дизентерийную палочку, его благополучно выписывают, и наш вокально-инструментальный ансамбль воссоединяется официально.

Кабацкий угар

— Ребята, сбациайте «Алешкину любовь»! — В первый же вечер в ресторане подвывает стриженный под ноль коротышка.

Мы играем:

Как же быть, как быть, запретить себе тебя любить...

Он тронут, подходит снова:

— Да я за вас пол-Апатит вырублю! Меня здесь любой знает. Я Юра Кудрявый, запомните — пригодится.

Что он имеет в виду, мы видим вечером, когда спускаемся из ресторана со второго этажа по служебной лестнице. Мимо кафетерия и кулинарии выходим на улицу и оказываемся перед котлованом. На краю несколько парней махаются. Молча, как тени. Один из них, коротышка, разбегается и ударом головы в челюсть сбивает с ног другого, на голову выше. Тот скатывается в яму. В коротышке мы узнаем Кудрявого. Он машет нам рукой издалека, напоминая о своих намерениях вырубить за нас пол-Апатитов, если что. Мы уже уяснили, что тут везде апатиты. Станция Апатиты, город, ресторан, руда — все апатиты, только на кабак Юра явно зарабатывает чем-то другим.

Ресторан открывается в пять вечера, мы начинаем в семь, но выторговали право до трех репетировать. Репертуар наш совсем нересторанный. Подстраиваемся, как можем: медленные чередуем с рокешниками, включаем советскую эстраду. Кабацкие номера типа «На Дерибасовской» подбираем по ходу пьесы. Меня с органомой «Юность» и свободной правой рукой теперь высаживают вперед, на авансцену нашей невысокой эстрады, и за заказами идут ко мне.

— Сыграйте «Эти глаза напротив», — клиент протягивает три рубля, а то и пять.

В первые дни я так краснел, что один мужик схватил мою руку, вложил в ладонь купюру и сжал мои пальцы: «Бери-бери, не стесняйся, у нас так принято!»

К двадцать первому дню я уже беру деньги лихо: левой рукой жму на клавиши, а купюры принимаю правой. Когда подходит сильно поддатый барыга, хлопает ладонью по органолу и требует: «Мужики! На रुपь барыни!», Слава из-за моей спины говорит громко:

— Мужик, на रुपь мы только люлей даем!

На некоторые просьбы мы все же откликаемся бесплатно. Приходит записка на салфетке: «Ребята, сыграйте „Клен ты мой опавший“».

Сочинитель записки — уважаемый человек и завсегдатай ресторана, заведующий отделением местной больницы. Официантки тепло отзываются о нем как о большом друге, авторе лирических стихов и частушек.

Мы и впрямь зеленые, а многим хотелось бы поучить нас жизни. За гитаристами начинается настоящая охота.

Вот девица манит пальцем басиста, тот подходит к краю, и она говорит:

— Девушка за вторым столиком справа, — машет в глубь зала, — хочет познакомиться с красной гитарой.

Ритм-гитарист тушует и, когда мы заканчиваем играть, пытается уйти через черный ход. Фиг вам. Девушка ловит его там и уводит в ночь. Возвращается он неизвестно в какое время и сразу в душ. Голые стены, вода шумит, все просыпаются. Стец крадется к своей кровати, но его вспугивают:

— Ну, рассказывай, что было! Колись, как ты там, и вообще, — галдят все разом.

Парень вяло отбивается. Вопросы нагоняют на него страху, и он выкрикивает:

— Но трусы я с себя не дал снять!

С этим все успокаиваются и засыпают. Утром он исчезает и появляется только через три часа: ходил в больницу, к венерологу, его не приняли — без паспорта нельзя, а паспорта сданы в районный штаб.

Через день у черного хода другая девушка залавливает Вову — высокого блондина с обаятельной улыбкой. А у нашего друга синдром Иосифа Прекрасного: секс только по любви и только после брака. Девушка настаивает проводить ее до дома.

Все кончается диетически, вскоре он возвращается и передает диалог, который состоялся по дороге:

— Как ты похож на моего мужа! И фигура, и волосы, и лицо.

— Так ты замужем?

— Да.

— И куда мы идем?

— А муж в командировке, на соревнованиях!

— Так он спортсмен?

— Да, боксер.

Они уже подходят к дому: город совсем небольшой. Провожаящий решительно прощается и, уходя, слышит за собой:

— И походка такая же!

Триумф в Мурманске

В конце концов мы выпутываемся из ресторанного морока. Наш тенор, который не может без сцены, договаривается с Дворцом культуры «Строитель» в Апатитах,

и теперь мы играем на танцах. Тоже не бог весть что: танцы — вот и вся культура для народа, даром что дворец, зато мы заняты всего три вечера в неделю. А для себя готовим новую концертную программу, которую тут же обкатываем на танцах, а если получается не очень убедительно, то исправляем ситуацию «Шизгарой», которая всегда идет на ура.

Нас зовут с концертом в Кировск, в восемнадцати километрах от Апатитов. Двух-трехэтажные бараки довоенной постройки наводят уныние, а несуразно огромный Дворец культуры «Апатит» сталинской архитектуры в центре города напоминает разбухший колхозный клуб. Но сцена в порядке, зал большой, и выступление наше нравится не только публике, но и начальству, так что после концерта нас везут на экскурсию на плато Расвумчорр, чтобы показать рудоспуск.

Дорога петляет все выше и выше в гору, и низенькие бараки, разбросанные по отрогам гор, превращаются в живописные картинки, напоминающие полотна Брейгеля. Мы поднимаемся по серпантину выше облаков, к вершине вавилонской горы, а там огромные самосвалы непрерывной цепочкой подъезжают к inferнальной дыре в земле и сбрасывают в нее породу. По гигантской трубе порода падает вниз, к основанию горы, туда, в огромную пещеру, где породу грузят в вагонетки, заходит узкоколейка, по ней руду вывозят наружу и отправляют дальше на комбинат, на переработку.

Наверху, на самом плато, погода уже другая: сумрачная белая ночь, ужасающий холод — всего восемь солнечных дней в году. Недолго стоим, потираем руки, прыгаем, чтобы согреться, и едем обратно. Спускаемся под облака, и снова открывается живописная картинка: отроги гор, долина внизу, домики, копошащиеся людишки.

Пик нашей популярности здесь — запись получасовой программы на радио.

И вот наконец Мурманск, областной слет стройотрядов, на большой концерт студенческой самодеятельности собралось со всего Кольского полуострова две тысячи студентов. Нам дают целиком все второе отделение, мы играем все свои лучшие вещи, нас не хотят отпускать со сцены, и мы играем на бис. Грандиозный успех!

Домой в Ленинград мы едем, чувствуя себя знаменитыми, но вслух об этом не говорим. Заснуть не получается: стоит закрыть глаза, как сквозь ослепительный свет софитов проступает огромный зал, который то взрывается аплодисментами, ревом и свистом толпы, то замирает, когда я поднимаю руку со смычком, чтобы представить товарищей или объявить номер.

В РОЗОВОМ ЗАЛЕ И ОКОЛО, 1971—1972

Лида. Встреча на колодце

Я держу курс по коридору второго этажа и, не доходя до ректорского кабинета, сворачиваю в сторону Розового зала по левой галерее парадной лестницы. В обычные дни по ней подниматься нельзя — нечего зря топтать ступени, пусть бегают по коридорам и кабинетам через боковые лестницы. Парадная лестница на первом этаже перекрыта витыми шнурами, а здесь, на втором, ее обрамляют две шикарные галереи с колоннами и балюстрадой. Правая галерея — магистраль, по ней перемещаются из учебных корпусов в административно-культурную часть, а левая — тихая, там под окнами с широкими подоконниками, почти напротив кабинета ректора, уютный уголок — знаменитое в институте место «на колодце». Народ слетается сюда, чтобы покурить. Пока не разгонят.

Сквозь сигаретный дым до меня долетает почти забытый, но такой характерный женский голос с легкой хрипотцой:

- Вадим, ну подожди минутку, дай перевести дух.
Неужели... Только бы не упустить!
- Лида, это ты?!
- А-а-а, вот и Лёшик! Похудел, что ли? Не узнать.
- А ты какая... стильная!
- Загордился, не показываешься.
- Я загордился? Это ты провалилась как сквозь землю.
- Позвонил бы, что ли.
- Ты ж ни телефона, ни адреса не оставила! И не писала!
- Лида, скорее, нас ждут! — По правой галерее, на противоположной стороне колодца, слоняется знакомый парень из эстрадного театра.
- Ну подожди, Вадим, я же сказала, иду.
- Лида небрежно кивает мне:
- А ты мне ответил?
- Куда отвечать-то? Там обратного адреса не было. Я все лето прождал, хоть бы прислала.
- Хотел бы — нашел. Я же нашла твой стройотрядовский адрес. Пока, еще увидимся, я загляну.
- Точно?
- Теперь не разминемся.
- В ее голосе звучит обида, но разве это я виноват? Лида исчезает, а я бегу в зал, меня тоже ждут, сердце колотится: придет — не придет? Ну как так получается: всего лишь голос и один взгляд — и ты вдруг сходишь с ума! Два года прошло, а все то же самое.
- Сегодня в Розовом зале танцы. Сейчас начнем таскать аппаратуру, а народу по коридорам уже болтается тьма. За это время все изменилось. Когда мы играем, сюда полгорода ломится. На День первокурсника даже входную дубовую дверь вынесли, толпа трамвайные пути перегородила так, что транспорт встал. <...>
- Но мы-то в этом море отдельных людей не видим! Лида. Как же ее найти? Сама подойдет? Нет, так и не подошла.
- С Лидой мы встречаемся только через две недели. Концерт ко Дню артиллерии — это профессиональный праздник — и День института. 19 ноября 1971 года выпадает на пятницу, поэтому концерт назначен на субботу, двадцатое. Второе отделение целиком наше, а первое — сборное: эстрадный театр, танцевальный коллектив, тещы и пантомима. Лида, как когда-то, ведет концерт, а когда кончается первое отделение, мы сталкиваемся с ней, и она говорит:
- А мы ведь тогда не ушли с танцев, остались.
- И ты не подошла?! Не понравилось?
- Ну... Как тебе сказать.
- Скажи честно.
- Если честно, — Лида трясет головой, будто стряхивая наваждение, и смеется, — если честно, очень понравилось. А «July Morning» — просто обалденно. Вам теперь можно позавидовать — вы на всех вечерах играете.
- Спасибо! Ты больше не обижаешься? Я же не виноват, знаешь, как я тебя искал и как переживал! Никто ничего не мог сказать. И в деканате: академка — и все, и никаких координат.
- Да ладно, проехали.
- А Влад крутой, ты верно заметила, он уже второй год с нами.
- Точно, два года прошло. Как целая жизнь. И опять лекции, концерты как ни в чем не бывало.

— И мне столько надо тебе рассказать!

— А мне надо столько забыть.

— А Влад-то замечательный, правда? И эта вещь совсем свежая. Никто еще этого не поет, даже «Аргонавты». Они уже год как выпустились из института, мы теперь первые.

— Значит, вы теперь на их месте. Понятно. Ждали, ждали и наконец дождались...

— Но ты останешься? Дождешься меня? Можно я тебя провожу? <...>

Концерт заканчивается, мы сматываем провода, перетаскиваем аппаратуру наверх, в актовый зал, в аудиторию за сценой, Лида ждет, как обещала: то маячит в коридоре, то уходит покурить. Потом мы с ней медленно бредем к метро, садимся в поезд в сторону «Петроградской», идем от станции «Горьковская» до ее Зверинской улицы.

Лида спрашивает, и я все-таки хвастаюсь, и меня несет, не могу остановиться, болтаю обо всем, чем жил два прошедших года: об Апатитах и фестивале в Мурманске; о новой фирменной аппаратуре, и ударной установке, и о моих новых клавишах; о холере, верблюдах и скорпионах и о всякой другой чепухе. Лида слушает, но немного рассеянно, может, ей кажется, что я полный идиот, может быть, она все еще обижается. Простила ли? А может быть, она думает о том же, о чем думаю я, не могла же она забыть, как мы целовались в Польском садике, а я только об этом и думаю. Но как об этом можно говорить...

— Звучание у вас отличное, — сдержанно отзывается Лида, — зажаты, конечно, над движением бы поработать, а так и смотрите хорошо, и прически модные.

И я пускаюсь рассказывать, как девчонки из Текстилки, к которым мы бегали из лагеря трудновоспитуемых, придумали и сшили нам зеленые рубашки и белые клеши, только от огромных золотых пуговиц на ширинках пришлось отказаться. Жалко, очень было бы эпатажно, но уж лучше кольцо в нос, как у быка. А с прическами как возились: у всех длинные волосы, а военная кафедра этого не любит. Наташа из салона стригла меня опасной бритвой, чтобы снять кудри с затылка, а потом заливала лаком, а сначала мыла голову, и я поплыл: к такому я не был готов, только мама мне мыла голову в детстве, а тут молодая девушка... И как сложно было туда попасть: только по записи и только по блату, через Стеца, а в парикмахерских одна канадская полька и полубокс, а таких салонов в городе всего два, на Невском и напротив «Ленфильма»...

И тут я будто натыкаюсь на стену и замолкаю.

— Лида, а как все же твой фильм? Ты снималась? Так говорили.

— О чем ты опять?

— Ты же была в академке два года. Мне сказали, что ты снимаешься.

— Это было очень давно, — чеканит Лида, — и неправда. А сейчас я просто болела.

— Извини. Главное, теперь все в порядке, да? Значит, тебе удалось восстановиться? На каком ты сейчас курсе?

— На пятом, как и ты. С пятого ушла, на пятый и вернулась, — она уже сердится, — я хорошо учусь. Не имею привычки заводить хвосты. Ну все, пока, тут уже близко.

— Как пока? Телефон-то хоть дашь?

— Потом.

Еду домой и страдаю: ясно, что я затронул что-то больное. Расспросить некого. И когда она появится снова?

И снова стена

Но Лида приходит.

Заглядывает в зал в конце репетиции и тут же скрывается, но я успеваю заметить и кричу:

— Лида, подожди!

И она возвращается.

— Я вам не помешаю?

— Ну как ты помешаешь! И мы уже почти закончили.

Она входит, румяная и безумно красивая, у меня даже ломит в висках. Играть, конечно, все бросают и давай ее разглядывать. Тут же влезает Славка и начинает свой обычный заход:

— Девушка, а я вас знаю, я вас в библиотеке видел.

— Мальчики, не обращайтесь на меня внимания, иначе я уйду, и мне еще от Лёши достанется.

— Нет, Лёша такую девушку не обидит, да он никакую не обидит. А давайте вы снимете шубку и в зале посидите, а мы скоро закончим.

— Нет, я лучше схожу покурю.

— Курить вредно, а давайте вам Стец чаю из термоса нальет? Мы знаем, что у него термос с собой, он хозяйственный, — плетет свои кружева Славка.

— А хотите вина? У меня с собой. Думала, сегодня наши репетируют, перепутала все, — Лида достает бутылку, и она уже неполная. Все делают по глотку, а Саша вытаскивает из кармана две конфетки и протягивает ей.

— А по какому случаю? — спрашивает Слава. — Может, у вас день рождения?

— Может, — отвечает она и конфетку у Саши берет.

— Лёха, что же ты скрыл от нас? Мы бы подарок приготовили.

— Да я и сам не знал.

Лида встает и раскидывает руки, как в танце.

— Ну почему, почему никто меня не любит? Пусть все меня любят! — декламирует она, и это выглядит театральным вызовом.

Рядом сцена, и Лида что-то изображает. Эх, будь у меня побольше куража, встать бы и подхватить эту сцену, как-то подыграть в ее манере, но я только смущаюсь, и даже перед ребятами чуточку стыдно.

— Лида, ты о чем?!

— Ах, ничего-то вы не знаете. Это такая известная цитата, — отвечает она, надевая шубку.

— Парни, я тоже пойду, ладно?

— Иди-иди, отпускаем.

Мы выходим на улицу, я хочу взять Лиду под руку, но она вдруг отстраняется. За проходной ее ждет компания, они уже все веселые, и Лида снова выдает что-то в прежнем тоне, а они подхватывают и дружно смеются.

Меня Лида ни с кем не знакомит и с собой не зовет. И потом я долго перебарываю догадку, что она специально поднималась ко мне с бутылкой. Может быть, хотела взять с собой, но в последний момент передумала. Вот только что была близкая и манящая, и вдруг снова стена.

Ария Иуды

И еще несколько мучительных встреч, когда она меня заводит и тут же бросает, отстраняется, исчезает и оставляет в полном смятении.

В конце года перед зачетной неделей я зову, и она приходит на вечер в общежитии геофака в студгородке на Новоизмайловском проспекте. Эти десятиэтажные корпуса из стекла и бетона занимают половину Парка авиаторов, разбитого на месте первого

русского аэродрома. От троллейбуса пробиваешься по пустырю против дикого ветра, как малоуправляемая конструкция Сикорского. Клубное здание еще недостроено, поэтому каждый из корпусов живет своей жизнью. Там, куда нас пригласили, тепло и оживленно, танцуют в не очень просторном помещении на втором этаже.

Вечер длинный, нас отлично принимают, и в первом отделении мы играем всю новую крутую программу, которую сделали с Владом за последний год.

В перерыве перекидываемся парой слов с Лидой, она здесь с другой компанией, кажется очень оживленной и говорит мне кучу хороших слов.

Во втором отделении мы играем в основном старое, господствует Сашин тенор. Нашу обкатанную программу Влад оживляет своей гитарой, а иногда и кларнетом или губной гармошкой, с ним наше козырное многоголосие становится более сложным и многоголосым.

Ударно заканчиваем арией Иуды из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Магнитофонная запись с пластинки попала к нам еще в прошлом году, до Омска и Апатитов, и мы не могли оторваться, раз за разом слушая ее, снимая слова, подбирая нестандартные аккорды и сложные ритмы. Взялись сделать арию Иуды, которая начинается словами «My mind is clearer now». Ритм-гитаристу надо воспроизвести сложный синкопированный ритм начала, который задает весь нерв арии. Стец немало помучился, но получилось один в один. <...>

Влад исполняет эту арию, точно следуя интонации солиста с магнитной записи. Иуда, как друг и ближайший соратник Христа, в сердцах кричит, что он не согласен с тем, что происходит:

Ты вознесся выше, чем идеи, о которых ты говорил,
Мне не нравится то, что я вижу, выслушай меня.
Я все эти годы был твоей правой рукой,
Но ты завел их всех,
Они теперь думают, что нашли нового Мессию.
А я помню: когда все это начиналось,
Не было и речи о боге, мы называли тебя человеком.

Перед ним ужасный выбор между человеком и делом, которое олицетворяет этот человек...

У меня тоже непростая партия на клавишах, на семь четвертей, и мне не до зала, но все же боковым зрением я успеваю заметить, что на Лиду наше исполнение производит сильное впечатление, она явно растрожена. Чем же? Нашим исполнением? Не понимаю. Мы заканчиваем, я спускаюсь со сцены.

— Ты расстроена. Что-то случилось?

— Почему он так истошно вопит, я до конца не разобралась.

— Ты не слышала раньше? Он же чувствует, что готов решиться на что-то страшное. В музыке много больше, чем в словах, весь ужас-то впереди, но он верит, что прав.

— И что? Он прав?

— Не знаю, это очень сложно, в канонических текстах Иуда — предатель, а Иисус — бог.

— Но по арии выходит, что Иуда против чего-то вроде культа личности?

— Я-то в бога не верю. Ну да, религия — это же культ, так и говорится, «культ»!

Конечно, религия учит подчинению культовому персонажу, она для того и создана, собственно говоря, чтобы поддерживать в обществе подчинение власти.

— Ну перестань, я серьезно, на чьей стороне правда?

— Не знаю, с одной стороны, ты права, культ личности, с другой — это же как предать родителей. Да... Не хотел бы попасть в такую ситуацию.

— А я попала, — с независимым видом Лида встряхивает головой, сдувает челку со лба. — Ну и дура же ты, Теткина!

Опять она что-то изображает?

— Нет, конечно! — и раздраженно: — А вот это как раз из моего. Вернее, он мог бы стать моим, должен был стать моим, но не стал. И мне давно пора закончить с этим, — почти кричит она.

Больше она ничего не говорит, и понятнее не становится.

— Мы в Новый год играем. Придешь?

На Новый год Лида не приходит.

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ, 1972

Полет на Марс

Электронно-вычислительная машина «Урал-2» стояла в вычислительном центре и занимала целую комнату, нам ее показывали, но она была не про нас, студентов. Свои курсовые мы считали на железном «Феликсе» — арифмометре «Феликс-М». Конструкция была очень похожа на миниатюрный кассовый аппарат с ручкой, но только вместо клавиш с цифрами у «Феликса» были рычажки. Умножить на два — крутишь ручку от себя дважды, умножить на семь — крутишь семь раз, и так по каждому разряду числа. Надо делить — крутишь на себя. Работа трудоемкая и не такая увлекательная, как дергать за струны, но все же вычисления идут значительно быстрее, чем на счетах с костяшками, и точнее, чем на логарифмической линейке.

Курсовой проект на пятом курсе предполагал, что у нас сформировался технический кругозор, а потому мы, как говорится, глубоко овладев комплексом инженерных знаний, взялись проектировать посадочный марсианский модуль. Однотупник и фанат жидкотопливных ракет назначил себя главным конструктором и к себе в бригаду пригласил нас со Стецом. <...>

Отец упоминал, что они работают над марсоходом, по габаритам он меньше обувной коробки, и что его габариты ограничены мощностью наших ракет-носителей. А мы мелочиться не собирались, наш аппарат предполагал посадку на планету комфортабельной капсулы для двух космонавтов.

Об атмосфере Марса в печати почти ничего не было, еще никто ничего не знал, по крайней мере, отцовские данные были засекречены, и мне добыть их не удалось, так что нашему главному конструктору пришлось взять на себя ответственность проинтуировать плотность атмосферы красной планеты, сопоставляя размеры Марса и Земли и их расстояния от Солнца. Стец должен был рассчитать температурные поля, а мне выпало определить траекторию посадки. Известно было, что американские ракеты позволяют приземляться бомбочкой, но я проявил высочайший патриотизм по отношению к нашим менее мощным ракетам и выбрал схему с аэродинамическим качеством, когда аппарат планирует в атмосфере по направлению вращения планеты. По мнению нашего главного, с расчетами я справился хорошо.

Поскольку рисовать можно было самое простое, я выбрал спальные места для космонавтов — они же должны провести на Марсе несколько суток. Проработал все известные мне виды коек и выбрал, на мой взгляд, оптимальную схему: две полки одна над другой.

— Купе спального вагона вы нарисовали отлично, — сказал преподаватель, — а как вы будете взлетать и примарсианиваться с перегрузкой 5g? Слышали про позу эмбриона, молодой человек? Так знайте же, взлетать и садиться лучше сидя, а спать — уж как придется. Вам еще, может быть, пригодится.

Диагноз, вынесенный когда-то преподавателем по машиностроительному черчению, что конструктора из меня не получится, подтвердился, но в целом проект удался, и каждый из нас троих получил по «пятерке».

Жанна д'Арк

Синий-синий плоский фон, зеленые стрелчатые листья, тяжелые головки бутонов оттягивают вниз мясистые стебли, пригибая их к покрытому светлой скатертью круглому столу. Свет падает слева, и листья, и бутоны, и скатерть, сделанные крупными мазками, кажутся почти плоскими. Тени от листьев протяженные, неяркие, но обводка теней, своевольно повторяющая рисунок листьев, — неожиданно смелая и контрастная, она-то и решает пространство картины и создает тот причудливый узор, который притягивает взгляд. Мы надолго прилипаем к витрине, хочется понять, как сделано это чудо.

— Давай я куплю тебе...

— Картину? — смеется Лида.

— Цветы!

— Нет, давай ты купишь эскимо, мы будем есть и представлять себе, что это тюльпаны.

Понедельник, будний день, а на Невском, как всегда, не протолкнуться. Тетка добывает из своей тележки два эскимо, и мы идем дальше, в сторону Адмиралтейства. Лиде тоже нравится «Сто лет одиночества». Вокруг апрель, весна, и ничего еще не потеряно.

Накануне Дня космонавтики нас зовут в комитет комсомола. Обком для поездки по стране организует агитбригаду, которая будет выступать в местах, где работают студенческие стройотряды. Отправление в начале июля, возвращение в конце августа. К пассажирским поездкам будут прицеплять специальный вагон и оставлять на ключевых станциях на день выступлений. В поездку обещают собрать молодых артистов, в основном студенческую самодеятельность.

Я сразу прикидываю, что можно позвать ребят из Эстрадного театра с несколькими номерами, а с ними Лиду, и рассказываю ей об этой идее:

— Подумай, придешь на концерт — обсудим.

Концерта ко Дню космонавтики не получается: будний день, среда — и празднование ограничивается торжественной частью и танцами. А мы только что сделали «Monkberry Moon Delight» Маккартни из его первого после распада «Битлз» диска «Ram». Текст песни темен, но вещь-то клевая и заводная.

Когда все заканчивается, еще не успев отойти от сценической горячки, я подхватываю Лиду на выходе и сразу набрасываюсь с вопросами:

— Как тебе сегодня? Ты подумала, едем?

— Нет, я не поеду. Я нашла подработку, мне деньги нужны. И родители точно будут против.

— Ну да, денег там не заработать, зато страну посмотрим.

— Еще посмотрю. Ты куда? Мне на метро.

— Ну подожди, не только страна. Пошли до Невского пройдемся, там сядешь, я тебе по пути расскажу. Представляешь, с таким репертуаром прокатиться. Признаться, здо-

рово же Маккартни у нас получился. И концерты по всей стране: Коми, Казахстан, может, и до Сибири доберемся. Такой шанс!

— Вы будете выступать, а мне что делать? С шапкой по кругу?

Мы уже подходим к Московскому проспекту, Лида сворачивает на переход к метро, и тут я брякаю в шутку:

— Зачем с шапкой, будешь билеты продавать.

— Ах так, билеты! Вот тебе билеты!

— Лида, я же пошутил, не бей!

Я уворачиваюсь от нее, мы проскакиваем этот страшный переход к метро и устремляемся к Фонтанке. Путь к Невскому открыт и представляется мне таким же длинным, как путь по стране.

— Ну смотри, во-первых, с нами поедут студенты из Театрального института, знаешь Андрея Толубеева, сына народного? Кто-то еще из Театралки, тебе будет интересно с ними.

— А им со мной?

— Ну, ты же будешь концерт вести, позови еще кого-то из вашего театра, можно пару сценок подготовить. Или свой отдельный номер.

— Ага, теперь ты мне конференс предлагаешь вести. Развлекать публику в промежутках между номерами.

— Лидочка, ты как артистка можешь рассказывать о съемках, о своем фильме — все же киноартисты разъезжают по стране. Поделишься опытом.

— Поделишься опытом? Да пошел ты, хватит с меня!

Мы уже почти подходим к Фонтанке, и тут она разворачивается и чуть ли не бегом пускается к метро.

— Ну подожди, Лида! Я опять что-то не то сболтнул? Ну прости, я ведь ничего не знаю!

— Вот именно, что ничего не знаешь, а болтаешь все время и думаешь только о себе.

— Я только и думаю, что о тебе! Ну что с тобой, ну расскажи, может, я помогу.

— Поделишься опытом! Как я по больницам да по психушкам гастролировала?

— Господи, что ты такое говоришь.

— А ты понимаешь, что почти весь фильм был уже снят, и я играла главную роль, и вдруг — бац! Прихожу на студию, а мне говорят, что мой пропуск аннулирован, и меня на съемочную площадку не пускают и никуда не пускают! И никто со мной разговаривать не хочет!

— Клянусь, я ничего не знал.

— И никто ничего не знает, я и тебе не собиралась говорить, ты меня достал просто. И попробуй только рассказать кому-то!

— Конечно, не расскажу. Но это же какая-то подлость.

— Вот именно подлость, и он даже ни разу со мной не встретился с тех пор, не говорил даже, не объяснил. Я же из-за этого чуть с ума не сошла!

— Кто он?

— Да режиссер! Я тыкаюсь в разные места, и всюду один отказ, и мне никто ничего не объясняет. А оказывается, он буквально все переснимает с другой актрисой. И вот фильм выходит, и о нем говорят, а обо мне никто ничего не знает. Но это я еще как-то пережила. А следом у него выходит еще фильм, и тоже с ней, и он уже гремит чуть ли не на весь мир, и вот это меня уже окончательно добивает. А цинизм, с которым он сцену прямо про меня вставляет в фильм, а! «Как насчет работы? — Какой работы? — Моей. — А на вас нет заявок. — Почему?! — Вот тут уж я не знаю почему. А вы к вашему ре-

жиссеру обращались? А вообще-то, он сейчас в санатории лечится». Представляешь, он у санатории, а я у психиатра!

И тут я с ужасом начинаю понимать, что второй фильм, о котором она говорила, я только что посмотрел, и эта сцена — одна из самых трагических, прямо так и стоит перед глазами. А музыка, под которую там пляшут на танцплощадке, ее почему-то цыганочкой объявляли — «Man of Mystery» группы «The Shadows», я не мог ее пропустить, мы эту тему играли еще в Бегуницах. Тоже в самом начале.

Фильм сильный, а актриса в нем просто потрясающая. Не представляю, как Лида сыграла бы в нем. Я совсем растерялся, как тут можно отреагировать.

— Почти весь фильм был снят? Ужас какой. А как ты вообще туда попала, у тебя же нет театрального образования, где он тебя нашел?

— Я в самодеятельности играла — он это тоже вставил в фильм! Вот что меня окончательно добило: взять кусок жизни, а человека выкинуть.

— Вот почему ты все время цитируешь «Все на продажу».

— Вот именно, это еще Феллини придумал. И Вайда, и этот тоже запал. Взять человека без актерской наигранности, наивную, похожий типаж, и показать открытие творческого начала. И не такая уж я бездарь, меня же снимали в главной роли, и фильм выходил на экраны, я там одна, по сути, и играю.

— Что за фильм?

— Неважно. Его никто не заметил. И Жанну Д'Арк я могла бы сыграть. Может, иначе, но сыграла бы, у меня тоже сильный характер!

Мы шагаем взад и вперед по Московскому проспекту от 1-й Красноармейской до Фонтанки мимо Института метрологии имени Менделеева и так орем, что, будь это дневная пора, могли бы отвлечь научных сотрудников от хранения эталонов метра и килограмма. Лида говорит, а я вспоминаю расклеенные по городу афиши, пытаюсь представить себе, что она должна была чувствовать, постоянно натываясь на них. Если все было так, как она говорила... А у меня нет оснований ей не верить: два года академки просто так не дают.

И все же, все же... Когда мы слегка успокаиваемся, я решаюсь сказать:

— Лида, только не обижайся, там не только сильный характер. Тот первый фильм я не видел, видел второй, и если честно, то он очень мощный. Трудно даже представить, что там могла быть другая артистка.

И она отвечает уже сдержанным тоном:

— Ну, пусть со мной у него не вышло, но по-человечески можно было объяснить-ся? А так будто на собаке Павлова — эксперимент поставил и выбросил.

Чуть медлит и добавляет:

— Он нашел свою Джульетту Мазину, я тоже найду человека, который мне нужен.

Молча мы сворачиваем на Фонтанку и идем по набережной в сторону Невского. Труднолюбивый, хлопотливый ход воды успокаивает. Я смотрю на воду, и мне кажется, что у реки есть своя цель, она не зависит от нас, от наших переживаний, такая полноводная, она поглощает всю людскую суету.

Я думаю о том, что мне жалко Лиду, но помочь ей я не в силах. Все уже произошло, и, скорее всего, ничью помощь она не примет, да и не нуждается она в помощи. Обнять бы ее, как маленькую девочку, но она держится так независимо, так отстраненно, что я никак не могу на это решиться. Волшебное притяжение, которое бросило нас друг к другу два года назад, кажется сейчас невозможным. <...>

А вот и мост Ломоносова, улица Ломоносова.

— Пошли, перейдем, посмотрим, что в Пушкинском идет. Может, сходим на прощание.

— Давай. На прощание? Значит, прощаемся? Ну, давай.

— Я инженер и очень трезвый человек. Я тебе рассказала свою историю, и теперь она в прошлом. Я все это пережила и похоронила, актерская профессия не для меня, и не хочу больше об этом вспоминать.

Она замолкает и потом добавляет:

— Сейчас будет сессия, потом диплом, и мне надо серьезно подумать, чем заниматься после окончания. А ты, конечно, поезжай с агитбригадой, потом расскажешь. Я люблю тебя слушать, и Маккартни у вас получился на пятерку.

ЛЕНИНГРАД ДЕЛАЕТ КНИКСЕН, 1972

Президент Никсон

Пятый курс катился к концу, и в весеннюю сессию, кроме обычных экзаменов, нам полагался государственный «по войне». Несколько лет военная кафедра растила из нас лейтенантов-инженеров береговых ракетно-артиллерийских войск, а выросли наоборот, инженер-лейтенанты — это переименование подоспело. И теперь то, что выросло, готовилось к госэкзаменам. Староста группы приносил на самоподготовку в специальную аудиторию секретные тетради из первого отдела с конспектами лекций и раздавал их студентам под роспись в ведомости, а в конце занятия собирал и сдавал обратно. Возможно, ничего особо секретного там и не было, хотя какие-то схемы мы изучали, а может быть, нас таким образом на будущее приучали работать с секретами. И рабочие заметки нужно было делать в таких же прошнурованных и пронумерованных тетрадях, воспетых в нашем институтском фольклоре.

Стоял май, в большие окна заглядывало солнце, солнце бурлило и в крови, а мы должны были сидеть в закрытой аудитории, даже без преподавателя, и заставлять себя изучать какие-то дурацкие устройства по каким-то дурацким тетрадкам. Кто-то, может, и думал на этих занятиях о ракетах, но большинство маялось дурью: кто играл в преферанс, кто курсовые считал, а кто и просто отсыпался.

Всеобщий интерес вызывали только два события: Постановление № 361 «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма», которое сразу обозвали постановлением № 3-62 (по новой цене поллитровки), и прибытие в тот же день Ричарда Никсона.

— Народ, слышали анекдот? К приезду Никсона Ленинград делает книксен! Видели, что делается, по всему городу сирень распустили!

Подумать только, война во Вьетнаме в самом разгаре, а мы собираемся принимать президента США «в теплой дружеской обстановке». А как ожесточенно советские газеты и журнал «Крокодил» громят американских империалистов! Какие песни протеста поет американский ковбой Дин Рид! И вдруг новость: первый в истории СССР официальный визит президента США. За две недели планируется подписать огромное количество экономических соглашений, договор о нераспространении атомного оружия и, главное, провести переговоры о совместной космической программе.

— Мужики, может, мы зря боевые ракеты зубрим, может, перекуем мечи на орала!

— Да, щас, — это Славка, который живет на Московском проспекте, — то-то нас предупредили не подходить к окнам, чтобы не заработать пулю от снайпера. И на лестницы выходить не велят, чтобы доступ на крыши им обеспечить!

— А островки-то безопасности на Московском убирают. Чтобы простреливалось лучше, как в Далласе?

— Просто чтобы с понтами четыре полосы кортежу обеспечить, а к новому аэропорту современное скоростное шоссе строят. Цену набивают.

— Суперсовременное, аж целых полтора километра.
 — А на Гродненском американскую резиденцию открывают.
 — Скажи лучше, Америку открывают. Это старая резиденция, она там до революции еще была, а сейчас детский дом оттуда выгнали, особняк отремонтировали, а в подвале соседнего дома ателье МВД по индпошиву, они там прослушку перелицовывают.
 — То-то у нас на институте американский флаг вывесили, все делегации с Московского проспекта на нашу 1-ю Красноармейскую поворачивают, мимо нас не проскочат.
 — Ага, флагшток как раз под окном начальника первого отдела!
 — Нет чтобы плакат «Янки, гоу хоум!» натянуть.
 — Уж если натянуть, так лучше пусть джинсы. «Дик, джинсы давай!»
 Через перемену Влада вызывают в первый отдел.
 — Говори, кто тут теракт против американцев готовит?
 — Какой теракт, я ничего не знаю.
 — А плакат «Янки, гоу хоум!»?
 — Так это же шутка!
 — И кто так пошутил, фамилия?
 — Я не видел, кто-то сзади.
 — Смотри, если что случится, ты первым из института вылетишь!
 — А я-то за что?
 — Ты зачем фамилию меняю? В Омск на практику с одной фамилией поехал, а допуск на другую! Мы к тебе давно приглядываемся.
 — Вот, — жалуется нам Влад, — я, можно сказать, всю скорбь скорблю мировую, Грудью дышу я всем воздухом мира, Никсона вижу с его госпожой.
 И вот тебе раз! Иностранная глава — прямо глаз в глаз, к голове голова.
 Никсон прилетел в Ленинград 27 мая, как раз на День города, и ничего с ним на этот раз не случилось. В Москве ему вообще были очень рады, говорили, Никсона почетным гражданином надо сделать, какую красоту в Москве навели: что-то покрасили, в очередной раз что-то снесли и цветочки высадили. Магазины на всякий случай завалили продуктами, и даже Ленинграду что-то досталось.

Лишние проблемы

В тот же день 27 мая студент консерватории Сергей Белимов, друг по музыкалке, отмечал свой день рождения. <...>

Серега сидел в своей излюбленной позе бочком к столу и курил, небрежно сбрасывая в блюдечко пепел от «Беломора». Он уже женат, двухлетняя дочка спит за стенкой, а мы сидим на кухне с его женой, студенткой музыкального училища, и пьем белое вино из чайных чашек. В их съемной квартирке быта никакого не наблюдается, наблюдается Серега в позе роденовского мыслителя, который среди домашнего хаоса витийствует на метафизические темы, а мы с его женой хлопаем глазами, пытаясь угнаться за ходом Серегиных мыслей.

— Ну послушай, все устали от всяческих -измов, ну что, живем мы этим, что ли? Жизнь одна, и что нам важно — семья, любовь, музыка, литература. Вот это важно. У тебя институт, у меня консерватория. Ты читал что-нибудь из латиноамериканцев?

— Да, «Дону Флор», замечательно, — с гордостью говорю я. Действительно, я недавно прочитал Амаду, хотя из-за постоянных репетиций времени на чтение особенно нет.

— А я серьезно увлекся латиноамериканцами, просто подсел на них: Карпентьер, Амаду, Маркес, Неруда. Не могу оторваться. Они реальность по-другому переживают,

не так рассудочно, как европейцы, у них все свежо, всё — страсть и магия, и всё, даже кулинарные рецепты — всё лирика. Хочу для выпускной оратории выбрать что-нибудь из Пабло Неруды.

— Неруды? Коммуниста? Лауреата Ленинской премии? Да кто ж его всерьез воспринимает? — удивляюсь я.

— Не только Ленинской, ты забыл про Нобеля. Нобелевку зря не дадут. Ну, коммунист — и хорошо, будут меньше приставать, почему не на стихи советских поэтов. Неруда — замечательный философ и лирик. Больше всего мне хотелось бы выскочить из соцреализма. Правда, до смерти надоело, а у Неруды настоящие модернистские стихи.

— Никогда бы не подумал, мне бы и в голову не пришло читать Неруду по собственной воле.

— Ну конечно, мы замкнуты в своем коконе, навесили на всех ярлыки и сами от них шарахаемся, а мир разный, многоголосый.

Он постоянно удивляет меня экзотическими интересами и неожиданными поступками. Когда нам было по шестнадцать, мы простояли ночь и купили билеты на концерт Вана Клиберна в Большом зале филармонии. Но Сереге этого было мало, он решил заполучить автограф, рванул за сцену, прорвался и получил-таки. Звал и меня, но я тогда постеснялся. Сейчас он собирается в фольклорную экспедицию в Дагестан.

— Там, в Дагестане, еще очень много Востока, надеюсь встретить незнакомые методы звукоизвлечения, музыка — это же не только классика восемнадцатого–девятнадцатого веков.

По классу композиции он учится у кондового, по его словам, Ореста Евлахова. Между ними идет ожесточенная борьба, профессор протестует против современных загибов, ему подавай «правильные советские мелодии» и классические формы. А Серега уже сам преподает во Дворце культуры «Кировец», и в его оркестре малыши, которые еще ничего не умеют, с азартом гремят на игрушечных ударных инструментах. Он им приносит маракасы, трещотки, бубны, пищалки. И в свои студенческие опусы тоже пытается вставить что-нибудь диковинное.

Со своими мягкими русыми волосами до плеч он больше всего походит на разnochинца или молодого семинариста, хотя увлекается не православием, а буддизмом и Востоком. Я завидую широте его интересов, особенно в области философии, хотя и знаю, что это не мое.

— Слышал песню Саласпилс?

— Которая «Поющие гитары»? Довольно драматичная музыка для рока.

— Вот именно, даже ты ее слышал, ее чуть ли не каждый день гоняют по радио. Только это не их песня, «Поющие» украли ее у «Аргонатов».

— Забавно, но в конце концов неплохо получилось, а? Они написали, а «Поющие» раскрутили, никто не внакладе.

— Меня возмутило, что большие, нисколько не стесняясь, крадут у маленьких, пока за руку не поймают.

— Ну что ты, такое сплошь и рядом.

— Но главное не это, там слова драматичные про концлагерь, про детский барак, про то, как нацисты ставили опыты на детях, брали у них кровь, оттого и музыка получилась драматичная. Но почему никто не говорит, что это был лагерь уничтожения евреев в первую очередь? И в детском бараке дети, скорее всего, тоже были еврейские.

— И в фильме «Щит и меч» про это тоже ни намек, — задумчиво говорит Серега. — У нас и слова такие произносить нельзя, само слово «еврей» считается неприличным. Тебе, конечно, это должно быть еще понятнее, чем мне, и обиднее.

— У брата в еврейских компаниях об этом только и говорят, там много отказников.
 — Потому что это стало зацепкой для выезда. В диссидентских кругах обо всем говорят: самолетное дело, Сахаров, Солженицын, чешские события. Свободы нет ни для каких проявлений человеческого духа, только до народа ничего не доходит. Говорят, что перед приездом Никсона посадили всех отказников, чтобы, не дай бог, не вылезли со своей эмиграцией.

— Мне как раз сегодня анекдот рассказали, что к приезду Никсона Ленинград делает книксен.

— И правда, зачем Никсону лишние проблемы.

Ударник из ресторана «Универсаль»

Черная адмиральская шинель с золотым позументом — нашу учебную группу, которая решила отметить последний звонок в ресторане «Универсаль», встречает швейцар. Широкая мраморная лестница ведет на второй этаж, где красуются накрытые белыми крахмальными скатертями столы, меж которых плавают официанты в черной униформе. Все двигаются размеренно и чинно, суета толпы осталась внизу, на Невском, на нее мы посматриваем с высоты второго этажа через огромные витринные окна. Попастъ сюда можно только по блату — это Надежда, наш комсорг, постаралась через своего важного дядю.

Здесь все по-взрослому: закуски, тосты, небольшой эстрадный оркестр. Играют вроде неплохо, но репертуар в таком обрамлении кажется ужасно пошлым. «Шаланды, полные кефали», «Поспели вишни в саду у дяди Вани», даже «Эти глаза напротив» Валерия Ободзинского отсюда, из-за стола, уставленного оливье и заливным с петрушкой, слушать можно, только хорошенько приняв на грудь. Музыкантам лет за сорок, играют лениво, поглядывают по сторонам. Я пытаюсь представить, что «Муравьи» будут делать, когда нам станет за сорок, если пойти по этой дорожке.

Сидим, едим, пьем, девочек в группе только три — много не натащуешь, да и парни не особо рвутся, только когда девчонки выдергивают по одному на танцевальную площадку, и много не напьешь по ресторанным-то ценам. Трое заядлых охотников обсуждают сравнительные особенности своих собак и охотничьих ружей. Как говорится, кто на улицу глядел, кто просто скучал, «Николай ногой качал». Глупо, конечно, было устраивать студенческую посиделку в таком месте, разве что поучиться «взрослой жизни».

Только Вова все бегаёт смотреть в оркестр, ему понравилось, как ударник выделяется. Он тоже уже в возрасте, но при этом лихо играет с барабанными палочками: то подбросит, чтобы палочка сальто прокрутила, и поймает, то провернет между пальцами, и стучать ему это не мешает. После пары рюмок наш ударник решается и идет знакомиться, перенимать опыт.

«Рыбак Заполярья», 1972

В начале июля практика закончилась, мы вернулись в город и стали искать концы в обкоме комсомола. И тут выяснилось, что артист Андрей Толубеев заболел, да и вообще вся затея с агитбригадой провалилась, но чтобы не терять лицо, обкомовцы пообещали отправить весь ансамбль куда пожелаем и бесплатно, но в пределах железнодорожной сети страны — стоит только, как по щучьему велению, пожелать куда и когда.

Если не получается с гастролями, то надо просить по максимуму. Экстренно посочившись, мы и объявили это желаемое место — Сочи, здесь можно попытаться заработать, а если не получится, то хоть отдохнуть. Дата выезда — немедленно, точнее, через два дня. Нам клятвенно пообещали и дали человека для связи.

Где жить, где играть — понятия не имеем; решили послать разведчиков-квартирщиков искать «точку», а остальным вместе с аппаратурой выдвигаться позже, когда прояснится. Единственная зацепка — все тот же «Арсенал», они уже не первое лето играли на танцах в клубе на станции Лазаревская. В авангард определили Вову и меня. Влад взял шефство над Вовиной ударной установкой, Слава — над моей органоидой, обещая привезти их вместе с аппаратурой в целости и сохранности. Я бросился искать Лиду, но ее не было в городе.

Через два дня Вова с барабанными палочками и с рюкзаком, а я со скрипкой и сумкой с вещами отправились на Московский вокзал на встречу с обкомовским связным за билетами в Сочи.

Полупроводники

— Довезут в лучшем виде, — сказал комсомольский вожак, похлопал по плечу разбитного парнишку, бригадир проводников адлерского поезда, передавая ему с рук на руки нас с Вовой, а сам влился в толпу на платформе Московского вокзала.

— Пошли, — скомандовал бригадир, и мы отправились вдоль состава. — Я здесь, в штабном, — показал он на вагон в середине поезда, — вся бригада проводников наш студотряд, а я командир. Если что, обращайтесь ко мне.

Вову он пристроил в соседний вагон, а в следующий — меня, наказав каждой из проводниц взять на себя опеку над новичками. Мы-то думали, что обком обеспечит нас нормальными билетами, теперь поняли, что нас определяют как бы вторыми проводниками.

Проводницы, студентки-второкурсницы Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, безропотно уступили нам свои служебные купе, а сами забились в рабочие, где спать можно только на верхних полках над чайным хозяйством. Когда поезд тронулся, Вова прибежал ко мне:

— Опять в авантюру вписались. Но скажи, все-таки к морю едем. Чего думаешь, друг-полупроводник?

— Сам ты это слово. В прошлом году хоть знали, куда едем, а теперь... Вдруг ничего не найдем?

— Плевать, зато юга, море. Ты был когда-нибудь на югах? Я никогда.

— И я никогда. До института только в Прибалтике был.

— А мы с отцом помотались по стране. Он шесть гарнизонов, а я шесть школ сменил.

— И что, после диплома обратно в Тамбов, к родителям?

— Ну уж нет, родители родителями, но с Тамбовом меня ничего не связывает. Год жизни, драка, сломанный нос, и больше вспомнить нечего.

Вошли наши проводницы, они тоже парой ходили.

— Хотите чаю? Титан вскипел. — Стесняются, в лицо не смотрят. Вова вскочил:

— Давайте мы сами нальем и вам поможем.

— Что вы, сидите-сидите, мы принесем!

Я достал мамины бутерброды, разложил на столике.

— По-барски устроились, — Вова поставил стакан в подстаканнике на полку рядом с собой, потянулся и, позвякивая ложечкой, сказал:

— Вернемся в город, надо будет искать, как зацепиться после диплома, потом уже поздно будет. Тебе-то проще.

— Не проще, а однозначней. Деваться-то некуда, у меня бумага с папиной работы. Хочешь не хочешь, а из-за пятого пункта все равно больше никуда не возьмут. И диплом буду там делать. Отец к своему директору ходил, просил запрос подписать на распределение.

— У тебя пятый пункт, а у меня прописка. В Ленинграде общежития не получить, а без прописки на работу не берут. Заколдованный круг. Если не дергаться, только Сибирь светит или Урал, в лучшем случае Подмосковье. А я страну повидал, больше не хочу. Придется крутиться, чтобы в Ленинграде остаться.

— А с музыкой как?

— С музыкой? Как получится. Но не буду же я всю жизнь стучать на барабане, у меня цели повыше.

Рано утром Вова нарисовался в моем купе.

— Вот у своей проводницы метелку стибрил, пол в вагоне подмел. На-ка подмести тоже.

— Бригадир приходил, говорит, будете чай наливать, имей в виду, лимон — враг проводника, чай обесцвечивает. А сода — наоборот — друг проводника, заварку ярче делает.

— Ко мне тоже приходил. Я его спрашиваю, на чем они зарабатывают, не на чае же. Он смеется: с чаем одна морока. Только на зайцах и посылках.

Днем все было спокойно, к вечеру вдруг шухер: на узловой станции Иловайская в поезд села бригада ревизоров.

— Зайцев ловить будут, — прокомментировал Вова.

И тут оказалось, что зайцы — это мы. Прибегает проводница, сует спецалку — треугольный ключ, которым все двери в поезде открывают, и передает команду бригадира ходить по составу из вагона в вагон, чтобы нас не сосчитали. А еще говорит, в поезде едут парень и девушка, тоже студенты и тоже без билетов. Они незнакомы, но бригадир поставил их в тамбуре и велел целоваться взад-вперед. Ревизоры, дескать, постесняются прервать процесс и пройдут мимо. Мы раз шесть проходили туда-сюда и отворачивались — душераздирающее зрелище. Тактика сработала: ни их, ни нас не поймали, но бригадир сказал, что все равно пришлось откупаться — порядок есть порядок, ревизорам тоже надо заработать, хотя, конечно, чем меньше нашли нарушений, тем меньше платить.

Мы пытались понять, как девчонок отблагодарить, что они везли нас зайцами и какого лешего бесплатно. Начальник велел? А начальнику его начальник? Обычные приемы — петь песни и травить байки — тут не подходили, да и они дружить не рвались, тогда мы стали воровать у них работу.

— Девчонки, а давайте мы вам титан вечером растопим!

— Отдыхайте, мы сами все сделаем.

Но мы все-таки взяли титаническую работу в свои руки.

Ближе к концу поездки девочки, однако, оттаяли, а мы с Вовой почти вошли в роли вторых проводников, которые в теории на каждый вагон полагаются. Работы оказалось немало: принести топливо из угольного ящика, растопить титан, подмести вагоны, разнести чай, собрать посуду, помыть посуду. На остановках старались выскочить и купить у бабок горячую картошку с огурцами, чтобы потом чуть ли не насильно делиться со своими напарниками. На стоянке в Туапсе удалось урвать две шоколадки, а перед Лазаревской всучить их нашим хозяйкам в знак благодарности. О деньгах речи не было, они и шоколадки стеснялись брать.

Станция Лазаревская

Друзья из «Арсенала» размещались на втором этаже клуба при стадионе, который вечерами превращался в танцплощадку под открытым небом. Жили на зависть просто и гармонично: море, солнце, танцы. После окончания обычно скидывались на вино и славную закуску из хлеба, плавленых сырков, помидоров и зелени. Вино называлось «руб-литр», его продавали почти все местные.

Мы приехали к вечеру и успели убедиться, что после такого вина голова ясная, а ноги не идут, и со второго этажа можно только скатиться на пятой точке. Спать нас устроили прямо на сцене клуба. Мы постелили под себя старые портьеры, укрылись флагами и, блаженно засыпая, продолжали строить предположения относительно вина, с табаком ли оно, крепленое ли...

Утром мы с Вовой отправились в сторону Сочи прочесывать клубы на побережье, перемещаясь из поселка в поселок на редких поездах и попутках. Переночевали у ребят и снова на поиски, за два дня проверили все возможные точки от Лазаревской до Сочи.

— Здравствуйте, мы музыкальная группа из Ленинграда, могли бы играть у вас на вечерах!

Эту фразу мы отработали до автоматизма, типа, сами мы не местные. Обычно нам и отвечали: «Бог подаст».

В самом Сочи даже и не пытались, там все давно схвачено, а на главной площадке играли «Кочевники», группа из Театрального института.

Ребята приезжали завтра, а точки не было. Накануне прислали телеграмму, что выехали, не дожидаясь команды. Что делать — неясно. Я остался встречать, а Вова поехал проверять часть побережья от Сочи до Адлера. Договорились, что я привезу всех в Адлер, на конечную станцию, а там видно будет.

Поезд из Ленинграда приближается, стоянка минута, я бегу к вагону, ребята на площадке уже готовятся сгружать аппаратуру, но я издали кричу: «Отбой, едем дальше», вскакиваю в тамбур, и поезд трогается. Друзья из «Арсенала» машут вслед. Что нас ждет в Адлере, неизвестно. Весь коридор в вагоне забит нашим багажом.

Кудепста с видом на море и обратно

А ждет нас Вова с радостным известием, что нашел точку. Вот так всегда, если Вове что-то очень нужно, он затевает приключение, и providение торопится ему навстречу: он входит в кабинет директора очередного пансионата в поселке Кудепста, с почти родным названием «Рыбак Заполярья», задает стандартный вопрос, не нужны ли музыканты, и отставной пират с интеллигентным лицом отвечает:

— Нужны, если бесплатно.

— Ну хотя бы еда и жилье?

— Да сколько угодно, только играть каждый день.

И мы размещаемся высоко на склоне горы на втором этаже главного корпуса с колоннами псевдоклассической архитектуры, в покоях размером с бальный зал. Восемь кроватей, застеленных белоснежными простынями и одеялами с пододеяльниками, для нас шестерых. Напротив входной двери окна во всю стену и выход на парадный балкон, оттуда вид на море, а внизу под ним натуральные субтропики.

Бежим осматривать открытую танцплощадку неподалеку от нашего корпуса. Находящаяся, не как мы привыкли, а как в кино, окруженная забором, с монументальным

подиумом для оркестра. На площадке баянист и один пьяный отдыхающий. Двое детишек бегают по диагонали, из угла в угол. Подходит директор:

— Ну как вам? Я хочу оживить это место.

— Оживим, — кричим мы хором.

И это оказывается Вовин день рождения, двадцать два! Мы отмечаем его вином и плавлеными сырками и идем купаться в море, впервые в жизни. От полноты чувств именинник окунается прямо в джинсах. Они потом высыхают и колом стоят в углу нашей комнаты, пугая претенденток на лишние кровати и напоминая при свете луны человека-невидимку.

Танцы и впрямь оживляются. Аппаратура мощная, ансамбль на пике творческой формы: как-никак лауреаты конкурса вокально-инструментальных ансамблей Ленинского района Ленинграда к столетию со дня рождения Ленина! И репертуар как нельзя более ленинский: под ритмичные аккорды «Monkberry Moon Delight» Пола Маккартни с его диска «Ram» публика заводится с пол-оборота. Тут вступает Влад в образе хриплого мага и волшебника и вводит народ в экстаз.

Через день на площадке не протолкнуться, а через три дня в нашу Кудепсту приезжают уже автобусами, директор, потирая руки от удовольствия, ставит людей продавать билеты. С горы музыка разносится далеко, а слухи еще дальше, от Хосты до Адлера. Шеф проявляет некоторое беспокойство: «Мужики, вы бы играли потише, что ли!», но в целом он доволен, сборы растут.

Саша разливается соловьем на фоне кипарисов и звездного неба. Его сладкоголосые лирические песни притягивают молодых курортниц. И Саше опять сыплются записки: «Хочу ребенка от Муравья».

Побережье переполнено отдыхающими, танцы — единственное доступное развлечение, а недоступных тоже особо нет. Выступления продолжаются часами. Дикарями в основном отдыхает молодежь, пансионатские — постарше, для них мы со Славой (приходится петь в два голоса, чтобы противостоять Саше) делаем из репертуара Леонида Утесова:

Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся, —

и срываем свою долю популярности у народа посолиднее. В столовой пансионата нас начинают закармливать на убой.

Мы все же тешим себя надеждой, что не скатываемся в ресторанный репертуар.

— Да это только сезонная уступка, — говорю я своему другу Сергею, который в промежутке между двумя фольклорными экспедициями от консерватории заскакивает ко мне на несколько дней.

У нас все время кто-то живет, приезжают фанаты, старые и новые друзья и подруги. Иногда на запасных кроватях ночует по два человека, кто-то в спальнях мешках занимает места на полу, а когда и этого не хватает, то Саша и Слава благородно уходят спать на первый этаж, в актовый зал пансионата, на сцену.

Несколько ночей болтаем мы с Сергеем на балконе под звездами, потерявшись во времени и пространстве. Говорим обо всем и, конечно, о том, что меня больше всего волнует:

— Ну смотри, мы же всегда стараемся вносить изменения и в программу, и в аранжировку, чтобы не заездить. Рок-группа начинает халтурить, когда становится профессиональной и играет каждый день одно и то же, а нам до этого далеко. Настоящее искусство только любительское, мне кажется.

— Представь себе непрофессионального дирижера симфонического оркестра, который импровизирует прямо на сцене. Вот это халтура и есть.

— А в джазе? Там же сплошная импровизация. Выходит, мы что-то среднее между джазом и большим оркестром. У нас все отрепетировано, но в проигрышах-то все равно импровизация. На стадионе или в большом зале себе такого не позволишь. А видишь публику вблизи — и такое волнение, вот тебе и импульс для творчества на сцене. Мы никогда не пьем перед игрой, как другие.

— Думаешь, реакция огромного зала или стадиона меньше заводит?

— Нет, но там какой-то другой кайф. И все-таки размеры зала не гарантируют, что ты не скатываешься в наезженную колею.

— Верно.

— Тогда что нужно, чтобы не застрять на месте? Свои песни?

— Какие-то свои простенькие у вас есть, но вряд ли их можно считать программными.

— Что ты хочешь сказать?

— Что отличало бы вас от других. Особый взгляд на мир, своя концепция.

— Это я понимаю, Сережа, у нас, вообще-то, компот, а не программа, я даже пытался несколько раз написать сценарий, хотел было сделать что-то слитное, единое, но все разваливается. Нужна какая-то драматургия, только мне ее не придумать.

— Ха-ха, драматургия! Драмы захотел? Как ты ее придумаешь, если ты в душе соглашатель и тебе все хорошо? Поел — хорошо, поголодал — опять хорошо. Ну, прости, это я любя. Я думаю об искусстве по-другому. Искусство — это только новаторство. Только новаторство и есть искусство, это может быть в мыслях, в стиле, в темах, и неважно, сколько у тебя поклонников, тысячи или единицы. Важно только то, что ты хочешь и можешь сказать. Я тебе рассказывал про Кари Унксову, не думаю, что у нее много почитателей. Там совсем другой нерв, другой мир, вот где протест против общего места. Про ее круг говорят, что у них заумь, невнятица, скрытое противостояние системе, а мне она кажется самым большим поэтом сегодня. И ее мнение для меня важнее всего. Не знаю, насколько моя музыка будет популярна, но для меня, главным образом, значима оценка именно единомышленников.

— Не хочу я никакого противостояния, ни скрытого, ни открытого.

— А ты говоришь драматургия. Новое невозможно без борьбы. Только так и можно прорваться к известности. Вы же этого хотите?

— А нельзя разве подняться просто на любви к музыке?

— Посуди сам, эта ваша рок-группа — самый что ни на есть пубертат, смесь подросткового протеста и подражательство моде. Вот такая развилочка: если идти по пути протеста, надо делать что-то социальное, концептуальное, а если мода, тогда совэстрада, больше ничего вам делать не дадут. И куда вы повернете?

— Думаю, что мы повернем в инженеры, я-то уж точно.

Регистрация в Сочи

Идиллия продолжалась недолго, вскоре среди танцующих начались драки, и директор запаниковал: деньги — хорошо, а проблемы ему не нужны. Решил подстраховаться, вызвал Вову и объявил, что начальство требует, чтобы наша программа была зарегистрирована в отделе культуры Сочинского горисполкома.

— Принимают, к вашему сведению, по средам, а пока не регистрируете, играть не надо.

Мы собрались поехать на разведку во вторник и узнать подробности заранее, а заодно посмотреть наконец, что такое город Сочи.

Через час тряски и интенсивного потоотделения на городском автобусе «Икарус» типа «гармошка» мы высаживаемся возле здания исполкома горсовета. Кабинет, на двери табличка «Отдел культуры». Требования для регистрации программы напечатаны на бумаге стандартного формата и висят на доске объявлений рядом с дверью. В обязательную программу входят бальные танцы. Кроме фокстрота, танго и вальса, востребованы полька, краковяк и танец конькобежцев. Произвольная программа допускает твист (один), шейк (один) и никаких рок-н-роллов.

Выходим на улицу и устраиваемся бивуаком в тенечке возле горсовета, точнее, лежим плашмя прямо на асфальте. Что предложить Высокой Комиссии? Где наши пасадобль и ча-ча-ча? А что выдать за польку и полонез? Хорошо еще, что сарабанду и жигу из восемнадцатого века не просят.

Солнце жарит, воздух колыхнется над раскаленным асфальтом, все замерло, только бабочка одиноко порхает над исполкомовской клумбой, а мы тупо следим за ее полетом. И тут хлопает дверь, и из горсовета выходит пухлый лысоватый чувак, а Вова вскакивает и бежит ему навстречу: «Здравствуйте, вы меня помните?» Мы в недоумении продолжаем лежать, они о чем-то говорят, и Вова возвращается воодушевленный:

— Мужики, все в порядке, похоже, прорвемся!

Чувак из горсовета оказывается барабанщиком из ресторана «Универсаль» на Невском, и не просто музыкантом, а членом той самой комиссии, что дает разрешение выступать в Сочи! Вову он вспомнил сразу: высокий, худой, как ножик, с соломенными волосами, гений общения, мастер жеста — как не запомнить того, кто всего месяц назад рассыпался тебе в комплиментах!

— Я ему: комиссия, танец конькобежцев, полька, — рассказывает нам Вова, — а он мне: главное — выкрутите всю эту вашу электронную музыку на самый минимум, а лучше вообще без нее. С чего начинаете? — Мы когда-то начинали с «Одинокой гармонии» Мокроусова в джазовой обработке. Можем вспомнить. — Вот это хорошо. И спойте что-нибудь на голоса.

На прослушивание мы приезжаем с одним усилком, одной тумбой и двумя микрофонами — это дай бог десятая часть нашего боевого потенциала. Влад, главный по металлическому року, с усами скобкой, как у «Битлз», аккомпанирует на акустической двенадцатиструнной гитаре, а мы с Сашей и Славой поем на голоса «Алешкину любовь» и «Когда проходит молодость», но, вообще-то, главное, оказывается, просто появиться перед комиссией, вопрос о нашей сертификации уже заранее решен положительно.

Когда мы возвращаемся в пансионат с ксивой из отдела культуры и Вова артистическим жестом протягивает ее директору, у того вытягивается физиономия. Он внимательно читает бумагу и говорит:

— Но играть один раз в неделю, по вторникам. С удовольствия я вас не снимаю, черт с вами, живите, как договаривались. А вообще-то, можете и не играть.

«Яма»

И это настоящий разврат. Мы лениво встаем, завтракаем, идем на пляж, играем в карты на одевание (раздевать на пляже уже нечего), загораем, плаваем, строим пирамиды из тел и фотографируемся. Потом возвращаемся в корпус, обед, тихий час или эпистолярный жанр — письма домой. Вечером у нас всегда кто-то из свиты, гости из Питера, вино, песни, девушки.

Через несколько дней идем с пляжа, подходят два парня, и бородатый спрашивает Влада. Я, говорю, знаю его еще по оркестру Дворца пионеров. Конечно, слухи,

что «Зеленые муравьи» играют в пансионате «Рыбак Заполярья», расходятся быстро, и мы не удивляемся, но вот же бородатый смотрит прямо на усатого Влада и не узнает его! А Влад смотрит на бородатого и тоже не узнает! Детки-то, оказывается, подросли. И тут же, как только они опознают друг друга, ребята (как оказывается) из группы «Генерал-бас» с ходу просят одолжить у нас усилитель.

Влад хорошо осведомлен о группе, как и они о нас. «Генерал-бас» проповедует в Ленинграде музыку английской рок-бэнд «Procol Harum», их композицию «A Whiter Shade of Pale» мы тоже играем. «Генерал-бас» участвовал даже в подпольном сейшене с польскими «Скальдами» в какой-то ленинградской школе. Там еще был замешан Коля Васин, главный битломан Советского Союза, они тогда наплели директрисе, что на «Ленфильме» снимается картина о подростках и на одну ночь требуется арендовать актовый зал, а сами устроили ночной сейшн. Легендарное дело, закончившееся посадкой одного из организаторов на два года.

Но за технику у нас отвечает Стец, который не очень-то склонен отдавать ее в чужие руки. Я его поддерживаю: свою скрипку, например, никому трогать не позволяю, поэтому мы со Стецом резко уходим вперед, оставив разговаривать остальных. Выяснилось, что парни играют на танцплощадке в Адлере и вчера у них украли всю аппаратуру. Они знали, что рядом играют земляки, и вот приехали за помощью. Настроение хуже некуда, они уже решили уезжать домой, надо только отыграть последний вечер.

Своя гитара, скрипка или усилитель — это святое, как корова-кормилица, но ведь и помочь землякам надо! Мы долго совещаемся, мнемся. Стец, Слава и я против, Саша (по доброте душевной), Влад (по дружбе) и Вова (общежитский опыт всем делиться) готовы помочь. В конце концов решаем отправиться вшестером вместе с усилком на их точку. Как выражается Вова, корпоративная этика: своим поможешь — и тебе когда-нибудь нальют.

Так и выходит: парни из «Генерал-баса» отрабатывают вечер и знакомят нас с заведующим клубом, а тот с ходу предлагает нам ангажемент до конца сезона.

Площадку в Адлере в народе зовут «Яма», потому как располагается она в низине на берегу речки, позади кафе «Минутка». Рядом жилмассив частных домиков, и их хозяева совсем не рады толпам народа, громкой музыке, дракам после танцев, но как ни пытаются бороться, профсоюз строителей сильнее. Заведующий клубом «Строитель» колоритный усатый Славик Аракелян обещает нам половину сбора. Это наша первая договорная работа, опыта нет, и торговаться у нас и в мыслях нет. По-русски Аракелян говорит с тяжелым кавказским акцентом, поэтому договор приходится с его слов писать мне — мой первый в жизни договор, — потом он отдает его напечатать в профком строительной организации, которой принадлежит клуб, и подписывает у председателя. И никакой регистрации репертуара.

На наше первое выступление в «Яме» мы привозим из «Рыбака Заполярья» всю аппаратуру — ловим грузовик, загружаем и едем. Любой переезд — болезненная операция, обычно электроника не любит тряски, после переезда что-нибудь да вылетает, и приходится чинить. Но мы уже привыкли, что наша фирменная нас не подводит, и поначалу все идет хорошо, аппаратура включается, мы играем вступительный инструментальный номер, поем несколько композиций, все путем, и тут сгорает голосовой усилитель. Без него выступать невозможно...

Технический перерыв

Это настоящая трагедия — и дело не только в срыве выступления. Аппаратура определяет уровень группы. Музыкальность — необходимое условие, но недостаточное.

Музыкальность, а еще сплоченность, длинное дыхание нужны только, чтобы заработать деньги на аппаратуру. Добыл аппаратуру, теперь можешь расти дальше. <...>

И вот вылетает голосовой усилитель. Из инструментальной музыки программы не сделаешь. Публика, к счастью, шуметь не стала, было обещано в следующий раз пускать по тем же билетам. А когда в следующий раз? Стец с Сашей вскрывают корпус мертвого усилителя и, покопавшись, ставят крышку обратно. От выходного трансформатора пахнет горелым, наверняка еще транзисторы полетели. Требуется серьезный ремонт.

— Ну что, мужики, — сурово и скорбно подает голос Стец, — надо лететь в Ленинград. На месте не починить.

А в Ленинград улететь и обратно прилететь в Сочи в августе возможно? А найти комплектующие, быстро починить в пустом городе возможно?

Не знаю, где как, но в нашей стране всегда есть щель, куда можно протиснуться, и поэтому невозможного нет, нужны только характер и мотивация. Вот он, истинный ритм-гитарист! Пока он держит ритм, его роль не бросается в глаза, и только когда требуется что-то необыкновенно сложное, вдруг выясняется, что без Стеца ничего не работает.

Быстро собираем деньги, Стец прямиком отправляется в аэропорт, благо он рядом.

Оставшуюся аппаратуру в кладовке за сценой хранить опасно: именно эту кладовку и вскрыли, когда обокрали «Генерал-баса». Славик Аракелян, как обещал, оставил нам ключи от клуба, нести метров триста. Тумбы с динамиками все же приходится бросить в кладовке, их тяжело тащить и нам, и грабителям. Двери каморки еще днем укрепили.

Ночевать отправляемся в свой пансионат, не так уж и далеко: по шоссе час с небольшим. Теплый ветер с моря, аромат апельсинов и персиков, а мы идем и гадаем, что теперь делать. В унынии добираемся до санатория, и ни вино, ни фанаты, которые всюду с нами, не могут нас расшевелить.

Стец ночевать не явился, значит, либо улетел, либо сидит в аэропорту. Утром на завтраке в санаторной столовой нам вручают телеграмму:

«РЫБАК ЗАПОЛЯРЬЯ МУРАВЬЯМ ГОРОДЕ ТЧК ИЩУ РЕМОНТ СООБЩУ». Значит, улетел, хотя бы так.

Ожидание продолжается: черное-пречерное море, адское пекло, унылый пляж, безрадостные карты, скорбные вечера, ни минуты покоя! Вечером новая телеграмма:

«ПОРЯДОК ТЧК ВЫЛЕТАЮ».

Стец сотворил чудо: починил усилитель, достал билет на самолет и, как в каноническом случае, превратил нашу мертвую воду в живое вино, а при этом остался верен себе — детали операции не раскрыл, как ни пытали.

На волнах успеха

Прошло всего два дня, и мы снова выходим на сцену. Первые звуки гитар, Саша, как обычно, пробует микрофон: «Раз! Раз! Раз! Раз, два, три!», звук улетает в ночь, и народ еще в полумраке дежурного освещения собирается на площадке. Слава на басу потихоньку начинает заход из «Deep Purple», включаются прожектора, и мы видим море людей, и они все прибывают и прибывают.

Мы счастливы, потому что это уже сравнимо с большой ареной, про которую я врал Сереге, и душная южная ночь оборачивается в точности Вероной:

И вновь звучат слова любви по ночной земле.

Саша отдается вибрациям своего голоса, летящего поверх толпы, в разных местах первые пары начинают медленный танец, и, как от центров кристаллизации, исподволь движение расширяется, между ними протягиваются невидимые связи, и вот вся огромная площадка танцует, повинувшись волшебству мелодии.

Мы быстро подстраиваемся, Стец весь уходит в аккомпанемент, смотрит внутрь себя, и не поймешь, о чем он думает, Вова деликатно позванивает тарелкой и посматривает на танцующих, поворачивая голову из стороны в сторону, как радар, Слава деликатно колдует над басами, Влад наклонил голову и прислушивается, рассеянно глядя в пространство.

Я вступаю вторым голосом, следуя за Сашей как тень и добавляя звучанию новый объем:

В них счастья свет и в них беда,
В жестоком «нет» и в нежном «да».

Площадка исходит истомой, песня заканчивается. <...>

До самого конца августа на танцах аншлаг, одних билетов продается до восьмисот штук, не говоря уж о безбилетниках. И я больше не думаю, искусство это или халтура, мы купаемся в волнах успеха.

Каждый вечер после танцев мы переносим аппаратуру в клуб и плетемся свои пять километров на ночевку в пансионат. Идем вдоль шоссе, мимо каких-то зарослей, заборов. По дороге сады, их никто не охраняет, и как-то раз мы забираемся в такой сад и набираем груш и слив — поесть и взять немного с собой, на закуску. Выбираемся на шоссе, и тут перед нами тормозит патрульная машина. Милиционеры всех вяжут и везут в Адлер, в участок, разбираться. Погранзона, милицейская машина в вечернее и ночное время ежедневно патрулирует побережье. По дороге начинают опрос.

— Кто такие, что делали на шоссе, откуда авоськи с фруктами?

— Да мы студенты из Ленинграда. Гуляли, увидели бесхозный сад и решили нарвать для себя фруктов.

— Бесхозных садов здесь не бывает, даже если и нет ограждения. Придется отвечать за хищение государственной собственности. — Звучит угрожающе. — Что делаете в Сочи?

— Мы музыканты, живем в санатории «Рыбак Заполярья», играем на танцах и иногда в Адлере на разных площадках.

— Название группы?

— «Зеленые муравьи».

Машина неожиданно останавливается. Один их сотрудников патруля светит фонариком и внимательно осматривает наши лица, а потом многозначительно произносит:

— Да, это точно они.

Мы пугаемся.

И тут выясняется, что оба сотрудника патрульной машины много раз дежурили у нас на танцах в «Яме» и обратились в наших поклонников. Машина разворачивается, и нас с авоськами и с почетом в целости и сохранности доставляют в пансионат. Вот она, слава!

Сезон заканчивается тем, что завклубом берет с нас клятвенное обещание приехать на следующий год. На два месяца. Мы клянемся, что приедем, хотя совершенно не уверены. Точно знаем, что на будущий год, после диплома, нас уже распределят по предприятиям, и нам светит отпуск в двадцать восемь календарных дней, и не факт, что летом.

СО СЧЕТОМ 0:6, 1972—1973

Два театра

Мы приехали в Ленинград, и все закрутилось. На практике на меня оформили допуск и пропуск и приняли техником.

Еще весной отец поговорил с тремя начальниками лабораторий, где велись перспективные исследования, и они предложили совсем уж фантастические темы для дипломов. Первой была разработка экзоскелетона, как бы электромеханического робота-силача из комиксов, управляемого человеком, сидящим внутри. Такой аппарат мог бы разбирать завалы, укладывать мосты, поднимать тяжести. Вторая тема — рюкзак с реактивной тягой, чтобы подниматься в воздух и перелетать с места на место. Эти темы совершенно меня не вдохновляли. Третья лаборатория занималась оценкой боевой эффективности военной техники на основе математических моделей, конкретного проекта там для меня пока не придумали, но научиться строить математические модели мне показалось более перспективным, и я остановился на этом.

Белобрысый смешливый начальник лаборатории Борис Павлович или попросту Боря оказался своим парнем, с ним все были на «ты». Держался он наравне даже со мной, постоянно шутил, рассказывал анекдоты, заигрывал с молодыми женщинами, а на работу частенько опаздывал, у него был свободный вход-выход. Чем занять меня на время практики, он не знал и от вопросов о дипломе отмахивался, мол, разберемся, не торопись, сейчас уборочная на носу.

Зато у Бори всегда можно было отпроситься, и очень скоро я этим и воспользовался. Рассчитав Лидино расписание, я ушел с работы пораньше, застал ее на кафедре, как и было задумано, как раз в тот момент, когда она собиралась домой, и увязался ее провожать. Я даже не ожидал, что Лида так тепло меня встретит и так обрадуется. Расстались-то мы прохладно и летом ничего друг о друге не слышали, а тут разговорились, как это бывало раньше, и я болтал, и она сама много о себе рассказывала.

На кафедре ей ничего не платят, только стипендия, зато все с ней очень мило, стараются помочь, объясняют, как маленькой, а заведующий обещал сам руководить ее дипломом. Я почувствовал себя по сравнению с ней буржуем: повышенная стипендия пятьдесят два пятьдесят плюс оклад семьдесят рублей. Это было бы совсем приятно, если бы еще не ездить на работу (с 8.25 до 16.55), да без опозданий (расписание смен было подстроено под расписание городского автобуса).

Между делом она проговорила, что летом снялась на «Ленфильме» в нескольких эпизодах. Я про себя отметил, что, значит, она не совсем завязала со съемками, а я, значит, совсем ее не понимаю. Интересно, сколько ей там платят, если она хотела зарабатывать, и только ли ради денег она снимается.

А я рассказывал о нашей поездке. Впервые на юге, на море, много впечатлений, много переживаний.

— Слушай, если ты такой состоятельный ухажер, — сказала она под конец, — своди даму на что-нибудь приличное, в БДТ например.

Я обрадовался, помчался в театр и с боями отхватил на недавно поставленного «Ревизора» с Юрским, Басилашвили и Лавровым и на спектакль «Два театра» польского режиссера.

За день до «Ревизора» она позвонила сама:

— Пожалуйста, не обижайся, никак не смогу пойти, извини! У меня родители приезжают из экспедиции, и я должна быть дома, у них нет ключей. Так неудачно получилось!

— Обидно, я рассчитывал. В субботу-то встретимся, ты помнишь про второй спектакль?

— Да-да, конечно.

Честно сказать, я адски надеялся, что все сложится хорошо, но боялся чего-нибудь подобного, хорошо зная ее несговорчивый характер и привычку все переделывать по-своему. Это же ее была идея, может, и правда родители приезжают. А почему им было не взять с собой ключи? Хотя они надолго в экспедицию, с рюкзаками, где держать, а дочка дома, всегда откроет. Ладно, в любом случае билеты хорошие, во втором ряду партера, жалко, если пропадут.

Я позвонил Наде, пригласил ее на завтрашний спектакль, и она охотно откликнулась. С ней мы тоже не виделись с весны, она обрадовалась моему звонку, и у нее накопилось много летних впечатлений, мы долго болтали, пока соседи не стали шелкать спаренным телефоном, намекая, что пора освободить линию, и мне удалось развеяться и немного отойти от обиды.

Спектакль оказался отличным. Мы с Надеждой шли по Фонтанке под неярким светом фонарей, обсуждали постановку, говорили о практике — она оставалась на кафедре, — о том, кто где, я провожал ее, немного печалась, что наша группа уже никогда больше не соберется у Нади, как бывало.

Дверь открыл Надин отец, капитан первого ранга, от которого она унаследовала свою прямоту и общительность.

— Давно не виделись, входи-входи. Чайку? Как тебе Фишер? Обыграл, гад, наших. Прямо будто под гипнозом.

— Спасибо, я побегу, мне завтра утром на работу рано.

— Все-таки Спасский два очка взял, да Фишер одно подарил. А с нулевым счетом и я бы мог ему проиграть, — кричал он вдогонку. — Ладно, беги. Заглядывая как-нибудь.

— Спасибо, загляну!

За чемпионатом мира все следили, и я, конечно, тоже. Наши держали первенство с 1948 года, а тут молодой американец громит матерых гроссмейстеров, как картонных. Марк Тайманов, а потом и Бент Ларсен, словно замороженные, продули ему 0:6.

Вот так же и я проигрывал свою партию, будто под гипнозом, только на другом поле.

На следующий день я поехал в институт, как бы случайно перехватить Лиду и отдать ей билет, надеялся, что она не успеет придумать отговорку. Я поймал ее в коридоре, но мне это не помогло.

— Хорошо, что мы встретились. Собиралась тебе звонить. Седьмого? Видишь, я помню, только должна извиниться, опять не смогу. Подруга переезжает, очень просила меня помочь, никак не отказать.

— Она что, ночью переезжает, что ли?

— Почему ночью, на всю субботу катавасия, и в каком виде я буду потом? Найдешь кого-нибудь пригласить? Жалко, если билет пропадет.

— Найду, — постарался я не выдать своей обиды и злости, но вряд ли мне это удалось.

На «Два театра» мы сходили опять с Надей, она легко согласилась, будто ждала этого приглашения, нарядилась, даже глаза подкрасила, чего я за ней никогда не замечал. В спектакле участвовали Юрский, Тенякова, Базилашвили, играли замечательно, но пьеса показалась такой странной, что мы ушли из театра в задумчивости. После спектакля я снова провожал Надю и снова жаловался, что на практике мною никто не занимается, руководитель не знает, что придумать для моего диплома, и главная моя работа — это уборка урожая в совхозе, а в свободное от морковки и турнепса

время я переписываю какие-то данные из одной таблицы в другую и таскаю колоды перфокарт на вычислительный центр, а уже октябрь.

Я немного освоился в лаборатории, и больше всего меня удивляло, что работа сотрудников заключалась главным образом в том, чтобы ничего не делать. Программировать среди пятнадцати человек умел один инженер, и еще один младший научный сотрудник пытался научиться. Остальные, включая двух кандидатов наук, либо пользовались таблицами, либо считали по формулам.

— Представляешь, — рассказывал я, — одна сплошная рутина, а мне потом всю жизнь работать в таком месте.

— Ну уж, всю жизнь. На кафедре поживее, хотя бы молодежи побольше, но тоже, думаю, не передний край науки, — поддакивала Надя, — если делать нечего, может, стоит пойти еще куда-нибудь поучиться?

— Я уже думал.

— А что с «Муравьями»? Вас что-то не видать.

— Мы же все распределились в разные места, собираемся только раза два в неделю на репетиции. В институте новые ребята подрастают. «Гусляры», например, неплохая группа. На ноябрьских будем играть, но это уже последнее выступление, нас, скорее всего, выгонят после окончания института. Пропуска закончатся, и все. После диплома будем решать, что дальше делать. Вот, кстати, сейчас на сейшн в Елагин дворец зовут, приходи, институтских наверняка будет полно.

— Приду, если компания будет, а за театр спасибо. Надо подумать, как папе изложить неизлагаемое.

Сейшн в ЦПКиО

Елагин дворец в глубине ЦПКиО имени Кирова в темноте напоминал графские развалины. До революции это был шикарный дворец, в войну его разбомбили, а к 1960 году восстановили, как-то отреставрировали и тут же устроили на первом этаже однодневную базу отдыха, отчего он стал медленно деградировать. Зимой там в подвале даже выдавали напрокат лыжи и финские сани.

А сейчас здесь проходил подпольный сейшн. Горел тусклый свет, и хипари — музыканты и фаны, человек сто, — спускались по шербатовой лестнице и кучковались в зальчиках под сводчатыми потолками, сцена располагалась в самом дальнем. Первой выступала группа «Зеркало», они играли тот же рок, что и мы, только вещи у нас разные, потом мы, за нами «Санкт-Петербург».

Мешались какие-то столы, стулья, между ними публика стояла, ходила, сидела, перемещалась из одного угла в другой. Выступление «Зеркала» услышать не удавалось, подвалы — не лучшее место для акустики, а мы к тому же болтались в первом зале при входе, общались со знакомыми.

Пришла Надя с ребятами из нашей учебной группы, около нее крутился долговязый рыжий парень с Лидинового потока. И Лида появилась, тоже со своими. Я было направился к ней, но тут дорогу мне перегородил долговязый:

— Надо поговорить. Что у тебя с Надей?

Ну вот, начинается. В нашем вузе каждая девчонка под прицелом многих пар глаз. Надя симпатичная, только я про нее почему-то в этом плане не думал.

— Мы с Надей друзья. А почему тебя это интересует?

— Интересует.

— Надо же, а меня не интересует, почему тебя это интересует. Мы с ней только что в театр ходили, и она меня не предупреждала, что она неприкасаемая.

Долговязый наклонился ко мне и сказал очень вежливо и отстраненно прямо в ухо:

— Ну смотри, я тебя предупредил.

Он выпрямился во весь рост и пошagal, как журавль, обратно к Наде, а я заметил, что Лида из своего угла внимательно отслеживает его передвижения. Подойти бы, но нас уже вызывали на сцену.

Подготовка у нас прошла гораздо оперативнее, чем у «Зеркала», все-таки фирменная аппаратура, и она не фонила, как у них. Играли мы самые хитовые вещи, и принимали нас очень хорошо.

— Ну как тебе? — подкатился я к Лиде, когда мы закончили.

— У тебя новая девочка? — она изобразила обиженный вид.

— С чего ты взяла?

— Да вот, говорят, видели.

— А кто говорит?

— Неважно. Так это правда?

— Что кто-то из твоих приятелей видел меня в театре? Ну да, я там с Надеждой был, из моей группы.

— Вот ты какой неверный.

— Я неверный? Ты же сама отказалась!

— Ладно, не оправдывайся.

Я не стал всерьез продолжать этот дурацкий треп.

Ребята начали пробираться к выходу, увлекая Лиду за собой. Она оглянулась, сделала примирительный жест и улетучилась. Надина компания тоже вскоре смылась, а я остался дожидаться окончания концерта вместе с остальными «Муравьями», чтобы забрать аппаратуру, так что объяснять что-то стало некому.

Боевая эффективность

Боря, начальник нашей лаборатории, был разгильдяем, но технические параметры помнил хорошо, а если вдруг что-то забывал, то во внутреннем кармане пиджака у него пряталась шпаргалка в виде записной книжечки с совершенно секретными данными. Благодаря памяти и шпаргалке он виртуозно и, главное, быстро готовил справки для начальства, а благодаря гибкости ума был в состоянии на основании одних и тех же исходных данных генерировать из них противоположные выводы. Если надо показать, что наш новый танк лучше западных образцов, Боря подбирал среди вероятностных параметров такие, где у наших пушек преимущество, да еще добавлял три процента разброса и доказывал на своей модели (в которую он не заглядывал, а заглядывал в свою записную книжечку), что наш танк побьет немецкий «Леопард» или американский «Абрамс». А когда начальству требовалось просить у правительства денег, он минусовал три процента, и оказывалось, что наши Т-62 хуже и, чтобы превзойти пресловутые танки потенциального противника, на доработки недостает запрашиваемой суммы. Со стороны это выглядело шулерской игрой, но что поделаешь, если надо для дела, значит, надо.

Игра игрой, но когда Боря разродился темой моего диплома — артиллерийский снаряд с реактивной коррекцией, я приуныл: но на что еще рассчитывать в такой лаборатории? Я не один, почти все наши получили распределение в закрытые конторы: там платят гораздо больше, и вся наука там. <...>

Ну что ж, пофантазируем на артиллерийскую тему. Артиллерия — бог войны.

А у нас приближался традиционный ноябрьский концерт ко Дню артиллерии, к которому мы давно готовились. Фактически это был прощальный концерт в институте, и надо было что-то решать.

Прощальный концерт

Занавес пошел, и через свет софитов, которые слепили, но окончательно не ослепляли, мы увидели, что не только все сидячие места в актовом зале заполнены (а он большой, на восемьсот мест), но и проход вдоль правой стены, где входные двери, забит людьми, и в конце зала, где киобудка и еще одна входная дверь, тоже толпа. Первые звуки, и народ ревом встречает каждый аккорд, а мы выдаем все, на что способны. Чередуем более лирические, где солирует Саша, и крутые, в которых поет Влад. И несколько Славиных песен, и, наконец, коронные «World without Love» Пола Маккартни и «Осень» — все народ принимает бурно, с энтузиазмом.

Мы заканчиваем самой нашей убойной песней — «Monkberry Moon Delight». Народ заводится по полной: кричат, встают с мест, топают, хлопают — скандируют. За кулисами с красным лицом и выпученными глазами дергается доцент Томсинский, отвечающий за самодеятельность перед парткомом, скрещивает поднятые руки: «финиш». Мы видим его боковым зрением, но продолжаем играть, хотим доиграть и поставить ударную точку. Вдруг ближе к концу песни что-то странное происходит с акустикой, шквалом нарастают искажения, и голосовой усилитель отрубается. Томсинский, пользуясь ситуацией, резко закрывает занавес. Народ в зале на секунду затихает, потом рев возобновляется. Мы пытаемся включить усилитель снова и снова, но он каждый раз отключается от какой-то перегрузки. На сцену к нам на помощь прибегает самый большой спец по усилителям барабанщик «Аргонавтов» Петя Жеромский, но и он бессилен, ничего не может сделать. Томсинский выходит из-за занавеса к публике и объявляет, что по техническим причинам концерт окончен, а вернувшись к нам, орет:

— Сваливайте со сцены!

Занавес больше не открывается, публика постепенно успокаивается, шум умолкает, и зал пустеет. Как школьники, наказанные за плохое поведение, мы выключаем аппаратуру и начинаем сматывать провода. Собираем аппаратуру и спускаем ее за сцену, в артистическую, и тут Стец негромко говорит:

— Мужики, я нашел иголку, когда сматывал провода, кто-то проткнул насквозь провод от голосовой тумбы к усилителю, от этого коротыш и перегрузки.

Я даже подумал, что он шутит, так не хотелось верить в злой умысел. Даже если это правда, то выяснить, кто это сделал, невозможно. Лучше не думать об этом.

И все же это успех. После концерта за сценой царит эйфория, начинается паломничество знакомых и незнакомых фанов. Лида появляется под конец, когда нас уже поторапливает охрана. Ну как же, даже не посидеть, все-таки последний раз в институте играли.

— А что, ребята, может, зайдём ко мне, — неуверенно говорит Слава. — Как-нибудь разместимся.

Я набираюсь храбрости, подхватываю Лиду и говорю:

— Лид, а у меня квартира пустая, пошли ко мне? Брат ключи оставил, я тебе его коллекцию пластинок и книг покажу, он всю жизнь собирает. Они с женой уехали в отпуск.

Она не удивляется и не смущается, а весело отвечает:

— Надолго?

— Через две недели возвращаются, — говорю я, сдерживая ликование.

— Ну так мы еще успеем, давай сейчас с ребятами посидим.

Дойти до Славы — несколько минут. Успеем, успеем, успеем — звучит у меня в голове. Меж тем Славкина комната наполняется людьми, гвалтом, смехом. Кто-то

вспоминает сегодняшний концерт, кто-то рассказывает о своей практике, кто-то — анекдоты из студенческой жизни.

В последние месяцы Слава разошелся и приносит на репетиции новые песни, одну за другой. Музыка интересная, особенно в нашей аранжировке, но поэтически они мне кажутся слабыми: березки, колокольный звон, купола. Вот и тут:

Словно липовый мед, в небе голубом
Золотая льется песенка чистого стекла,
Нежный звон плывет. Серебристым льдом
В вышине поют колокола.

— А что, стилизуем припев под колокольный звон, это сейчас модно, — киваю я Вове, а Слава продолжает:

Словно чудо-сказка, словно дивный сон,
Этот малиновый звон, малиновый звон...

— Здорово, и я слышу дзынь-дзынь, — подхватывает Вова мой тон.

— А мне нравится, — застывает Лида, — образы живописные, есть над чем подумать.

— Над чем тут думать? — вскипаю я. — Вообще на слова плевать, кто их разберет, главное — музыка. Мелодия симпатичная, обработаем и сляпем а-ля рюс.

— Ну и что, что а-ля рюс, нельзя же все время на английском, надо что-то и свое!

— Лидочка, не спорь с Лёшиком, знаешь, какой он авторитетный, — язык у Вовы уже слегка заплетается, — он научную статью пишет в журнал.

— Ладно тебе трепаться.

— А для песен главное не голова, а сердце, — не сдается Лида.

— Ты что считаешь, что у меня сердца нет?

— Лидочка, ты его не знаешь, не ходи к нему на встречу, не ходи, у него же гранитный камушек в груди! — поддает жару Славка. — Он за тобой по пятам ходит, но ты не верь его обманчивым словам, он статьи пишет, а не песни, потому что каменное сердце не болит.

— Хорошо, Слава, спой что-нибудь еще, — пробую я переменить тему, — устроим твой концерт, подумаем над твоими образами.

В белоснежной зыбкой пене, — затягивает Слава, —
принакрыт фатой туманной рани,
Старый холм,
свидетель были дальней,
Крепко спит, объят росой,
муравой присыпан в поле брани
Грозный полк,
участник сечи лютой, давней.

— Кто там спит, кто так долго спит, — машинально взывает Саша лирическим тенором, — тем курганом смятый, в прахе?

— Хмурый гунн, или быстрый скиф, или русский пахарь, — вступаю я вторым голосом.

И мы рявкаем хором:

Каждым летом маков полевых
холм
рубином светит лепестков.
Пусть же всех курганов твердь
будет ложем
лишь цветов.

— А славно у нас стало получаться, народ остался доволен, теперь неизвестно, когда еще сыграем. Славка, тащи фотоаппарат! Давай снимемся на память!

Фотографируемся, поем песни, болтаем, вспоминаем, расходимся совсем поздно, только-только на метро поспеть.

А на следующий день, когда я звоню Лиде, мне говорят очень сухим тоном:

— Извини, я забыла тебя предупредить, сама в тот момент не помнила, у меня путевка по «Золотому кольцу». Вечером уезжаю. Звони в конце месяца. <...>

Лидина защита

Перед Новым годом мы играли на заводе «Прогресс», потом в двух студенческих общежитиях. Пару раз перезванивались с Лидой, но о встречах и речи не было, да и встречаться было не с руки, а потом началась горячка, до окончания института оставались считанные недели.

К середине февраля вывесили расписание, моя защита была назначена на двадцать третье. Двадцатого я приехал в институт на последнюю консультацию, и на меня налетел Славин одноклассник Генка, один из наших фанов, и с ходу затараторил:

— Слышал, у Лиды сегодня защита? Давайте всей компанией ее поздравим? Слава, еще ребята из нашей группы.

Меня удивило, что у Лиды так много друзей в Славинной группе и, вообще, откуда такая осведомленность, она же на другом факультете, но идею, конечно, поддержал. Генка сказал, что нужен букет, скинулись, он сбегал, купил, и мы пошли встречать Лиду к аудитории. Когда она вышла — радостная, с отличной оценкой, Генка вручил ей цветы перед всей толпой и потребовал праздника:

— Едем к тебе, будем отмечать.

Поначалу Лида категорически отказывалась, но Генка насакивал, оттащил ее в створку, они о чем-то поспорили, и она сдалась, все поехали к ней, и я со всеми, но чувствовал себя не комильфо, выходило, что мы как бы напросились.

По дороге купили в гастрономе вина, каких-то сосисок, хлеба, сыра на закуску, Славу я потерял из виду, меня все время опекал Генка. Лида жила в старом доме, квартира на третьем этаже, длинный узкий коридор и несуразная планировка намекали на то, что эта отдельная квартира когда-то была выгорожена из большой барской. Стол накрыли в просторной кухне, выпили стоя — за успешную защиту, за окончание института, за диплом, все быстро набрались, прямо здесь же и закурили. Лида то появлялась, то исчезала. Я вышел в коридор перехватить ее, и тут Генка меня нагнал, схватил за рукав и, дыша перегаром, начал пьяным голосом:

— А зря все-таки Слава слинял. Это он из-за тебя. Напрасно он так.

Я удивился:

— Из-за меня? Каким боком?

— Ты что, не знаешь? Они же с Лидой женятся.

Я обомлел, кровь бросилась в голову. Я рванул обратно по коридору в сторону кухни, увидел там Лиду, схватил за руку, вытащил в коридор:

- Это правда?
- Что правда?
- Вы со Славой женитесь?
- Ну да, — ответила она невозмутимо.
- Как это могло случиться?
- Ты же мне не предлагал замуж, а он предложил.

Я был оглушен. Сказать мне было нечего, я повернулся, сразу оделся и вышел. Шел через Александровский сад к метро «Горьковская», меня душила обида. И это называется лучший друг! Ладно, Лида, она выбирает, не видно, чтобы была влюблена, может быть, ищет какую-то выгоду, потом, ее обидели, и, вообще, она женщина, их не разбираешь. Жениться и правда я не был готов. Даже не думал об этом, не было же никакого ощущения, что мы понимаем друг друга, тем более семья — это на всю жизнь. Она сама говорила, что мы не подходим друг другу, и я давно знал, что тут она права, но долгое время чувство к ней было как наваждение, от которого я никак не мог избавиться. А сейчас что? А ничего. Сейчас даже удивительно, как отрезало. Качалось, качалось и отломалось.

Но Слава! Я был так возбужден, что даже не заметил, как прошел мимо метро, как пустился пешком через Кировский мост. Летний сад, Фонтанка — все мои родные места. С разгона пересек Невский, и уже ничего не оставалось, как идти пешком до дома. Я же ему столько рассказывал, и про детство, и про родных, и даже про Лиду, а он слушал, но ни звуком себя не выдал. Получается, что при этом он строил свою интригу? Как же так, просто Яго какое-то коварное, неужели такое бывает в жизни? Хорошо еще, не отравил.

Ритм быстрой ходьбы успокаивал, отвлекал, подчинял собственной логике. Через почти два часа я уже подходил к Нарвским воротам, промывав все знакомые марши и перейдя на теноровые арии. Вместе с усталостью меня накрывало ощущение дурацкого фарса. Вот уж оперные страсти в духе Верди!

Душить никого не будем, лучше так: Слава мстит за то, что я смеюсь над его стихами, а я подойду и скажу: «Онегин, вы больше мне не друг».

Скрипка у меня всегда наготове. Встану за клавиши и проткну его смычком!

Ну уж нет, ансамбль из-за него я не брошу. Будет глупо развалить из-за женщины самое важное, что у меня есть в жизни.

НА РАСПУТЬЕ, 1973

«Муравьи» тоже защищаются

Рулатэ, рулатэ, рулатэ, рула,
Рулатэ, рулатэ, рула-ла-ла, —

пропела Надья, помахала мне рукой и кинулась развешивать плакаты. А я сидел в группе поддержки за спинами экзаменационной комиссии. Кажется, своей скорбной физиономией мне здорово удалось поднять ей настроение. И что она хотела мне сообщить своим мурлыканьем? И как она успела все разнюхать! Вот девчонки, ничего от них не скроешь! Конечно, у них со Славкой свои отношения, они же в Казахстане в стройотряде вместе были, наверняка этот змей ей все растрепал. Ну и черт с ними, меня это больше не интересует.

Через полчаса мы уже выходили из аудитории.

— Ты неправильно защищалась, — мстительно сказал я. — Ты руками махала и говорила: «Вот на этом плакате, вот на том плакате». А надо было вырезать из ватмана прямоугольники десять на двенадцать, жирно написать номера и прикрепить к плакатам. Если говорить: «На плакате номер семь, на плакате номер восемь», будет гораздо научнее. Мне начальник лаборатории сказал, и я на пятерку защитился.

— А у меня и без того будет пятерка. На вопросы я ответила? Ответила! Им и спросить-то нечего, все равно никто ничего не читает, кроме руководителя, ну разве что рецензент. А что, говорят, твой диплом на какую-то конференцию выдвинули?

— Можешь списать это на двадцать третье февраля, у комиссии было хорошее настроение, их в соседнем отделе ждал праздничный стол.

— Ну так здорово же, чего ты куksiшься? Выше нос!

Очередной дипломник, не владеющий тайной научного метода защиты проектов, уже отдувался перед комиссией в аудитории, и в коридоре толпились следующие по очереди, а Надя, стоило только упомянуть праздничный стол, вспомнила, какая она голодная, и потащила меня в столовую. Перед входом мы нагнали Сашу и потащили за собой. Я слегка удивился, что он готов пообедать, обычно он покупает две шоколадки на ежедневный рубль, который дает ему мама, но тут, видимо, ему очень хотелось пообщаться.

Мы нахватили еды и уселись обсуждать результаты. Все наши защищались прекрасно, практически у всех были отличные оценки.

— А знаете, как Вова отличился? — спросил Саша.

— Ты про Дубну? — По курсу гуляла история о Вовиной фантастической операции «Распределение». Он объехал все подмосковные оборонные конторы, охмурил всех кадровиков и привез шесть приглашений на работу с предоставлением общежития. Затем он разграфил лист бумаги, нарисовал таблицу с параметрами каждого потенциального работодателя и применил метод взвешенных оценок. Всем параметрам был присвоен удельный вес: работа по специальности — пять десятых, близость к столичному городу — три десятых, близость к природе — одна десятая, продовольственное обеспечение — одна десятая, в сумме — единица. Победила Дубна. Но все ж это был не предел, в Дубне ему зависнуть не хотелось, мы знали, что Ленинград был ему милей.

— Дубну уже проехали. Представляете, он на английском защищался, а защита на иностранном приравнивается к диплому с отличием. Вот жук! — с восхищением говорил Саша. — Интересно, как ему удалось так стремительно выучить язык? И саму работу надо же было перевести!

— Ну так пока «Битлз» пел, вот и выучил.

— Не, он читал доклад по бумажке, а комиссия ему подпевала: «О, гё-ё-ё-ёрл». И все внезапно овладели английским.

— Важно, что поняли друг друга!

— Вот он, главный итог обучения, — подытожила Надья, — умение найти общий язык с начальством.

— А сам ты-то как? — спросил я. — Отзыв получил?

— Да я как раз от рецензента иду, он пятерку поставил, а руководитель, гад, — тройку.

— Саня, что такое? Какая тройка? — возмутилась Надя. — Я ничего не знаю.

— В том-то и дело. Я же несколько лет эту ракету на курсовых по частям проектировал, ну и думал, что сложу все вместе и получу диплом, а оказывается, надо было к руководителю ходить, советоваться, спрашивать что-то, — смущенно, словно оправдываясь, говорил Саша.

— Ты что, принес ему готовый диплом? Полгода не появлялся — и вот те на, здравствуйте, я ваша тетя?

— Ну как-то так.

— Да. Саша оказался у нас мастером устраивать себе приключения на ровном месте, — пожаловался я. — У него что-то похожее и с практикой было.

— Ладно, Саня, — сказала Надька, — тебя все знают и любят, и все у тебя будет хорошо. Я за тебя спокойна.

— Пошли, Надежда, на кафедру получать твою «пятерку», — прервал я ее, и мы отправились по лабиринтам в обратный путь.

Через три дня Саша защищался, а вечером мы играли на Выборгской стороне в кафе «Ровесник», знаменитом своими рок-фестивалями (в городе его называли «Серая лошадь»). Саша запаздывал, и был большой нервняк, к тому же я не мог смотреть на Славу. Он со своей басовой гитарой раньше стоял с моей стороны сцены, а теперь переместился на другую и тоже отводил глаза, и мы, как мне казалось, неявно для остальных игнорировали друг друга. Стец с ритм-гитарой сместился ближе ко мне, на звук это никак не влияло, и вряд ли они специально договаривались, все, я надеюсь, произошло естественным путем, и хоть как-то можно было сконцентрироваться на музыке.

Саши все не было, и думали уже начинать со второго отделения, но тут, буквально за минуту до начала, он возник на сцене с довольным видом.

— Порядок, четверку поставили. — И все пошло обычным путем. Но мне казалось, что выступление прошло не очень удачно, — возможно, что-то уже успело разладиться.

Лафе конец

Студенческие годы — настоящая лафа, и вот они закончились. Пять с половиной лет, когда зарабатывать не требовалось, когда родители кормят, когда стипендию платят, не бог весть какую, но некоторые даже пытаются на нее жить, — эти годы прошли. Учеба была не напряжная, на все можно было найти время, летняя стройотрядовская или гастрольная жизнь воспринималась как романтическое приключение, да еще и деньги платили — идеальный инкубатор для рок-группы. Учебное расписание и деканат невольно заботились о стабильном составе и сыгранности, само собой росло музыкальное мастерство, нам оставалось только крепить техническое оснащение, и сейчас мы были на пике формы. И что дальше?

Теперь от нас требовалось срочно определяться с работой, выстраивать карьеру, обзаводиться семьями. Можно было бы и с музыкой совмещать, как и раньше, но тут все начало расползаться.

Вдруг выяснилось, что работать конструкторами никто не хочет. Что бы это значило? У всех оказались амбиции и возможности? Никому не светило корпеть в закрытых конторах, где, как мы уже догадывались, новациями и не светит? Только Влад устроился на работу конструктором через месяц после окончания, ему надо было кормить семью, ну и я — а куда мне деваться, хотя меньше всего мне хотелось работать под папиным присмотром. Стец пытался остаться на кафедре и на работу не вышел, ждал места; Саша ради свободного времени для музыки и двухмесячного отпуска летом перераспределился в вуз; Слава нашел многообещающую работу по техническому обслуживанию самолетов.

В конце февраля каждый из нас подписал обходной лист, получил в отделе кадров диплом, и мы на месяц разъехались кто куда. Саша с Владом поехали на заработки на стройку, Вова со своими общежитскими — на другую, Стец, как всегда, исчез в неизвестном направлении, Славой я не интересовался, а мне на работе дали горящую

путевку на Черное море, в снежную и слякотную Одессу. Весной собрались, но не все. Вова прислал письмо из поселка Лабытнанги о том, как он с общежитскими друзьями зарабатывает деньги в Коми, когда вернется — неясно.

Вовино письмо я показал Саше, и он, с присущим ему здоровым пофигизмом, дал дельный совет:

— Напиши, пусть приезжает, определимся по месту.

В Питере мы были нарасхват, на лето никаких новых вариантов не было, и от идеи Адлера мы отказываться не собирались, пришлось взять нового ударника, Витю из «Романтиков», которые как раз распались.

А еще до лета у нас появилась солистка Галя. У Влада вызрела идея сделать арию Магдалины, и нужен был хороший женский голос. Высокая тоненькая блондинка с длинными распущенными волосами и с хрустальным, чистым сопрано, Галя выглядела настоящим библейским персонажем. Получилось очень кстати, и в Адлере мы оказались в новом составе.

Все было, как раньше: Адлер как Адлер, танцы как танцы. Не было с нами Вовы, не было Славы и не было Стеца, он втихоря женился и тоже, конечно, не поехал. Но оставались толпы девочек, бегающих за Сашей, с его голосом, застенчивой улыбкой и умением краснеть перед тем, как сдаться очередной поклоннице, было море, и был ежедневный пляж.

Мы пока не рассчитывали на сильное развитие, для нового состава ария Магдалины стала уже большим достижением. Ее встречали с таким бешеным энтузиазмом, что в остальное время блондинка Галя на танцплощадку для безопасности не спускалась, а сидела в глубине сцены сбоку и только иногда мелкими шажками подходила к микрофону, чтобы подпеть в многоголосных номерах. А опасаться приходилось, бывали случаи...

Нас теперь всюду приглашали как местных знаменитостей: на Красную Поляну, на озеро Рица, бывшую дачу Сталина. Хозяева — серьезные люди — выставляли шашлыки и дефицитные вина «Черные глаза» и «Лидия», а мы отработывали: пели под гитару. Это была атмосфера алаверды, атмосфера теплого кавказского застолья и, по сути, очень близкая к ресторанной. Даже как хобби меня это совершенно не воодушевляло, танцы даже лучше, по крайней мере, нет пьянки, нет личной зависимости. До осени можно расслабиться, но потом надо что-то решать. Я знал только, что Саша любит петь, Влад любит музицировать, а я люблю выступать, хоть со скрипкой, хоть без. <...>

Не учи ученого

— Как удачно, что я подписал вам направление на матмех, — сказал Боря мне и еще одному молодому специалисту с забавным прозвищем Кошелек, с которым мы пошли получать второе высшее. — Сколько вы будете там учиться? Три года? Значит, объявляем на три года новый НИР «Вероятностный анализ надежности боевых машин».

А пока я готовился к традиционному Дню дурака. Я про этот День дурака слышал от отца, еще когда учился в школе. Четыре с половиной тысячи научно-технических работников делегировали самых талантливых в восемь «дурацких» команд, которые готовили свои программы весь год, а на 1 апреля триста человек выезжали соревноваться в институтский пионерлагерь под Лугой. Творческий процесс шел в общежитии, курилках и на лестницах постоянно, с редкими перерывами на работу, и, конечно, мне не терпелось войти в их ряды.

Теперь четыре вечера в неделю я ездил на 10-ю линию Васильевского острова на мат-мех, а еще два вечера на репетиции — на Петроградку в ЛИТМО. Туда в конце концов перераспределился Саша, и благодаря этому мы получили там новую площадку. В отличие от Военмеха здесь было много девочек, и ряды наших поклонников пополнились многочисленными поклонницами. Некоторых, особенно пристрастных лично ко мне, я даже стал отличать.

— У нас тут новые дипломницы завелись, — сказал мне Кошелек, — из ЛИТМО, одна девочка говорит, что знает «Зеленых муравьев».

Он уже год как работал, жил в городке неподалеку от НИИ и знал там всех и всё.

— В ЛИТМО я знаю только одну девочку, — я назвал ее имя.

— Представь себе, и эта девочка говорит, что знает только тебя. Она поет у нас в хоре, а ты им нужен, чтобы отрепетировать номер.

Надо же какое чудо! Пули столкнулись.

НИИ располагался в получасе езды от города, автобус сворачивал с магистрали западного направления, миновал институтский городок, переваливал по мостику через небольшую речку и останавливался возле главного корпуса.

Со стороны проходной к корпусу примыкал глухой забор, окруженный поросшей мхом канавой со стоялой ржавой водой. За забором в глубину таинственного пространства, заросшего мелким кустарником и огороженного колючей проволокой, уходил танковый полигон. Я на этом полигоне никогда не был, туда нужна была еще одна степень допуска. Он, видимо, был настолько большой и глухой, что ни звуков стрельбы, ни рева моторов оттуда не доносилось, иногда только к проходной из мелколесья, со стороны полигона, забредали грибники с тяжелыми корзинами и взбадривали дремавшую охрану.

Полигон был терра инкогнита, казалось, что он застыл в медитации. Вся жизнь сосредоточивалась в инженерных корпусах постройки хрущевской поры с ее «элегантной» коридорной системой и просторными комнатами с огромными, хорошо продуваемыми окнами. Все комнаты закрывались на кодовые замки, но по бесконечно длинным коридорам из отдела в отдел, из лаборатории в вычислительный центр, из вычислительного центра в столовую, из столовой в курилку непрерывно сновали молодые, пышущие здоровьем научные кадры обоих полов, и никакие силы не могли помешать им сталкиваться и обмениваться, переругиваться и перешучиваться, договариваться и назначать.

Я еще не вполне подключился к этой громокипящей шине данных, но уже о многом слышал, еще о большем догадывался и надеялся в скором времени полноценно влиться в ее жизнь. Кое о чем из происходящего можно было узнать из проработок на профсоюзных собраниях или заседаний четырехугольника отдела или даже выше, нашего «куста» отделов, а что-то рассказывал Кошелек.

Большинство сотрудников жили в небольших городках и поселках вокруг НИИ. Огни большого города блистали на горизонте, но были не очень доступны семейным людям, и наверстать то, что казалось упущенным, естественнее всего было в своем близком кругу. Дополнительный оптимизм внушало соображение, что гигиеническая безопасность была в какой-то степени гарантирована.

Я уже немного приобщился к жизни нашего городка, но еще не нашел применения своим способностям, чтобы наравне со старожилами принимать участие в этом театре. И вот теперь я шел к королеве нашего куста, которая жила тут же в семейном обществе для молодых специалистов с мужем и маленькой дочкой в квартире на первом этаже. Королева блистала красотой и необыкновенными талантами и была ключе-

вой фигурой в нашей команде на Днях дурака. У нас в нее были влюблены все, от мала до велика, и я уже тоже был влюблен и мечтал присоединиться и к команде поклонников, и к дурацкой команде, чтобы занять достойное место в иерархии.

Еще на подходе я слышал голоса ансамбля, пытавшегося петь канон. Басы начинали. Следом вступали сопрано, сразу сбивались, и тут же сбивались басы. Вместо ясного и четкого контрапункта получалась невнятица. А дело было в том, что один женский голос не попадал в тон.

Канон — не такое простое дело, как может показаться несведущему человеку. Но я знал, как его наладить: с женской группой и мужской группой надо репетировать по отдельности. А объединять только тогда, когда все будет выучено намертво!

Не учи... — должны начинать сопрано.

Не учи ученого... — вот когда следует подключаться басам.

Теперь я был уверен, что здесь мне тоже светят новые выступления перед большой аудиторией.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА, 1975

Прекрасная Елена

Выходной день без танцев и репетиции тянулся медленно, да мы летом практически и не репетировали. Встали поздно, сходили в кафе «Минутка», потянулись на пляж. Поплавали. Саша любил заплывать за буйки, и чтобы непременно спасатели по громкоговорителю призывали его к порядку. Влад в своих темных очках стильно качался на волнах со сложенными на груди руками и медитировал, я иногда качался с ним за компанию, иногда нырял и плавал под водой, Толя рыскал по берегу в поисках знакомств. Толя, мой друг еще с седьмого класса, прибил к нам в этом году после того, как развелся со второй женой. Мы снова были в Адлере, уже в третий раз, на танцплощадке по прозвищу «Яма», у Славика Аракеляна, директора клуба «Строитель». Ездили сюда с пятого курса, только одно лето пропустили. Там же, в клубе, и жили.

Солнце клонилось к закату, впереди нас ждал пустой вечер, можно было идти звонить родителям — этот еженедельный ритуал был железобетонно вписан в мое расписание. Междугородный телефон в Адлере был только один, в центре города. Мы с Толей вышли на главную улицу, как водится, имени Ленина, и, как водится, вдоль нее вытягивался весь поселок. Позади трудился железнодорожный вокзал под названием «Станция Адлер», где-то впереди предполагалась мандаринная Абхазия, а прямо перед нами торопливо пробежала речушка Херота. Мы неизбежно форсировали ее по мостику несколько раз в день то в кафе, то по дороге на пляж, но все еще не могли договориться, где ставить ударение в этом топониме. Дальше по левую руку тянулись частные домики, по правую — за садом и помидорным полем плескалось море, следом надвигался центральный парк, за ним шла череда санаториев и пансионатов, затем в гуще зелени начинали проглядывать несуразные постройки, и, наконец, вырастал Дом быта.

Наш путь лежал направо и выводил на ухоженную площадь перед зданием районной администрации и типовым магазином-стекляшкой с рестораном на втором этаже. Газетный киоск, телефонная будка, небольшая очередь, но ожидание могло растянуться минут на тридцать. Мне было не уклониться: моего звонка ждали, а Толе звонить было некому, он увязался со мной за компанию. В курортной очереди обычно немного развлечений, но нам повезло: позади нас пристроились две девчушки.

- Молодые люди, вы последние?
- Какие симпатичные, вы звонить, что ли?
- Нет, конечно, с вами поболтать.
- Классная идея, давно ни с кем не общались.
- Чувствуется, что вы только нас и ждали.
- Ух ты, бойкая какая, наверно, из Москвы!

Диалог вели Толя и та, что поменьше, кажется, очень заводная. Ее спутница по-малкивала. Я в такие дурацкие разговоры тоже старался не ввязываться.

- Слышь, Лена, мы из Москвы! Сам ты деревня, мы из Ленинграда.
- Надо же, какое совпадение! И мы из Ленинграда! Это надо отметить, чего вечером делаете?

- Чего-чего, ничего. Ужинать пойдем, потом домой.
- Скучаете, значит. А мы на танцах играем, с нами весело, не соскучишься. Приходите завтра, мы вас бесплатно проведем, билеты дорогие!

Толя как раз стоял на воротах и следил, чтобы контролеры не пропускали безбилетников, потому что нам причиталось пятьдесят процентов от сбора.

- Скажешь тоже, танцы! Мы на танцы не ходим. Не хватало еще схлопотать по сусалам.

— А чего вам бояться? С нами вам бояться нечего, у нас там своя охрана, а потом мы вас проводим. — Охрана — это были он да Мишка, еще один наш фанат, у которого невесте два дня назад передний зуб выбили, и они вчера улетели в Ленинград протезироваться перед свадьбой. — Мы лучшая питерская группа из Военмеха — «Зеленые муравьи», слышали?

Толя ни на чем не играл, он, вообще-то, после техникума работал мастером на бензоколонке и любил делиться с нами своим богатым жизненным опытом.

- Что за звери такие? Лен, ты «Зеленых муравьев» знаешь?
- Что-то слышала, но нет, не знаю, я на танцы не хожу, — подала наконец голос темноволосая, на редкость симпатичная Лена.

— О-очень знаменитая у вас группа! Лена, между прочим, у нас на четвертом курсе Военмеха.

— И много потеряла, чулок, наверное, вяжешь по вечерам? Ладно, не расстраивайтесь, не все потеряно, шанс еще есть, — сказал Толя. — Мы вас просветим.

Он уж слишком напирал и хвастался, но меня тоже задело, что Лена про нас не знает, и я не удержался, вступил в разговор, начал расспрашивать ее об учебе, о преподавателях — не хотелось потерять девчонок из виду.

Потом подошла моя очередь звонить, потом девочки по очереди разговаривали с Ленинградом, а Толя продолжал их по очереди уламывать, и маленькая ему явно симпатизировала, но Лена строго скомандовала:

- Зоя, нам пора, у нас столик заказан.
- Девчонки, придете завтра?
- Там видно будет.

Мы вернулись в клуб, и я стал жаловаться ребятам, что познакомился со студенткой из Военмеха, практически Еленой Прекрасной, и она не знает «Зеленых муравьев». А всего-то два года прошло после того, как мы ушли из института.

На следующий день мы начинали, как обычно, в семь вечера. В это время уже темно, мы поднимались на пустую сцену, заносили усилители, провода и микрофоны, вытаскивали из сценической кладовки тумбы, подключались. Звуки электроники постепенно заглушали стрекот цикад и кваканье лягушек со стороны Хероты, которая

плескалась прямо за сценой. По периметру площадки зажигались фонари, народ потихонечку собирался, включались прожектора, освещая сцену и как бы отделяя нас световым занавесом.

Подстраивая гитару, Влад тихонько говорил:

— Ну и чего расстраиваться, мало, что ли, девчонок?

— Нежели такие симпатичные? — сочувственно отзывался клавишник.

Два года назад я уступил свое место за органом, потому что некогда было подерживать форму, и сбыл ее, казалось, в хорошие руки: старые друзья из Омска попросили за мальчика, Олега Гусева, который только что приехал в Ленинград и поступил в музучилище. Через полгода Олег резко ушел, и вместо него за инструментом теперь сидел подающий надежды пианист Сережа Михайлов. В Макаровке (в Высшем морском училище торгового флота, куда нас пригласили играть на танцах после ЛИТМО и где мы играли два раза в неделю последние полтора года) в перерывах Сережа виртуозно исполнял Скрябина на концертном рояле. Ему не было еще двадцати, и он был весь в музыке, но уже носил кудри белые до плеч.

— Симпатичные и неглупые, — кивнул я своему наследователю.

— А на танцы-то не ходят, а? — усмехнулся ударник, устроился поудобнее и выдал свой коронный проход палочками по барабанам, пробежался по тарелкам и финальную точку поставил ножной pedalю по «бочке». Публика оживилась, зааплодировала, намекая, что пора начинать.

Классный ударник был этот Кузнечик, он сменил Витю Дубровина, которого мы взяли вместо Вовы. Вова все же не поехал в Дубну, а нашел место на Ижорском заводе в Колпино и больше с нами уже не играл. А Витю Дубровина после нашего феерического выступления в клубе Политехнического института сманили в профессионалы. Кузнечик работал слесарем на заводе в кузнечном цехе. Летнего отпуска ему не давали, и он уволился и, похоже, тоже нацеливался в профессионалы. Черт знает, как нам удавалось сохранять форму и даже развиваться, делать новые вещи: и Саша, и Влад, и я всерьез работали, на музыку оставалось совсем немного времени.

— Хорошие девочки сидят дома и вышивают крестиком, — съехидничал Влад.

Я сказал в микрофон:

— Здравствуйте, друзья, мы начинаем сегодняшний вечер, — сухо кивнул Владу и пошел в глубину сцены, а Влад принялся забухивать знакомую мелодию. Зазвучал ее почти шамански назойливый ритм, и один за другим к его лид-гитаре присоединялись другие инструменты: орган, барабаны, бас-гитара. Это было вступление из «Smoke on the Water» из «Deep Purple», которую знали уже все и которая никогда не надоедала.

Потом пришла наша с Сашей очередь солировать.

— А мы хорошим девочкам серенаду споем, — застенчиво улыбнулся Саша и пошел к микрофону. Я подошел к другому. Они с Владом поменялись гитарами, и под заданный ударником ритм мы запели «World without Love». Эта простенькая мелодия давала возможность проявиться нашему теноровому дуэту. Мы пели то в унисон, то расходились в терцию, Сашина гитара эхом вторила нашим голосам, прорезая орган, фон, в проигрыше гитара уходила в тень и давала солировать органу. Мы сто раз ее исполняли, и каждый раз это было как впервые.

Сегодня мы опасались за хороших девочек, если они, конечно, придут. Плотная толпа заполняла танцплощадку, в основном это были отдыхающие, но были и местные: греки и армяне, они здесь устанавливали свои правила, в отличие от другой танцплощадки в центре Адлера, где рулили «русские». Драки бывали и там, и там, и считалось, что здесь бьют «русских», а там «черных», но нас это не касалось, по неписаному пра-

вилу предполагалось, что музыкантов не бьют. Мы наших местных отличали по наглости и безнаказанности, иногда даже кивали в ответ на их приветствия, но общаться с ними опасались, чувствуя за ними силу, но и они нас не трогали. Мишиной невесте не повезло, потому что она сидела отдельно, далеко от входа, пока ее жених стоял на контроле, а кто-то из джигитов позвал ее танцевать. Она один раз отказала, другой отказала, а это считалось оскорблением, на третий раз он сразу двинул ей в зубы. Миша разыскивать обидчика даже не пытался: силы были неравны, а сразу увез в Ленинград. Если девочки придут, надо держать их поближе к сцене.

Теперь Влад пел «Mrs. Vanderbilt» Пола Маккартни и группы «Wings» из альбома «Band on the Run». Это была любимая песня Славика Аракеляна.

— Фидель, спой «Хоп-хэй-оп!», — говаривал он, хлопая Влада по плечу со всей силы. Почему-то он упорно называл его Фиделем, хотя с Фиделем Кастро у Влада ничего общего не было, разве что усы.

Песня была страшно популярна из-за простой и ритмичной музыки и припева, под нее было легко танцевать и легко подпевать, Влад выводил ее не мелодичным, как Маккартни, а хриплым голосом, а площадка синхронно подпрыгивала и орала в такт с ним:

Хоп-хэй-оп, хоп-хэй-оп!

Влад всем своим видом выражал бесстрашие, только пение и азартная гитарная техника выдавали его эмоции, зато сильно заводился ударник и творил чудеса за своей установкой. Мы с Сашей и клавишником поддерживали солиста бэк-вокалом.

Вечер шел своим чередом, и Саша уже начинал петь из «Ромео и Джульетты», после которого планировалось исполнить что-то быстрое, чтобы завести публику к концу отделения, и тут я заметил, как Толя, который стоял на контроле, ожесточенно машет руками: девочки пришли!

Плывет луна в вечерней мгле,
И вновь звучат слова любви по ночной земле, —

пел Саша, пока девочки под Толиным прикрытием пробирались к эстраде. Танцплощадка тем временем таяла от звуков Сашиного голоса, и только Влад слегка улыбался в усы, пока мы с Сашей выделялись.

В них сча-а-астья грусть, и в ни-и-их беда —
В жесто-о-оком «нет» и в не-е-ежном «да», —

пели мы на два голоса, а я прислушивался к нашему дуэту как бы со стороны и думал: почему Влад улыбается, разве это может не нравиться?

Девочки добрались до эстрады и теперь с настороженностью поглядывали на танцующих, Саша упивался своим голосом, ничего вокруг не замечая, а Влад, Кузнечик и «юное дарование» со сцены разглядывали пришедших и перемигивались.

Ребята заиграли быстро, чтобы разогреть публику перед перерывом, а я спустился к Толе встретить вчерашних знакомых.

- Молодцы, что пришли, а что так поздно?
- Да мы вообще здесь чудом оказались, потом расскажу.
- Ну, хоть понравилось, вы что-то успели услышать?

— Ой, я прям вся сомлела, — сказала Зойка, — какие у вас тут страсти, поклонницы, наверное, рвут на части, нам что, становиться в очередь? Где тут записывают?

— Вам без очереди, — отозвался Толя.

— Зоя, — одернула ее Лена, — нам скоро уходить, ты же знаешь.

— Да, мальчики, так жалко, только пришли, и сразу уходить надо. Идти далеко, а хоззяйка жуткая, после одиннадцати не пускает.

— Давайте мы вас посадим на сцену, хотя бы послушаете, а после концерта мы вас проводим.

Ребята сыграли еще несколько песен, в том числе ритмичную и мелодичную «Lady in Black» из «Uriah Heep», мы не так давно включили ее в репертуар, там было где показать вокал.

Музыка закончилась, начался перерыв, и я повел девочек на сцену. Ребята подходили и церемонно с ними знакомились, разыскивали стулья, один пришлось вытаскивать из-под клавишника, усаживали гостей. Надо было переключиться и сообразить, как их развлекать.

— Ну, правильно, мы же не собираемся танцевать, — выскочила Зойка первой. — А хотите пожевать, у нас с собой пирожки, мы убежали голодные и в панике даже про них забыли.

— А с чем пирожки? — отозвался вдруг из глубины сцены Саша, пребывавший доселе еще в образе и улыбающийся своей застенчивой улыбкой.

— С саго, других не было, но они вкусные, еще даже теплые. Поешь, ты такой худой, вон как выкладываешься у микрофона, — заботливо заговорила вдруг Елена Прекрасная, разворачивая бумагу и протягивая пирожки. — А нельзя здесь где-нибудь чайку вскипятить? А то сухо, наверное?

— Ммм, — жуя, сказал Саша.

— У нас термос есть, мы можем завтра в термосе принести.

— Ммм, — сказал Саша.

— А зачем вам вообще уходить, у нас тут целый клуб в нашем распоряжении, — осенило Сашу.

— Правда, девчонки, зачем вам уходить, полно же места, — подыграл Толя.

— Лен, а давай останемся, если у них место есть. Мне тоже надоело в детской кровати спать. Я хоть и маленькая, но надо же иногда ноги вытянуть.

— А я думала, что рок не люблю, — успокаиваясь, сказала Лена, — но эта, из «Ромео и Джульетты», мне понравилась.

— Ну, это не совсем рок, — начал было объяснять Саша, но Влад его перебил:

— Пора начинать. Хорошие девочки носят бабушкам пирожки, — сказал он и пошел к микрофону, взял в руки гитару и по-волчьи завыл:

Ау-у-у-у-у-у!

Три шага вниз на гитаре — и речитатив соло, без аккомпанемента, на отзвуке последней ноты:

Кто это там бродит в этом лесу?

Снова те же три шага вниз на гитаре — и снова речитатив:

Ба, да ведь это Красная Шапочка!

Влад совсем недавно выкопал эту песню из репертуара группы «Sam the Sham & the Pharaohs», то есть «Сэм Балабол и фараоны», и я влюбился в нее, слушая запись десятки раз, чтобы ухватить и понять смысл, и все больше очаровывался ироничным и, как мне хотелось бы верить, непошлым юмором. Хорошо он ухватил момент, мы сейчас готовы были бы поиграть немного в волков и даже зубами пощелкать, хотя все роли перепутались, и некоторым волкам захотелось, кажется, сдаться Красным Шапочкам в плен.

Такие глаза сводят волков с ума.

В этот приезд в Адлер мы спали в большом зале. Столы были составлены вместе, на них положены матрасы, образуя огромное лежбище, одно на всех. Речи не было, чтобы вести девочек домой: мало того, что далеко и не пустят, а Зоя и правда мучается там в чуланчике на детской кроватке. На такой крайний случай предложение разделить с нами наше дружеское ложе выглядело совершенно естественно.

Я постараюсь не обнимать тебя
И просто идти рядом с тобой.
У меня такое большое сердце,
Чтобы больше любить тебя...

— С «Муравьями» больше не ночуем. Очень жестко тут у вас, — заявила наутро разборчивая Зойка.

Зойка

На следующий день девочки переехали поближе и до самого отъезда проводили вечера на танцплощадке, а дни с нами на пляже. У Саши с Леной начинался роман, и было видно, что все, что с ними происходило, они делали с оглядкой друг на друга, а до остальных им дела уже не было.

Нам, оставшимся, было немного завидно. Мы сидели на пляже, лениво перебрасываясь картами. Дело шло к вечеру, пора было собираться в клуб.

— Представляешь, два часа на катере — и ты уже в Турции. Хоть бы одним глазком, — сказала Зоя, обдавая меня солеными брызгами и укладываясь подле на гальку. — А там рядом Греция. Здорово было бы на Грецию посмотреть, а?

— Как сейчас помню, Олимп, папаша Зевс в командировке, и мы с Герочкой по кустам шаримся, — вставая, сказал Влад, — пойду охолонусь от воспоминаний.

— Размечтался. И далеко она тебя послала?

— Прямо сю-да, Зо-ень-ка, — Влад осторожно переступал с камешка на камешек в сторону моря, выговаривая в такт, — за зо-ло-тым ру-ном.

— Что ж ты не ищешь руно? — вдогонку ему крикнула Зоя. — Вошел бы в историю аргонавтики.

— А мы и так уже вошли, — сказал я, садясь. — Мы поем про «Аргонавтов».

— Да ладно, кто вас с вашей песней знает.

— Не знают? — я даже немного завелся. — Мы везде в городе играли. И где мы только не играли. В Техноложке, в Текстилке, Водного транспорта, в студгородке. В ДК Газа в зале на восемьсот мест. — Я злился. Ну что она ехидничает все время? Симпатичная девчонка, но слишком уж воображает о себе. — В Политехе играли, в их клубе игра-

ли, на заводах даже, на сейшенах. В Тярлеве, в Колтушах, да много где. Где начальству не догнать, там и играли. И везде толпы. Влад, а помнишь, как мы из Петро-Славянки еле ноги унесли? Нас еще Вадик рыжий туда сосватал.

— Помню, — Влад уже прыгал возле нас, вытряхивая воду из уха, — а перед нами играла начинающая группа, с флейтой и виолончелью.

— Ну да, «Аквариум», мы с ними вместе убежали.

— А за нами «Лотосы», а за ними толпа местных. У «Лотосов» что-то с местными не задалось. Хорошо, поезд вовремя подошел, а то бы всем накидали.

— Из-за девиц небось, как всегда, — поддела Зойка. — Пойте на радио, безопаснее выйдет.

— Да что ты, Зоенька, радио уже «Жизнерадостные ребята» захватили. Знаешь, что нужно, чтобы прорваться? Исаковского с Долматовским петь.

— А слышали? — отозвался клавишник Сережа. — Исаковский совсем недавно умер. Я-то думал, он уже давно товошь.

— Когда-то мы играли его «Одинокую гармонь», но не пели. Включишь радио, обязательно на «Катюшу» наткнешься. Интересно, кто кого переживет — песня или реактивная установка.

— «Летят перелетные птицы, — уморительно запела Зойка. — В осенней дали голубой». — Перелетные птицы переживают, вот что.

Не нужен мне берег турецкий,
Чужая земля не нужна.

Очень актуальная песня в нашей стране. Сам-то он много чего перевидал, а нам не велит. А я бы поехала, один раз живешь. Обидно так и не посмотреть своими глазами, что в мире делается.

— Зоенька, не будь злючкой, у него много хороших песен, — вступился Влад. <...>

Эпилог

Девочки уезжали.

И для нас сезон заканчивался, танцплощадка начинала пустеть: народ разъезжался по домам к началу учебного года. Играть нам оставалось всего несколько дней, билеты в Ленинград для «Муравьев» были заказаны заранее, через знакомых, и мне непременно нужно было до семи вечера передать им деньги.

Фирменный поезд «Северная Пальмира» Адлер—Ленинград, на котором уезжали девчонки, отправлялся в 17.44. Мне тоже хотелось их проводить, и мы вышли пораньше, чтобы подхватить их с вещами, но, как обычно, барышни завозились, и пришлось ждать, пока они окончательно соберутся.

Дорога на станцию пролежала все по той же улице Ленина, мимо нашего клуба, мимо военного санатория, к переезду и от него дальше к вокзалу. Перед самым переездом Толя сказал мне:

— Слушай, ты нервничаешь и нас зачем-то подгоняешь, а у нас времени до фига. Давай прощайся и иди за билетами, а то опоздаешь, и мы застрянем здесь навсегда.

— Пока, — сказала Лена, — созвонимся, когда будете в городе.

— Свóдите нас в ресторан, — сказала Зойка.

— А у меня как раз день рождения через две недели, — встрепенулся Саша.

— Заметано, — сказали все хором.

— Счастливого пути, — помахали мы друг другу.

Фонари на светофоре перемигивались бело-лунным светом. Парни подняли вещи, чтобы продолжить свой маршрут, а мне нужно было поворачивать обратно в сторону города.

— Эй, — крикнула Зойка, — берегись, назад пойдешь — коня потеряешь!

«Вот заноза!» — подумал я, развернулся и бодро пошагал к центру Адлера. Жара спала, идти было приятно. Кажется, впервые за долгое время я остался один. С Адлером я прощался, эту тему мы исчерпали, я уж точно. Возвращаться сюда больше не хотелось, да и вряд ли получится. Проходя мимо знакомых мест, я смотрел на них так, будто перелистывал страницы фотоальбома.

Стоп-кадр — наша площадка в низине над рекой, перед ней кафе «Минутка». Вове на раздаче поклонница подкладывает лишнюю котлету и закапывает ее в кашу, чтобы на кассе не увидели. Теперь его, наверное, жена Галя закармливает.

Белый лотос, красный мак, роз прекрасная долина
Не заменят, не затмят образ милый твой, Галина, —

этот очередной Славин шедевр, написанный по Вовиному заказу, мы пели в прошлом году на их свадьбе. Жених сидел за барабанами.

Поворот на пляж, следующий кадр: мы следим за самолетами, которые взлетают поблизости. Новые Ту-154 намного более вместительные, а шумят меньше, чем Ту-134. Мы различаем их по звуку, смотрим в небо и ждем Стеца с усилителем. Теперь так за-просто Стец бы не прилетел, у него двойня.

А вот еще картинка: от нечего делать мы строим четырехэтажную пирамиду на восемь персон, в основании — мы со Славой на четвереньках. И где теперь тот Слава?

До семи время есть, успеваю. Жалко, рынок будет уже закрыт, придется завтра еще раз идти в центр, покупать родителям чурчхелу. И подругам на работу надо — Королеве, Маринке, Тоне, чтобы не обижались.

На работу не тянет. Кроме друзей, ничего интересного там не ждет, азарта никакого.

«Назад пойдешь — коня потеряешь»... А может, я еще в этом болоте свою лягушку встречу! Вот еще вешунья, это надо же так сказать: «Кто вас с вашей песней знает». Тысячи человек знают. Кто на танцы ходит, через месяц, конечно, забудут, но в городе, в институте... Пока мы среди самых известных, до сих пор всюду приглашают. Это ведь несколько студенческих поколений. И по работе пересекаемся — встретишь кого-то, кто нас слышал, и будто родные люди.словно всю жизнь мечтали познакомиться, помощь предлагают, от кого не ждешь. К экзамену готовишься-готовишься, а выйдешь за дверь, и все забыто. А тут впечатывается навсегда: сцена, прожектора, сумасшедший ритм. Какое-то волшебство есть в самом пении — не хочешь, а произнесешь: «Мы одной крови». И потом — яркий момент. Будни сливаются, их даже не описать, а яркое впечатление не забыть. Накатит, и вот все перед глазами встает со всеми деталями.

Нет, нас не забудут. Забудут, конечно, но не скоро. Лет через тридцать.

У всех уже будут дети, семьи, всякие переживания. Служебные дела, конференции. Я буду уже доктором. Доктором технических наук.

— Саня, — скажу я. А он всю семью уже замордовал своим пением. Он же не прекратит петь, хоть и главный инженер. — Давай хороший концерт сделаем. — И разве я не готов подпеть и умца-умца на клавишах не сумею сбачать? Но так, с ходу, на сцене нам не сыграть, надо репетировать.

— А давайте выступим на юбилее института. Нас приглашали, но я думал, как-то не солидно, — скажет Вова, а он уже большой человек, начальник главка.

— А кто приглашал-то?

— Да первый проректор, с нашего факультета, горячий привет передавал.

— А, который аппаратуру помогал грузить в Апатитах. Хороший парень.

— И правда, там же уже все свои, — это уже Слава, директор «Пулкова», и мы с ним прошлое давно уже не вспоминаем. У них с Лидой семья, у меня семья.

— Вы правы, мужики, не стоит выделяться перед своими ребятами, приглашают — значит надо выступить, — говорит Стец. А мы сидим у него на веранде в Васкелово. Жены рядом стол сооружают, а Саня уже провода разматывает.

— Раз, раз, раз, — микрофон пробует, — раз, два, три. Гуд бай, май лав, гуд ба-а-ай!

Аппаратура у Стеца классная, он во «Внешторге» заправляет, все по фирме достать может. Сашин голос слышен от Пери до Лемболова. А какая реверберация, закачаешься! Влад уже перебирает струны:

— Ну что, порепетируем? — А он директор Ленинградского отделения фирмы «Мелодия». Если я еще могу из концерта Вивальди сбачать, то он вообще профессионал.

И вот концерт. Мы на сцене актового зала, но морды уже старые, джинсы у всех хоть и фирменные, но на нас не очень-то смотрятся. Мы стоим на подиуме в глубине сцены, а перед нами для прикрытия танцевальная группа Эстрадного театра, они выставили студентов изображать танцплощадку 1970-х годов. В зале невероятные овации после каждой песни, того и гляди, всё разнесут. Господи, все же знакомые, но как постарели, преподаватели совсем старые, кто-то даже рыдает. Ностальгия! Ну а мы на удивление в форме, восстановились, очень неплохо смотримся. Вместе с танцорами. Учись, молодежь! И студентов в зале много.

Мы с Сашей заходим на нашу коронную:

Осень, осень, грустная пора,
Осень, осень, дождь идет с утра,
Заливает...

И вдруг звук обрубается, несколько секунд тишины, мы стоим с раскрытыми ртами, танцоры в недоумении замирают, публика перешептывается.

Я поворачиваю голову в сторону кулис, где рубильник, — на сцене ответственный от парткома, сильно состарившийся доцент Томсинский, а рядом доцент с кафедры истории партии Люциферов. Этот совсем не изменился, даже помолодел, может, его сын? Он-то и дергает рубильник и прерывает наш феерический концерт...

— Эй, — машет руками с другой стороны улицы Славик Аракелян. — Что печальный такой? Не грусти! Подруг проводили? Завтра вам отвальную делать будем, барашка резать будем, шашлык делать будем, подходите к трем.

Мария ЛЕОНТЬЕВА

* * *

Мы так и не сходили на пустырь,
Когда бывали около вокзала.
Нас не любило небо, но кивало
Всей чернотой, засмотренной до дыр.

Вот слепок с памяти, и он почти засох
И затвердел, у края раскрошился.
Мой дом там был, и он почти забылся,
Смешался с небом, как земли кусок.

Я к памяти иду на огонек.
Седьмой этаж. Скорее даже пятый.
Зима снаружи, разгребут лопатой, —
Останется постыдный ручеек.

Но высохнет и он, склон зацветет,
Но это позже все произойдет.

* * *

В зеркале заднего вида
Видно не свет и не тьму.
Кладбища в целом не видно,
Есть лишь преддверье к нему.

Шелестом, шорохом, цветом, —
Зелень для глаза — магнит.
То, что казалось рассветом,
На деле еще предстоит.

Едет автобус как будто
На высоте облаков.
В вечность уходят маршруты.
К вечности я не готов.

Мария Леонтьева родилась в 1988 году. Поэт, археолог. Живет в Санкт-Петербурге. Публиковалась в журналах «Аврора», «Звезда», «Урал», «Москва» и других. Автор книги стихотворений «Свили» (2023). Финалист конкурса к 130-летию В. Маяковского «А вы могли бы?». Ведущая поэтической Мастерской СПСЛ. Сотрудница Староладожской археологической экспедиции ИИМК РАН.

* * *

Блаженно спит горбатый Музеон
У берега Москвы-реки опрятной.
Играют: снега скромный патефон
И в телефон — прохожий непонятный.

Снег в поры забивается и в рот.
На нитях взгляда снегопад висит.
Зима внутри самой себя идет.
В безветрии бессмертие сквозит.

Так вот. На дне реки, в промозглом хрустале
Останется, как спица в тонкой пряже, —
Весь этот миг, очерченный во мгле
Мелком обломанным, рукой озябшей.

* * *

Когда весна, ее инструментарий —
Грохочущий зеленоглазый шум.
Коричневый оттаял планетарий,
Все потому, что я в него спешу.
Канал Обводный, водный и подводный,
Лед скидывает, оставаясь в не-:
В небесном, в неге, в неглиже, свободный,
Но берегами скованный вполне.
Небесных звезд просеивали массу,
Осталась только пыль на рукаве.
Дуй, музыкант, в осипшую пластмассу,
Слетайтесь воробышки под навес.
Бездомных звезд полно над головами,
Созвездий, патентованных на взлет.
Зажатое предвзятыми глазами,
Закрыто небо на переучет.

* * *

Никому не нужна твоя нежность, никому не нужна.
Птичья песня печальная далека, но слышна,
Через двор — видно издали — медленный кто-то идет,
И над ним в небе облако неторопливо ползет.
Скрыто небо за облаком так, что не видно ничуть.
Человек неизвестный идет, продолжает свой путь
До утра, до огня, до намеченной точки, пешком.
Освещает всю жизнь сигаретным своим огоньком.
Освещает мне ночь неприметным своим огоньком.

* * *

Представь, все это канет в Лету. Обычный двор и луч беды, Легко в обыденность одетый. Как в Лету канем мы и ты.	Вот мы — придуманы частично, Частично в вечность вплетены, Здесь — обнимаемся комично И вспышкой вдруг ослеплены.
И не останется, поверь мне, Ни капли смысла за душой. И мы останемся за дверью, За неизведанной межой.	На смелом фото против света, Лишь контур в желтое одет. Читатель требует сюжета, Но завершается сюжет.

* * *

Неприметная почта, с которой когда-то
Отправляли посылки мы сами себе:
Подзатершийся год, неизвестная дата,
Незначительный всполох в пропавшей судьбе.
Нынче письма идут без задержек столетних,
Не теряются, их не вручают не тем.
На той почте в окне был засохший столетник,
Продавались наклейки и проч. дребедень.
Кто напомним прописку пропавшего лета
И посылок давнишних, зачем адресат
Выбывает навек. Память стерлась со света,
Не дыши, если будешь смотреть ей в глаза.

* * *

Липовый шелест и цвет,
Море асфальта и гравий.
Города серые грани,
Пепельный, влажный рассвет.

Доктор в котомке несет,
Переходя через площадь,
В книжке — цветочные мощи,
Старых рецептов блокнот.

Школьник несет что-нибудь,
Пенсионер — что-то тоже,
Самый печальный прохожий
Света приносит чуть-чуть.

На перекресток спешит
Белый пушок — одуванчик.
Звонкой июльской сдачей
Он в чью-то память зашит.

Виктор МИРОШНИЧЕНКО

МЫ НЕ УСПЕЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ...

Повесть

Глава 1

Можно ли описать героя произведения одним словом, чтобы читатели сразу все про него поняли? Далеко не всякого, но меня можно. Вот это слово: бессонница. Каким-то невообразимым образом она стала основой моего существования. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я быстро, но во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать свет. Часа два я хожу из угла в угол по комнате. В редкие дни мне удается заснуть после этого. В остальные дни, когда надо есть, хожу, сажусь за свой стол. Сажусь неподвижно, ни о чем не думая и не испытывая никаких желаний; если передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и начинаю читать непрерывно. Так, недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием: «Это было навсегда, пока не кончилось». Или же я воображаю лицо кого-нибудь из друзей-товарищей и начинаю вспоминать: в каком году и при каких обстоятельствах мы с ним познакомились, как вместе служили или проводили время. Люблю прислушиваться к звукам. Жена пройдет через зал из своей спальни, то скрипнет рассыхающийся паркет, то неожиданно тихо загудит труба водопровода.

Не спать ночью — значит каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, пока за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице шум транспорта и голоса...

День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в халате, непричесанная, но уже умытая, пахнущая духами, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же:

— Извини, я на минутку... Ты опять не спал?

Виктор Викторович Мирошниченко — самостоятельный писатель, автор песен и стихов, родился в 1968 году. С 1991 года живет в Москве. Работал психотерапевтом, специалистом по человеческим ресурсам, сейчас — коуч, тренер и международный аудитор. Окончил Московский государственный университет (факультет психологии) в 1998 году. Литературным творчеством начал заниматься в 1986 году как самостоятельный автор-исполнитель своих песен. С 1993 года начал переводить стихи и песни зарубежных авторов. С 2000 года начал писать рассказы. Повесть «Мы не успели оглянуться», написанная в 2024 году, — это авторский дебют большой прозы. Произведения автора публиковались в сети Internet, а также в сборниках «Антология живой литературы» издательства «Скифия» (Санкт-Петербург).

Теперь она садится за мой стол и начинает говорить. Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, после тревожных расспросов о моем здоровье, она с не меньшей тревогой вспоминает о нашем сыне — офицере, служащем в новых регионах. Сын звонит редко, ничего не рассказывает, и жена, конечно, волнуется. Весь день смотрит телевизор, все каналы и передачи, где есть репортажи с фронта, пытаясь что-то для себя выяснить или узнать родное лицо среди бесконечных лиц в масках.

— Ты же знаешь, им нельзя пользоваться телефонами, — говорю я жене, — их засекают, атакуют дронами и ракетами. Ему нужно отъехать километров за двадцать, чтобы спокойно тебе позвонить, а как он может бросить своих? Он теперь комбат, батя, по-нашему — по-солдатски...

— Да, комбат. А где его бывший комбат?

Я знаю, что его бывший комбат убит, но ничего не говорю жене. Эта история мелькала в новостях, и жена наверняка ее видела. Спасает только то, что комбатов на фронте много.

— Ну, его комбат теперь полком командует, — отвечаю я жене.

— Ты всегда сочиняешь. И полков там нет никаких, только бригады.

Я поражаюсь, что женщины у нас стали разбираться в армейской организации лучше мужчин. Мне особенно нечего сказать, дальше я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, оттого, что не спал ночь, странные, ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая женщина была когда-то той самой тоненькой Леночкой, моим ангелом, которую я страстно полюбил за хороший, ясный ум, за чистую душу и красоту. Неужели это та самая жена моя Елена, которая когда-то родила мне сына, а потом дочь?

Я напряженно всматриваюсь в лицо этой старой женщины, ищу в ней свою Лену, но от прошлого у нее уцелел только страх за мое здоровье да еще манера называть мою шапку — нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или ругает меня за то, что я не издаю книги и учебники, за которые сейчас платят хорошие деньги.

Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не завтракал, быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать:

— Никого мне так не жаль, как нашу бедную Анюту. Учится девочка в университете, на филологическом факультете. Ты же знаешь, чьи дочери с ней учатся? Она постоянно в светском обществе, а одета бог знает как. Такая шубка у нее, что на улице стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая дочь, это бы еще ничего, но ведь все ее однокурсники знают, что ее отец — знаменитый профессор этого университета!

Так и начинается мой день.

Когда я пью чай после завтрака, ко мне входит моя Анюта, в шубке, в шапочке и с сумкой с ноутбуком, уже совсем готовая, чтобы идти в университет. Ей восемнадцать лет, она первокурсница. На вид она моложе, совсем подросток, хороша собой и похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит:

— Здравствуй, папочка. Ты здоров?

В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось водить ее в кафе, где его подавали. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, она говорила: «Ты, папа, пломбир!»

Теперь я действительно холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит пчела, напряженно улыбаюсь и отворачиваю лицо.

В девять пятнадцать мне уже надо вызывать такси, чтобы ехать в университет. «Yandex-taxi» последнее время работает плохо, машину приходится ждать двадцать-тридцать минут. Я хожу и смотрю на ключи от машин, которые аккуратно развешаны в ключнице в коридоре. Иногда соблазн велик сбросить заказ и поехать на машине самому. Но все-таки страх, что что-нибудь сломается по дороге или какая-нибудь мелкая авария и я непременно опоздаю на лекцию, заставляет меня отбросить идею сесть за руль после бессонной ночи.

Когда вхожу в университетский корпус, турникет распахивается и меня встречает старый сослуживец, начальник охраны и мой тезка по отчеству Александр Викторович. Поздоровавшись за руку, он крикает и говорит:

— Ну что, мороз, Викторыч!

Или же если на улице осень, то:

— Ну что, дождик, Викторыч!

Затем он идет чуть впереди меня, стараясь отворять на моем пути все двери, и, пока мы идем до моего кабинета, успевает сообщить какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими охранниками, ему известно все, что происходит на факультетах, в канцелярии, в ректорате, в библиотеке. Чего только он не знает? Когда у нас злобою дня бывает, например, отставка декана, то я слышу, как он, разговаривая с молодыми охранниками, называет кандидатов и тут же поясняет, что такого-то не утвердит ректор, такой-то сам откажется, а такого-то утвердит ректор, и он не откажется, но его не одобрит министр. Потом вдается в фантастические подробности о каких-то таинственных бумагах, полученных в канцелярии, о секретном разговоре, бывшем якобы у министра с ректором, и т. п. Если исключить эти подробности, то в общем он почти всегда оказывается прав. Характеристики, даваемые им каждому из кандидатов, своеобразны, но тоже верны. Если вам нужно узнать, в каком году кто защищал диссертацию и на какую тему, что приносил на банкет по этому поводу, кто и когда получил звание или вышел на пенсию, то призовите на помощь этого верного солдата, и он не только назовет вам год, месяц и число, но и сообщит также подробности, которыми сопровождалось то или другое обстоятельство. Так помнить может только тот, кто любит.

Он еще и хранитель университетских преданий. От своих предшественников он получил в наследство множество легенд из университетской жизни, прибавил к этому богатству немало своего добра, добытого за время службы, и если хотите, то расскажет вам много длинных и коротких историй. Он может поведать о необыкновенных мудрецах, знавших все, о замечательных тружениках, не спавших по неделям, о многочисленных мучениках и жертвах науки; при этом всегда добро торжествует у него над злом, слабый, но правый всегда побеждает сильного, но лживого, мудрый — глупого, скромный — гордого... Нет надобности принимать все эти небылицы за чистую монету, но отфильтруйте вымысел, и останется то, что нужно: славные традиции и имена истинных героев, признанных всеми. Если бы люди любили науку, ученых и студентов так, как Александр Викторович, то писатели давно бы посвятили им эпопеи, сказания и жития, коих, к сожалению, пока не создано.

В коридоре Александр Викторович заговорщическим шепотком сообщает мне:

— Викторыч, по поводу твоей Анюты. К ней приклеился ухажер. С виду нормальный парень, но не местный, крымский. Женя Гоцан. Красивый, высокий, здоровый такой, короче, большая женская мечта. Пятикурсник с юридического. Биография чистая, но фамилия какая-то не наша, поэтому пробил его по своим каналам. Папа работает в Правительстве Крыма, мама — бизнесвумен. Еще надо что узнать? Недвижимость, связи?

— Узнай, Викторыч. Всегда высоко ценю твою помощь. Благодарствую!

Сообщив мне новость, Александр Викторович придает своему лицу строгое выражение, и у нас начинается деловой разговор. Если бы в это время кто-нибудь посторонний послушал, как он свободно обращается с терминологией, то, пожалуй, подумал бы, что это ученый, замаскированный охранником. Но все же толки об учености университетских охранников сильно преувеличены. И еще я знаю, что Александр Викторович очень хочет мне поведать истории своей буйной молодости: о службе в уголовном розыске и в афганском отряде «Кобальт», о своем ордене и тяжелом ранении. Но он интеллигентно ценит мое время и ждет, когда я сам спрошу его об этом, а я столь увлечен наукой и работой, что времени на это совсем не остается.

В моем университетском кабинете, нагнувшись над книгой или глядя в экран компьютера, меня встречает Алексей Николаевич, мой доцент. Он трудолюбивый, скромный, но бесталанный человек лет сорока пяти, уже лысенький и с большим животом. Работает он с утра до ночи, читает массу литературы, отлично помнит все прочитанное — и в этом отношении он не человек, а квантовый компьютер; в остальном же прочем — это ломовой конь или, как иначе говорят, ученый тупица. Характерные черты ученого тупицы, отличающие его от таланта, таковы: кругозор его тесен и резко ограничен темой исследования; вне своей специальности он наивен, как ребенок. Помнится, как-то утром я вошел в кабинет и сказал:

— Представьте, какое несчастье! Умер Юрий Мефодьевич Соломин.

Милейший Алексей Николаевич спросил:

— А какой предмет он преподавал?

Кажется, запой у него над самым ухом Анна Нетребко, случись землетрясение, он не пошевелинется ни одной конечностью и преспокойно будет смотреть прищуренным взглядом в монитор или в книгу.

Другая черта Алексея Николаевича — фанатическая вера в непогрешимость науки и, главным образом, всего того, что пишут в научных журналах. Он уверен в самом себе, знает цель жизни и совершенно незнаком с сомнениями и разочарованиями, от которых седеют таланты. Рабское поклонение авторитетам и отсутствие потребности самостоятельно мыслить. Разубедить его в чем-нибудь трудно, спорить с ним невозможно. Попробуйте поспорить с человеком, который глубоко убежден, что самая лучшая наука — философия, самые лучшие люди — философы, самые лучшие традиции — философские. Для ученого же и вообще образованного человека могут существовать только традиции общеуниверситетские, без всякого деления их на философские, юридические, исторические и т. п., но Алексею Николаевичу трудно согласиться с этим, и он готов спорить с вами до Страшного суда.

Будущее его представляется мне ясно. За всю свою жизнь он напишет много суших, очень приличных рефератов и статей, публикуемых «Вопросами философии», сделает с десяток добросовестных переводов, даже напишет монографию и защитит докторскую, но пороха не выдумает. Для пороха нужны смекалка, изобретательность, умение фантазировать — вдруг увидеть взрыв, хотя десятками лет ты с сородичами мог наблюдать только огонь, а у Алексея Николаевича нет ничего подобного. Короче говоря, это не хозяин в науке, а работник. Работники в науке, как и в любом другом деле, нужны и важны, поэтому я уважаю их вклад в общее дело.

Без всякой надобности я смотрю на часы и говорю:

— Что ж? Надо идти читать лекцию.

Каким мое чтение лекции было прежде? Я читал неудержимо быстро, страстно, и, кажется, не было на свете той силы, которая могла бы прервать течение моей речи. Я знал, о чем буду читать, но никогда не думал, как буду читать, с чего начну и чем за-

кончу. Единственный мой противник здесь находится во мне самом. Это — бесконечное разнообразие форм, явлений и законов и множество ими обусловленных своих и чужих мыслей. Каждую минуту я должен иметь ловкость выхватывать из этого громадного материала самое важное и нужное и так же быстро, как течет моя речь, облекать свою мысль в такую форму, которая была бы доступна студентам и возбуждала бы их внимание, причем надо зорко следить, чтобы мысли передавались не по мере их накопления, а в известном порядке, необходимом для правильной компоновки картины, какую я хочу нарисовать. Далее я стараюсь, чтобы мои определения были кратки и точны, а фразы максимально возможно просты и красивы. Каждую минуту я должен осаживать себя и помнить, что в моем распоряжении имеются только час и двадцать минут. На лекции я мог всецело отдаваться страсти и понимал, что вдохновение существует на самом деле.

Теперь же на лекциях я испытываю одно только мучение. Не проходит и получаса, как я начинаю чувствовать непобедимую слабость в ногах и плечах; сажусь в кресло, но сидя читать я не привык; через минуту поднимаюсь, продолжаю стоя, потом опять сажусь. Во рту сохнет, голос сипнет, голова кружится... Чтобы скрыть от слушателей свое состояние, я то и дело пью воду, кашляю, изображаю, что мне мешает насморк. Так продолжается около часа, потом я отвечаю на вопросы студентов, невпопад рассказываю им интересные философские истории и байки, для развития их общего кругозора. В последний учебный год мне, главным образом, стыдно за мои лекции.

Мои совесть и ум говорят мне, что самое лучшее, что я мог бы теперь сделать, — это прочесть прощальную лекцию, сказать им последнее слово, благословить их и уступить место человеку, который моложе и сильнее меня. Но пусть судит меня Бог, у меня не хватает мужества поступить по совести.

К несчастью, я не богослов. Мне отлично известно, что проживу я еще не больше года; казалось бы, теперь меня должны больше всего занимать вопросы о загробных потемках и тех видениях, которые посетят мой могильный сон. Но почему-то душа не хочет знать этих вопросов, хотя ум и сознает всю их важность. Как тридцать лет назад, так и теперь, меня интересует одна только наука. До конца жизни я буду верить, что наука — самое важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека, что она всегда была и будет высшим проявлением любви и что только ею одною человек победит природу и себя. Вера эта, быть может, наивна и несправедлива в своем основании, но я не виноват, что верю так, а не иначе; победить же в себе этой веры я не могу.

От бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающей слабостью со мной происходит нечто странное. Среди лекции к горлу вдруг подступают слезы, начинают чесаться глаза, и я чувствую страстное, истерическое желание протянуть вперед руки и громко пожаловаться. Мне хочется прокричать громким голосом, что меня, вашего профессора, судьба приговорила к смертной казни, что через несколько месяцев здесь, в аудитории, будет хозяйничать уже другой. И в это время мое положение представляется таким ужасным, что мне хочется, чтобы все слушатели ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком бросились к выходу...

Глава 2

После лекции я сижу в кабинете до самого вечера с молчаливым Алексеем Николаевичем и работаю. Читаю журналы, диссертации, пишу статьи или готовлюсь к следующей лекции. Работаю с перерывами, так как приходится принимать посетителей.

Вот коллега пришел поговорить о деле.

— Я на минуту, на минуту! Сидите, коллега! Только два слова!

Первым делом мы стараемся показать друг другу, что мы оба необыкновенно вежливы и очень рады видеть друг друга. Я усаживаю его в кресло, а он усаживает меня; при этом мы осторожно поглаживаем друг друга по талиям, касаемся пуговиц, и похоже на то, как будто мы ощупываем друг друга и боимся обжечься. Оба смеемся, хотя не говорим ничего смешного. Усевшись, наклоняемся друг к другу и начинаем говорить вполголоса. Как бы сердечно мы ни были расположены друг к другу, мы не можем не хохотать, если кто из нас сострит, хотя бы и неудачно. Кончив говорить о деле, коллега порывисто встает и, помахивая шляпой, начинает прощаться. Опять шупаем друг друга и смеемся. И когда наконец я возвращаюсь к своему столу, на моем лице все еще сохраняется улыбка, должно быть, по инерции.

Немного погодя приходит студент. Молодой человек приятной наружности. Хорошо и стильно одет. Родители платят за обучение, а в нашем университете это совсем недешево. Вот уж год, как мы с ним в натянутых отношениях: он отвратительно отвечает на зачете и экзамене. При этом я поддерживаю демократическую тенденцию нашего факультета не ставить двоек. Но относительно зачетов у нас такой традиции нет. Таких молодцов, которых я, выражаясь на студенческом языке, гоняю, не ставя им зачет, у меня ежегодно набирается человек семь. И весь последний курс, к которому их «условно» допускает деканат, они ходят ко мне получать этот проваленный в конце четвертого курса зачет. Те из них, кто понимает, что не выдерживают этого испытания по своей неспособности, обыкновенно несут свой крест терпеливо и не торгуются со мной; торгуются же и ходят ко мне только самодовольные сангвиники, широкие натуры, которым такая проволочка как-то портит аппетит и мешает аккуратно посещать ночные клубы. Первых я «доучиваю» и стараюсь дать им все, что они пропустили за первые четыре года обучения, а вторых просто гоняю весь пятый, дипломный курс.

— Садитесь, — говорю я гостю. — Что скажете?

— Извините, профессор, за беспокойство... — начинает он, заикаясь и не глядя мне в лицо. — Я бы не посмел беспокоить вас, если бы не... Я пробовал сдавать вам методологию уже пять раз и... и срезался. Прошу вас, будьте добры, поставьте мне зачет, потому что...

Аргумент, который все ленивые умом будущие философы приводят в свою пользу, всегда один и тот же: они прекрасно выдержали экзамены и зачеты по всем предметам и срезались только на моем, и это тем более удивительно, что по моему предмету они занимались всегда очень усердно и знают его твердо; срезались же они благодаря какому-то непонятному недоразумению.

— Извините, мой друг, — говорю я гостю, — поставить вам зачет я не могу. Пойдите еще почитайте лекции и статьи по теме. Не торопитесь, изучайте статьи постранично, смотрите на ссылки литературы, берите эту литературу в библиотеке, читайте ее, там тоже смотрите на ссылки, по ходу дела читайте и ту, другую литературу, и тогда вам откроются новые, не изведенные вами доселе умозрительные пространства, и только тогда возвращайтесь к моим статьям и лекциям и читайте их более вдумчиво. Тогда вы увидите в них смысл, а не просто красивые слова, которые нужно выучить и рассказать на экзамене. После этого приходите.

Пауза. Мне хочется немножко повоспитывать и помучить студента за то, что пиво и клубы он любит больше, чем науку, и я спрашиваю со вздохом:

— Скажите, дорогой мой, вам было скучно на моих лекциях и семинарах?

— Нет, что вы, профессор!..

— А мне было скучно. Знаете почему? Никакой субъективации от вас я не увидел. Объясню вам. Кроме того, чтобы у человека родилась гениальная мысль, ему нужно

иметь драйв, чтобы ее высказать. Этот драйв и есть условие существования личности. Личностями не рождаются. Так где же вам, как не в стенах университета, становиться личностью?

Студент понуро молчит, а я продолжаю:

— Но и это еще не все. Вам обязательно нужно дождаться, когда ваши коллеги по цеху устроят вам настоящее избиение по поводу вашей гениальной идеи. И нужно выжить при этом избиении, и позволить себе и этот драйв, и свои гениальные мысли в дальнейшей профессиональной жизни. По-моему, самое лучшее, что вы можете теперь сделать, — это совсем оставить философский факультет. Если при ваших способностях вам никак не удастся сдать зачет по методологии, то, очевидно, у вас нет ни желания, ни призвания, ни мышления, ни драйва.

Лицо сангвиника вытягивается.

— Простите, профессор, — усмехается он, — но это было бы с моей стороны, по меньшей мере, странно. Проучиться пять лет и вдруг... уйти!

— Ну да! Лучше потерять даром пять лет, чем потом всю жизнь заниматься делом, которое не любишь.

Да он и не будет заниматься философией. Его отец работает в правительстве. Они с сынишкой только и ждут не дождутся момента окончания университета, чтобы побыстрее приставить этого балбеса к делу. Но и в правительство надо отправить мыслящего и драйвового человека, раз уж он попал в университет и ко мне в руки. Поэтому я спешу сказать:

— Впрочем, как знаете. Итак, почитайте еще немножко и приходите.

— Когда? — глухо спрашивает умственный лентяй.

— Когда хотите. Хоть завтра.

И в его добрых глазах я читаю: «Прийти-то можно, но ведь ты, старый черт, опять меня прогонишь!»

— Конечно, — говорю я, — вы не станете учение оттого, что будете у меня экзаменоваться еще пятнадцать раз, но это воспитает в вас характер. И на том спасибо.

Наступает молчание. Я поднимаюсь и жду, когда уйдет гость, а он стоит, смотрит на окно, теребит свой пиджак и думает. Становится скучно.

Голос у него, надо сказать, приятный, сочный, отлично будет звучать на заседаниях правительственных комитетов и комиссий, а доклады для него и референты напишут. Глаза вроде умные, насмешливые, лицо благодушное, несколько помятое от частого употребления алкоголя и долгого лежания на диване. По-видимому, он мог бы рассказать мне много интересного про московские клубы, про бесконечные роскошные тусовки бриллиантовой молодежи, про свои любовные похождения, про друзей, которых он любит, но, к сожалению, говорить об этом не принято. А я бы охотно послушал.

— Профессор! Даю вам честное слово, что если вы поставите мне зачет, то я...

Как только дело дошло до «честного слова», я машу руками и сажусь за стол. Студент думает еще минуту и говорит уныло:

— До свидания, профессор... Извините.

— До встречи, друг мой. Доброго здоровья.

Он нерешительно уходит и, выйдя из университетского здания, вероятно, опять долго думает; ничего не придумав, кроме «старого черта» по моему адресу, он идет в ближайший ресторан пить пиво или вино и обедать, а потом едет к себе домой спать, чтобы к ночи с новыми силами отправиться в клубы или на тусовки. Мир праху твоему, труженик науки!

Третий визит. Входит молодой сияющий кандидат наук в новом черном костюме из магазина, явно не по фигуре, в очках в блестящей золотой оправе. Представляется и рекомендует. Прошу садиться и спрашиваю, что угодно. Не без волнения молодой жрец науки начинает говорить мне, что в этом году он выдержал экзамены и кандидатскую защиту. Ему хотелось бы поработать у меня, под моим руководством, и я бы премного обязал его, если бы дал ему тему для последующего развития и написания докторской диссертации в будущем.

— Очень рад быть вам полезным, коллега, — говорю я, — но давайте сначала поговорим о том, что такое диссертация. Под этим словом подразумевается сочинение, составляющее продукт самостоятельного творчества. Не так ли? Сочинение же, написанное на чужую тему и под чужим руководством, называется иначе...

Кандидат молчит. Я вспыхиваю, вскакиваю с места, начинаю ходить по кабинету.

— Понимаю, что общая ситуация в мировой науке и в философии в частности требует актуальности, ну или, назовем это так, востребованности государством с последующей героизацией творца этой работы, всеобщей славы и любви народной. А ведь я должен понять, почему вы кровно заинтересованы в решении вопроса, какой темой заниматься. Вот вы — философ, а для обычного человека, не имеющего университетского образования, вы прежде всего мыслитель. Поэтому давайте припомним, что похожая ситуация была в науке в конце восемнадцатого века. И начать нам придется не с востребованности и последующей славы народной, а с... Фихте. Помните такого?

— Да, мы проходили, кажется, на четвертом курсе. И сдавали отдельный зачет по немецкой классической философии.

Я продолжаю ходить по кабинету и понимаю, как мало в итоге остается в головах и душах наших студентов. И кроме нас, их преподавателей, здесь виновных нет.

— Поскольку мы с вами не на зачете, позвольте, я вкратце кое-что напомним. Фихте обсуждал вопрос науки того времени предельно субъективированно: «Что сейчас, в нынешней ситуации, в Германии обязан и должен делать ученый? Что ученые должны исповедовать и как мы, ученые, должны действовать?» Почему он оказал влияние на весь научный мир? Он был искренним, беззаветно смелым, и он не политиканствовал. Он только обсуждал вопрос: что ему как ученому делать? Припоминаете? Согласны с этим?

Кандидат наук кивает и делает усилия, пытаясь что-то припомнить, но я чувствую, безуспешно.

— Теперь давайте посмотрим на ситуацию иначе. Представьте, что Фихте начал бы обсуждать эту проблему так, как делаем это мы — то есть объективированно: «Уважаемые коллеги! Профессора немецких университетов — отстой, и дно вы все! И делаете совсем не то, что нужно». Каков бы был результат этих его выступлений? Характеристика его личности в научной среде была бы однозначная: последний подонок, задвинем его подальше и не будем обращать на него внимания. Как считаете, верно?

— Совершенно верно, профессор.

— Ну так вот, сейчас лекции и труды Фихте находятся в числе классики не только науки, но и культуры Германии. Почему это произошло, не догадываетесь?

— Из-за субъективированного взгляда?

— Да. Но главное всего то, что Фихте сам для себя эти труды написал, понимаете? В том числе мужественно произнес и это: «Я, Иоганн Готлиб Фихте, — отстой и дно науки». И только по этой причине все немецкие профессора поняли, о чем это он на самом деле там говорит. А кроме этого, дальше нас с вами поджидает и главная методологическая проблема. Ведь одно дело просто понять, как я так могу жить и творить

в этой ситуации, а совсем другое дело — перейти к практическому осмыслению и воплощению, а затем — к последующему выбору своего собственного места в науке, которая, в свою очередь, не где-то на небе, а в конкретной стране находится.

Молодой коллега из всех сил, судя по его выражению лица, пытается меня понять. Но видно, что он уже близок к последнему издыханию.

— Что это такое для вас может означать? А это постоянные вопросы к себе: «Что я должен делать? За что я беру на себя ответственность? Как я должен себя вести?» И здесь тоже множество подводных камней, которые никак не дают уйти от обсуждения вопроса: «Что должны делать другие?» Поэтому в каждый момент времени надо быть готовым сказать себе: «Что делает другой — это его дело, а я четко знаю свои границы, и уважаю границы других». Поэтому я раскрываю в своем научном труде только то, что делал я, и только с той точки зрения, что мне надо было делать или, наоборот, не надо было делать. Понимаете ли, куда нас привел Фихте?

Кандидат наук молчит, демонстрируя, что он крайне глубоко обдумывает, что мне ответить, но я вижу, что он попросту боится подать голос, как студент боится что-нибудь не то ляпнуть на экзамене и привести экзаменующего профессора в бешенство.

— Фихте привел нас к важной категории. Это есть категория самоопределения. И самоопределение ваше находится вне контекста вашего научного исследования, и оно — не научное исследование. Без вашего самоопределения схема любого научного исследования, которое вы проводите, даст вам ложную онтологическую схему; если сказать по-простому: ваша научная работа будет абсолютно научным враньем с использованием красивых терминов и сложных умственных построений. В итоге написана эта работа будет с одной лишь целью — запутать свой разум и разум тех, кто будет ваше исследование использовать в своей работе. Поэтому поймите меня правильно, именно из-за этого я не торгую темами.

Хрустящий, как новая купюра, кандидат философских наук молчит, и только около его скул выступает легкая краска. Лицо его выражает глубокое уважение к моей учености и авторитету, а по глазам его я вижу, что он презирует и мой голос, и мою жалкую фигуру, и нервную жестикуляцию. В своей пламенной речи я представляюсь ему чудачком, я же хочу донести до него простые, но главные вопросы его жизни:

— Отчего вы не хотите быть самостоятельным? Отчего вам так противна свобода?

Говорю я много, а он все молчит. В конце концов я мало-помалу стихаю и, разумеется, сдаюсь. Кандидат получает от меня тему, звенящую и поющую, как гимн, которой на самом деле грош цена. Дорожная карта этой темы ясна, потому как освещена фонарями диалектического материализма на всем протяжении, как Минское шоссе. За несколько лет он напишет под моим наблюдением никому не нужную докторскую диссертацию, с достоинством выдержит скучный диспут и получит нужную ему ученую степень.

Глава 3

Часов в восемь-девять вечера я возвращаюсь домой. Два или три раза в неделю меня навещает Костя. Двадцать семь лет назад погиб мой друг Станислав Калиновский. Оставил после себя шестилетнего Костю и большое количество денег. Когда он понял, что его разборки подходят к неминуемому концу, по договоренности назначил меня опекуном. Кроме того, Станислав оставил своего управляющего, который постоянно жил в Европе и руководил семейными финансами, огромную квартиру на Кутузовском проспекте, в гараже четыре автомобиля, загородный дом, дом на Кипре и разнообразные коллекции, до которых я не дошел, с ними разбирается моя жена.

Костю мы усыновили, когда нашему первенцу был год. И наш старший сын сразу превратился в младшего. Заниматься воспитанием Кости мне было некогда, и я часто виню себя, что он вырос разбалованный. Мы с женой сразу полюбили его, и это из-за его какой-то необыкновенной доверчивости, с которой он принял нас, когда мы переехали на Кутузовский. Эта доверчивость всегда светилась на его лице. И еще он был очарователен. Бывало, сидит где-нибудь в сторонке и непременно смотрит на что-нибудь с простосердечным вниманием; видит ли он в это время, как я пишу или перелистываю книги, или как жена готовит ужин, или как его сводный младший брат играет с собакой, у него всегда неизменно глаза выражали одно и то же, а именно: «Все, что делается на этом свете, — все прекрасно, интересно и умно». Он был любопытен и любил говорить со мной и играть в шахматы. Больше всего его интересовало, что я читаю и что делаю в университете. Костя легко принял нас как родителей, при этом все равно обращался к нам на «вы», и был добрым и терпеливым ребенком.

Жалею, что у меня не было времени и охоты проследить начало и развитие страсти, которая овладела Костей, когда ему было тринадцать-четырнадцать лет. Я говорю об его страстной любви к рок-музыке. Когда он начал говорить с удовольствием и с жаром о рок-музыке и рок-музыкантах. Своими постоянными разговорами он мог утомить любого, потому жена и дети не слушали его. Только у меня не хватало мужества отказывать Косте во внимании.

И вот когда ему исполнилось восемнадцать лет и он получил право на пользование частью денег, перешедших по наследству, он сказал, что поедет в Америку, открывает там рок-клуб, организует собственный рок-фестиваль и вообще поднимет эту музыку на небесную высоту.

В молодости я часто слушал рок-музыку, особенно мне нравились баллады, и пару раз посещал рок-концерты. По моему мнению, рок-музыка не стала лучше, чем была тридцать лет назад. Это особая религия и чувство свободы для совершенно определенной категории людей. Но для меня это развлечение слишком дорого с точки зрения затрат здоровья и времени, чтобы пользоваться им. Оно отнимает у государства тысячи молодых, здоровых и талантливых мужчин и женщин, которые, если бы не посвящали себя этому увлечению, могли бы быть хорошими врачами, программистами, фермерами, космонавтами, учителями, служащими, рабочими; оно отнимает у людей вечерние часы — лучшее время для умственного труда, дружеских бесед и диспутов.

Костя же был совсем другого мнения. Он уверял меня, что рок-музыка, даже в современном ее виде, выше аудиторий, выше книг, выше всего на свете. Это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а рок-музыканты — это миссионеры нашего времени. Никакое искусство и никакая наука в отдельности не в состоянии действовать так сильно и так верно на человеческую душу, как рок-музыка, и недаром поэтому рок-музыкант средней величины и таланта пользуется в любой стране гораздо большей популярностью, чем самый лучший политик, ученый или художник. И никакая публичная деятельность не может доставить такого наслаждения и удовлетворения, как рок-выступление.

И в один прекрасный день Костя уехал в Америку, увезя с собою много денег, тьму радужных надежд и оптимистический взгляд в будущее.

Первые письма его были удивительны. Я читал их и просто изумлялся, как эти небольшие послания могут содержать в себе столько молодости, душевной чистоты, святой наивности и вместе с тем тонких, дельных суждений, которые могли бы сделать честь хорошему мужскому уму. Все: природу, города, которые он посещал, компаньонов, свои успехи и неудачи — он не описывал, а воспевал; каждая строчка дыша-

ла доверчивостью, какую я привык видеть на его лице, — и при всем том масса грамматических ошибок, а знаки препинания почти отсутствовали.

Полтора-два года, по-видимому, все обстояло благополучно: Костя верил в свое дело и был счастлив; но потом в письмах я стал замечать явные признаки упадка. Началось с того, что Костя пожаловался мне на своих партнеров — это первый и самый злобещий симптом; если молодой ученый или литератор начинает свою деятельность с того, что горько жалуется на ученых или литераторов, то это значит, что он уже утомился и не годен для дела. Костя писал мне, что его музыканты не посещают репетиции и никогда не знают слов и партий; в постановке концертов и в манере держать себя на сцене видно у каждого из них полное неуважение к публике. В интересах кассовых сборов, о котором только и говорят, они готовы унизиться до полного оголения на сцене. В общем, надо изумляться, как это рок-искусство до сих пор еще не погибло и как оно может держаться на такой тонкой и гнилой жилочке. Это какой-то табун диких мустангов, которые попали на сцену только потому, что их не приняли бы нигде в другом месте, и которые называют себя музыкантами и певцами только потому, что наглы. Ни одного таланта, но много бездарностей, интриганов. «Не могу вам высказать, как горько мне, что искусство, которое я так люблю, попало в руки ненавистных мне людей» и так далее, все в таком роде.

Дальше был большой перерыв, и следующее письмо я получил с Кипра, где Костя остановился в доме отца и просил денег, потому что потратился на лечение. На Кипре Костя занялся дайвингом, очень этим увлекшись, и даже открыл через год школу для начинающих аквалангистов. Прожив там еще два года, он вернулся.

Пропутешествовал он около шести лет, и все годы, надо сознаться, я играл по отношению к нему довольно незавидную и странную роль. Он ставил передо мной нестандартные задачи, в решении которых я должен был принимать участие. Но всякий раз я терялся, в итоге все мое участие в его судьбе выражалось только в том, что я много думал и писал длинные, скучные письма, которые я мог бы вовсе не писать. А между тем ведь я заменял ему родного отца и любил его, как сына.

Костя не вернулся к нам на Кутузовский. Он снял трехкомнатную квартиру в хрущевке на Новокузнецкой улице, рядом с посольством Индонезии, и обставил ее минимально, но удобно и комфортабельно. Если бы кто-то взялся нарисовать обстановку квартиры, то преобладающим настроением в картине проступила бы лень. Для ленивого тела — мягкий диван, мягкие кресла, для ленивого зрения — линючие, тусклые или матовые цвета; для ленивой души — мебель из IKEA и изобилие мелких картин, в которых оригинальность исполнения преобладает над содержанием, бесформенные лоскутья вместо занавесок тоже из IKEA... Все это вместе с боязнью ярких цветов, симметрии и простора, помимо душевной лени, свидетельствует еще и об извращении естественного вкуса. По целым дням Костя лежит на диване и читает книги, преимущественно современную художественную литературу, будто он готовится стать литературным критиком, а может быть, и писателем. Из дому он выходит редко, друзей у него нет, в гости он приходит только к нам несколько раз в неделю, чтобы повидаться со мной и поговорить, теперь в основном о литературе. Два раза в год выезжает на Кипр, посмотреть, как работает его школа дайвинга, и потренироваться в погружениях под воду. Еще три-четыре раза в год выезжает на погружения в разные моря мира. Еще одно занятие Кости — подводная съемка. Необычайно красивые фото и видео он присылает мне, а я с удовольствием пересылаю их коллегам на факультет биологии. Последние два года, правда, Костя выезжает реже и только в Турцию. Сегодня Костя пришел ко мне в гости, а завтра я после работы навещу его в квартирке на Новокузнецкой.

На ужин он не остается, ссылаясь на режим питания. И я иду ужинать с женой и Анютой.

После ужина я иду к себе в кабинет и закуриваю там трубочку, единственную за весь день. Когда я курю, ко мне входит жена и садится, чтобы поговорить со мной.

— Надо бы нам с тобой поговорить серьезно, Гоша, — начинает она. — Я насчет нашей Анюты... Почему ты не обратишь внимания на ее потребности?

— То есть?

— Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь, но это нехорошо. Она уже расцвела, у нее раннее сексуальное развитие, как и у всех сейчас. Она сказала, что у нее появился мальчик. Зовут Женя. Он из хорошего, богатого семейства. У его отца дома в Севастополе и Симферополе, еще большой дом на побережье Крыма. Анюта хочет привести его для знакомства с нами. Что ты скажешь?

— Что сказать? Пусть приводит.

— Георгий, нельзя быть таким беспечным. Тебе непременно нужно съездить в Крым, в Симферополь, разузнать про его семью.

— Не поеду я в Крым, слишком много работы, — говорю я угрюмо.

— Когда речь идет о счастье дочери, надо отбросить все занятия. Так, как ты, нельзя относиться к серьезному шагу дочери. Ну, ты можешь что-то придумать, что обязательно нужно почитать какие-то лекции в их новом университете. У тебя там знакомая профессура, у них связи, ты все узнаешь. Я бы сама поехала, но я женщина. Я не могу заниматься этим...

Мне становится больно глядеть на нее.

— Хорошо, Лена, — говорю я ласково. — Если хочешь, то я съезжу в Симферополь и сделаю все, что тебе угодно.

Она прижимает к глазам платок и уходит к себе плакать. Я остаюсь один.

Глава 4

С отцом Кости, Станиславом Калиновским, мы вместе служили в Советской армии. Полгода в учебке в Фергане, потом полтора года в Афганистане. Сидели на «точке», три тысячи двести метров над уровнем моря. Контролировали передвижение «духов» и наших войск в радиусе пятидесяти километров. Желания, составляющие основу нашей жизни на высоте, были предельно просты: постоянно хотелось пить и спать.

Станислав был красив, он походил одновременно на пирата и рыцаря, на разбойника и благородного мушкетера, представляя собой какую-то невероятную смесь разнообразных качеств. Он был матерый и храбрый, при этом зачастую беспечный до чрезвычайности, но всегда чертовски удачливый. Это позволяло ему забрести на минное поле, чтобы просто сократить дорогу, и при этом пройти, нигде ничего не зацепив. Или же он мог спокойно заснуть на взлетке перед прыжком, в то время как все остальные проверяли укладку своих парашютов. Как он говорил: «От судьбы не уйдешь! С любым человеком случиться может что угодно, поэтому не стоит бояться и не нужно ничего планировать заранее». Еще мне очень нравилась другая его фраза: «Я люблю бежать с закрытыми глазами, чтобы не видеть куда». Его дед и бабка по отцу были из выселенных на Урал польских потомственных дворян Калиновских. И в характере и облике Стаса, в манере поведения, видимо, сказывалось благородное происхождение. Мои деды и бабки тоже были выселенными на Урал, но благородной дворянкой была только бабушка Татьяна Николаевна, родом из Петербурга, а остальные все — из казаков. Думаю, что наше со Стасом детство и юность прошли под одну уральскую

копирку, и описывать их лишено всякого смысла, потому что мы так сильно и быстро смогли измениться, что совершенно перестали походить на себя в детстве.

На точке «духи» регулярно не давали нам спокойно жить. Примерно раз в месяц обстрел, примерно раз в два месяца нападение или попытка штурма. Особенно жестким оказался обстрел с последующим штурмом в конце мая 1988 года.

На следующий день, когда мы загружали убитых и раненых в «вертушку», наш командир взвода, которого мы называли «Золотой», лежа на носилках, перед самой погрузкой обернулся ко мне и сказал:

— Северов, ты остаешься за старшего на позиции, пока комбат не пришлет офицера. Держи оборону.

— Есть, товарищ старший лейтенант. Может, сами вернетесь? Мы тут справимся пока.

Золотой ничего не ответил, отвернулся, перевернулся на живот и закрыл голову руками. Я понял, что он не хочет смотреть мне в глаза или не хочет, чтобы я смотрел на его лицо. «Вертушка» поднялась в воздух и скоро скрылась за горизонтом.

Вечером того же дня комбат сурово и отрывисто говорил мне по рации:

— Северов, ты теперь младший сержант и заместитель командира взвода — по должности, а по факту еще и начальник позиции. Мне сказали, что ты суровый челябинский мужик. В учебке чемпионом был, тебя даже не хотели отпускать, чтоб ты на чемпионат вооруженных сил поехал. Что ж не остался в Фергане?

— Я там все выучил, ничего интересного в учебке для меня нет, да и по чемпионатам поездил, надоели слегка. Игра все это. А тут настоящее дело, да еще с такими хорошими пацанами подружился, не хотел расставаться.

— Ладно. Принимай хозяйство. Всех, кто потолковей, — в наблюдение и корректировку, остальных — в охрану и оборону. Вы — глаза трех дивизий. Понимаешь, чем пахнет? От вас зависит, сколько «груза двести» улетит в Союз. Да, и еще: у тебя там этот тупой шахтер на точке, — это он о Степане Провалове, — засунь его куда-нибудь, чтоб сидел тихо.

— Товарищ майор, Провалов в обороне отделения стоит. Он один может в атаку пойти.

— Вот я и говорю. Если нет в башке мозгов, то ко лбу их не пришьешь. Ему бы только в атаку на семь пулеметов. А каким отменным солдатом мог бы быть.

Слова комбата доходят до меня ясно и отчетливо, я будто становлюсь другим человеком. Понимаю, что мне делать и о чем думать. Мы — глаза, должны смотреть, что бы ни случилось, даже пусть небо упадет на землю, армия должна видеть противника. Хорошо объясняет, Батя, одно слово.

Не разделяю, конечно, я его нелюбовь к Степке Провалову. Степка — это недюжинной силы человек, поработавший до армии шахтером в Копейске. Как он сказал, это у них семейная профессия. Я всегда видел в нем русского богатыря Илью Муромца. Он добрый, совершенно без задних мыслей и камней на душе человек. Прямолинейный и честный, всегда в лицо говоривший то, о чем думает. Но больше всего мне нравилась Степкина заразительная улыбка, когда она появлялась на его лице, никто не мог не улыбнуться.

Однако понять обиду комбата можно. Когда нас привезли из учебки и выгрузили в Кабуле, расквартировали в казарме, Степка в первую же ночь смылся в самоволку и напился до того, что вырубился, не дойдя до нашего временного жилища метров двести. Нашел его патруль и, видимо, не без труда притащил в комендатуру. Степка имел почти два метра роста и вес не меньше ста двадцати. Утром мы поняли, что его

нет, но искать было поздно, он спокойно досыпал свой алкогольный сон в комендатуре. Дежурный, веселый офицер, быстро сообразивший, что это из наших, накануне прибывших, уже позвонил комбату, чтобы тот забирал этого «Кинг-Конга» сам. Комбат уже к тому времени вышел на след офицеров, которые ночью устроили попойку и угостили молодого пацана. Их командир отряда сказал комбату: «Ты где такого батыра достал, майор? Он литр спирта у нас выпил, закусывал, грубо говоря, сигареткой, а потом втихаря слился куда-то, мы и пыхнуть не успели. Может, отдашь его мне? Мне в отряде такие ну очень нужны».

Комбату, конечно, все это не понравилось, и он долго грозил Провалову трибуналом и последующим дисбатом. После чего к Степке прицепилась кличка «Провал», которую я не любил. В итоге комбат все-таки «условно» освободил его для выполнения важнейшего задания на точке, пообещав, что в случае любого залета отправит его напрямую в Ташкент под трибунал, минуя кабульскую гауптвахту. Провалов попал в группу со мной и Стасом, нас отправили к самому опытному командиру на самую высокую точку. Как комбат раскидывал нас, вновь прибывших и незнакомых ему солдат, по этим точкам, для меня до сих пор загадка. Видимо, есть у военных особая интуиция и расчет, до которых точная наука еще не дошла.

После того как я остался за старшего на точке, Стас и Степка стали моими помощниками. А друзьями мы стали, как оказалось, на всю оставшуюся жизнь. Степка разобрался и построил «старых». Пару раз я видел, как он, подняв кого-то на вытянутых руках, выбрасывал его за границу позиции и говорил: «Вали отсюда к „духам“, придунок, там дембель встретишь». Стас помогал мне с «молодыми», долго объясняя им солдатские хитрости, на что у меня просто не хватило бы времени. «Молодые» боялись и обожали Стаса, ловили его слова и глубоко всасывали их, как окружающий разряженный высокогорный воздух.

Через три месяца после майского разговора комбат опять вышел на связь:

— Ну что, Северов, получил пополнение? Смотри, больше не будет. Обещают вывод войск. Слыхали там, в своем глухом кишлаке? Золотого оставили в Союзе служить после лечения. Говорят, что здесь ему пока тяжело будет. Офицера прислать не могу, нет ни одного. Теперь у тебя народу много. И ты теперь сержант. Поздравляю! Как справляешься, замок? Нужен командир отделения? Кого предлагаешь?

— Калиновский Stanislaw.

— Как отчество?

— Не знаю, товарищ майор.

— А должен знать своих подчиненных. Ладно, передай ему, он теперь младший сержант, командир отделения. По обязанностям сам его сориентируешь. Пришивай-те лычки.

— Нет у нас галуна, товарищ майор.

— Ну, нарисуйте лычки себе на погонах, тоже мне проблема. Что нужно, сержант?

— Повар нужен. Готовим сами по очереди, плохо у нас получается.

— Умешь ты озадачить начальство. Давайте сами пока, как можете. Что еще?

— Керосину для керогаза побольше. Хватает только на один-два раза в день приготовить.

— Вы там совсем зажрались? Жара все лето стоит, мы чуть не сдохли. Тушенка в банках и так горячая, еще готовите там что-то на огне. Не дам больше керосина, «духи» одной миной разнесут эту вашу кухонную палатку, и кранты. Сгореть с гарантией хотите, как в аду?

— Никак нет, товарищ майор.

— Еще надо что-нибудь?

— Гранаты для АГС-17 можно побольше нам закидывать? Быстро кончаются.

— Это вы там салюты победы, что ли, бьете? Тоска замучила?

Как же ты прав, батя! Какое забытое, детское, милое слово: салют. Но если честно, стрельбой из АГС-17, как со стрельбой одиночными из ДШК, мы просто вырабатываем меткость. Я поражаюсь, что комбат говорит со мной так, будто давным-давно меня знает, хотя разговариваем мы с ним второй раз в жизни, а видел я его только мельком в Кабуле. Уверен, что при встрече он не поймет, кто перед ним, потому что не знает, как я выгляжу.

— Слушай меня, Северов! Заканчивайте все это. Государство, вместо того чтобы для народа что-то сделать, штампует для вас эти гранаты. Пришлю вам пару ящиков следующей «вертушкой», учти, это последние, растягивайте их, как хотите, до конца года. На крайний случай ручными гранатами отобьетесь. Все понял?

— Так точно, товарищ майор!

Я понимаю, что дальнейшие просьбы на этом закончены.

Прошло еще три месяца, и комбат в третий раз вышел на связь со мной:

— Так, Северов, посылаю к тебе следующей «вертушкой» офицера. Он будет командиром взвода. Расскажи ему все. Особенно на него не рассчитывай, с тебя спрашивать все равно буду. Он после училища. Прислали его откуда-то сверху, в штаб служить и на парад правофланговым. Высокий блондин в черном сапоге. Последние два месяца всех достал в штабе армии, чтобы его куда-нибудь в гарнизон отправили, хочет в реальных делах поучаствовать. Вот и летит к вам на точку, будет у тебя командиром взвода и начальником позиции. Я с ним передал все ваши ордена и медали, чтобы он вам их торжественно вручил.

— Так точно, товарищ майор!

— С лейтенантом к вам повар летит. Этого достал тебе с гауптвахты. Он из складских, попал в компанию прапоров и офицеров-тыловиков. Воровали вагонами все подряд со складов, у афганцев меняли на джинсы и технику, отправляли в Союз. Там спекулянты все это толкали. Всех повязал особый отдел, а этого, поскольку он один солдат был в этой шайке-лейке, отправили на губу, и дальше у него только трибунал и дисбат. Вот он на коленях и стоял, готовый кровью все смыть. Он из Ташкента, говорит, умеет готовить. Плов точно, ну а остальное — на месте научится. Пусть пашет в хвост и в гриву. Если не вернется, я точно плакать не буду, ничего путного на гражданке из него не получится. Он «старый», но ты же знаешь, «старых» мы оставляем до вывода войск. Вы глаза трех дивизий, помни, товарищ старший сержант!

— Я сержант, товарищ майор.

— Не перечь начальству и тяни службу, старшой. Надеюсь, не нажретесь там по поводу присвоения очередного воинского звания?

— Наше дело внимательно наблюдать и оборону держать, а не нажираться, товарищ майор.

— Ого, Северов, учишься потихоньку!

На следующий день с «вертушки», как с небес, к нам сошел лейтенант Михаил Силантьев. Он был из генеральской московской семьи: папа генерал, дедушка генерал и даже прадедушка — все генералы. Увидев Степку Провалова, лейтенант сразу понял, что устанавливать свои порядки ростом, глоткой или харизмой у него не получится, здесь он без шансов второй. На первом построении дрожащим, срывающимся голосом, фальшиво пытаясь подражать Левитану, лейтенант Силантьев зачитывал нам указы о награждениях. Мы едва сдерживались от смеха, потому что он, стоя перед на-

шим строем, очень походил на большого доброго клоуна, который вдруг решил показывать фокусы, которым толком еще не научился. Дрожащими пальцами он криво вешал медали на кителя, а с орденами у него вообще ничего не вышло, и он просто нам их раздал, горячо и долго пожимая руки кавалерам.

В последующие два месяца, в связи с пришествием командира, у нас, кроме свежих анекдотов, появились соревнования по стрельбе, подобие утренней зарядки и очень толковые и систематические тренировки по рукопашному бою и самообороне, которым лейтенант научился в подпольных московских клубах карате, а потом усовершенствовал в военном училище. Наша жизнь реально «просветлела», приближался вывод войск, и новый командир легко нас заражал оптимизмом по поводу и без повода. Мы скоро начали называть его просто «Миха», а иногда и «Лейтенант Д'Артаньян». Миха действительно был «звезда», уверенный в себе и смекалистый человек, в отличие от нас, долго сидевших и одичавших в горах, жизнерадостный, предвосхищающий свою головокружительную карьеру в армии.

Повар оказался русским парнем Серегой из Ташкента, умеющим готовить только плов, но быстрообучаемым. Он с задором человека, избежавшего нескольких лет пребывания в тусклой солдатской тюрьме, приступил к кухонным обязанностям, и скоро мы стали питаться заметно лучше. Серега во время наших трапез бегал с черпаком, пытаясь закинуть нам в котелки добавки, и постоянно спрашивал: «Я ведь теперь настоящий десантник? Я же с вами в ВДВ служу?» Мы поднимали на него бессонные и цветущие от постоянного наблюдения глаза и молча кивали в ответ.

Уже и «духи» беспокоили нас редко и вяло, понимая, что мы сами скоро уйдем с этой высоты, политой кровью и усеянной гильзами по самые щиколотки.

Еще хорошо помню, когда шли колонной к границе на выводе войск, я был командиром первого бронетранспортера, а Стас — второго. За Стасом тянулась колонна из технических и грузовых машин, набитых солдатами и офицерами, и пары танков. В замыкающем колонну бронетранспортере сидел командиром Степка Провалов, получивший не без помощи Михи звание младшего сержанта. Примерно в середине марша я наехал на первую мину, это минус два колеса с левого борта. Быстро перекрутили одно из колес с правого борта на левый, и колонна двинулась дальше. Еще километров через десять я наехал на вторую мину, и это еще минус два колеса. На четырех колесах, к сожалению, на бронетранспортере не поедешь. С кружащейся головой я снял пулемет и передал коробки с патронами водителю, и мы, оставив свой бронетранспортер на обочине под расстрел нашими же танками, вдвоем направились к грузовой машине, где ехал наш взвод во главе с Михой. Проходя мимо бронетранспортера Стаса, я сказал ему: «Давай, Стас, веди колонну, теперь ты первый!» И Стас дальше вел колонну до самой границы. После марша он признался мне, что очень перепугался после второго подрыва, понимая, что его машина становится ведущей. На это я сказал ему: «А я, наоборот, успокоился. Ты фартовый, я понял, что дальше у нас все будет ровно. И война именно в этот момент для меня закончилась».

Я часто вспоминаю и думаю: как мы смогли пережить все и не сойти с ума, преодолеть боль, холод и голод? Какие общие связующие идеи и силы действовали на нас, и мы принимали их как свои собственные? Конечно, чувство долга: мы должны защитить Родину. Что еще помогло? Я писал песни, которые все наши любили петь, особенно Миха. Он обладал глубоким оперным голосом, и мне было удивительно, что такой человек окончил рязанское училище ВДВ, а не оперное отделение консерватории. Миха стал настоящим фанатом моих песен и всегда с восхищением смотрел на меня, когда я вдруг пел новую, неизвестно откуда взявшуюся в афганских горах

песню. Три тысячи двести метров выше моря — это, видимо, совсем недалеко от Бога. Странно, но после армии я никогда больше не писал песен и даже стихи писал совсем редко. Как приходило ко мне вдохновение, откуда бралось? Я помню только, что когда от усталости закрывал глаза в окопе, то пред самым сном песня целиком, от начала и до конца, вместе с музыкой входила в меня. Проснувшись утром, я только записывал слова и быстро подбирал аккорды на гитаре. А дальше песня расходилась по всему нашему взводу так, будто была нашей общей.

После службы нас, как и всех, закружила совсем другая жизнь. Я поехал в Москву в университет, Стас к своему дяде в Наро-Фоминск, чтобы встать на Киевскую трассу сотрудником ГАИ. Степка — в родную шахту, Миха — служить Родине. Но Родина вскоре у нас поменялась. Трагичнее всего сложилась судьба нашего богатыря Степки, которому пришлось вылезти из своей копейской шахты и заняться рэкетом в Челябинске, где в 1992 году он получил очередь в грудь из АКМ от конкурентов. Фатовый Стас через год стояния на трассе познакомился с дочерью очень влиятельного, богатого человека. Благородная кровь, видимо, сослужила ему добрую службу, девушка Света влюбилась в него без памяти, а ее папа принял его как родного в семью. Уже в 1991 году мы отмечали рождение Кости. Однако семейное состояние требовалось отстаивать, и в борьбе за него Стас пережил потерю своего нового папы, своей любимой жены и в итоге положил на этот алтарь и свою жизнь в 1997 году. Миха дослужился до полковника и вышел в отставку, не став генералом и нарушив тем самым семейную традицию. Вернувшись в Москву, лет десять держал свой клуб по единоборствам, часто заезжал ко мне в гости на Кутузовский со своей женой и дочерью и всегда продолжал любить и петь мои песни. В конце февраля 2022 года Миха снова запросился в армию инструктором. Сейчас занят переобучением офицеров, с гордостью говорит, что среди его учеников есть герои России. В последнем телефонном разговоре по секрету сказал: «Слышал про твоего сына. У него полный порядок. Учить такого все равно что портить».

Глава 5

Итак, сегодня вечером я еду к Косте с ответным визитом. По обыкновению, в это время он сидит за компьютером и читает что-нибудь. Встречая меня, он лениво протягивает руку.

— А ты все сидишь, — говорю я, помолчав немного и отдохнув. — Это нездорово. Ты бы занялся чем-нибудь!

— Чем? Мужчина может быть только воином или охотником. В охотники я не го-жусь, животных жалко. Воевать меня не возьмут, помните, ваши же друзья нашли у меня псориаз?

— Тогда, может быть, тебе жениться? — предлагаю я полушутя.

— Не на ком. Да и незачем.

— Так жить нельзя.

— То есть без жены? Для чего она? Впрочем, для страсти женщин сколько угодно, была бы охота.

— Это, Костя, некрасиво.

— Что некрасиво?

— Да вот то, что ты сейчас сказал.

— А то, что у всех женщин вокруг глазки прелестные и пустые, как у котят? Это все равно красиво?

Заметив, что я огорчен, и желая сгладить дурное впечатление, Костя говорит:

— Пойдемте. Идите сюда. Вот.

Он ведет меня в очень уютную комнатку и говорит, указывая на письменный стол:

— Вот... Приготовил для вас. Тут вы будете заниматься. Приезжайте каждый день и привозите с собой работу. А дома вам только мешают. Будете здесь работать? Хотите?

Чтобы не огорчить его отказом, я отвечаю, что буду приезжать к нему пару раз в неделю, что комната мне очень нравится. Затем мы оба садимся в гостиной и начинаем разговаривать.

Тепло, уютная обстановка и присутствие хорошего человека возбуждают во мне теперь не чувство удовольствия, как прежде, а сильный позыв к жалобам и брюзжанию. Мне кажется почему-то, что если я поропщу и пожалуюсь, мне станет легче.

— Плохо дело у меня! — начинаю я со вздохом.

— Что такое?

— Видишь ли, мой друг. Самое лучшее и самое святое право королей — это право помилования. И я всегда чувствовал себя королем, так как безгранично пользовался этим правом. Я старался не судить людей, был снисходителен, охотно прощал всех направо и налево. Где другие протестовали и возмущались, там я только советовал и убеждал. Всю свою жизнь я стремился к тому, чтобы мое общество было выносимо для семьи, студентов, коллег, окружающих. И такое мое отношение к людям, я знаю, воспитывало всех, кому приходилось быть около меня. Но теперь уж я не король. Во мне происходит нечто такое, что прилично только рабам: в голове моей день и ночь бродят злые мысли, а в душе свили себе гнездо чувства, каких я не знал раньше. Я и ненавижу, и презираю, и негодую, и возмущаюсь, и боюсь. Я стал не в меру строг, требователен, раздражителен, нелюбезен, подозрителен. Даже то, что прежде давало мне повод пошутить да добродушно посмеяться, родит во мне теперь тяжелое чувство. Изменилась и моя логика: прежде ненавидел насилие и произвол, а теперь ненавижу людей, употребляющих насилие, точно виноваты они одни, а не все мы, которые не умеем взаимодействовать и договариваться друг с другом. Что это значит? Если новые мысли и новые чувства произошли от перемены убеждений, то откуда могла взяться эта перемена? Разве мир стал хуже, а я лучше, или раньше я был слеп и равнодушен? Если же эта перемена произошла от общего упадка физических и умственных сил — я ведь болен, — то положение мое совсем печально: значит, мои новые мысли ненормальны, нездоровы, я должен стыдиться их и считать ничтожными...

— А может быть, болезнь тут ни при чем, — перебивает меня Костя. — Просто у вас открылись глаза. Вы увидели то, чего раньше не хотели замечать. По-моему, прежде всего вам нужно окончательно порвать с семьей и уйти.

— Ты говоришь чушь.

— Вы уже не любите жену, и это видно, что ж тут кривить душой? И разве это семья?

— Костя, — говорю я строго, — прошу тебя остановиться. Я не уйду из семьи хотя бы потому, что моя жена всю жизнь любила и до конца своей жизни будет любить моих детей. И тебя тоже!

— А вы думаете, мне весело говорить об этом? Слушайте, бросьте все и уезжайте. Поезжайте за границу. Чем скорее, тем лучше. Вы же говорили, что вам Италия очень нравится.

Я много поездил по Европе и Америке с лекциями и докладами на конференциях. Но только один раз за всю жизнь я был в отпуске за границей. Как раз в Италии. И маршрут хороший: Рим—Флоренция—Милан—Бергамо—Венеция. Звучит как стихотворение. Есть ли одно слово, чтобы можно было охарактеризовать Италию? Конечно, есть, и это слово — красота.

— Не могу уехать. Как брошу университет?

— Да бросьте его! Что он вам? Все равно никакого толку. Читаете вы уже тридцать лет, а где ваши ученики? Много ли из них стало знаменитыми учеными? Считайте-ка! А чтобы множить докторов наук, которые эксплуатируют невежество, позволяя олигархам наживать миллиарды, не нужно быть талантливым и хорошим человеком. Вы лишний.

— Замолчи, Костя, иначе я уйду! — ужасаюсь я.

Дальше мы идем пить чай и плавно переходим к другим темам. После того как я уже пожаловался, мне хочется дать волю другой своей старческой слабости — воспоминаниям. Я рассказываю Косте о своем прошлом и, к великому удивлению, сообщая ему такие подробности, о каких я даже не подозревал, что они еще живы в моей памяти.

— Мне не на что жаловаться. Мечты мои сбылись. Я получил больше, чем смел мечтать. Тридцать лет я был любимым профессором, имел превосходных коллег. Я любил, женился по страстной любви, имел детей. Одним словом, если оглянуться назад, то вся моя жизнь представляется мне красивой, талантливо сделанной композицией. Теперь мне остается только не испортить финала. Для этого нужно умереть по-человечески. Если смерть в самом деле опасность, то нужно встретить ее так, как подобает учителю, ученому и христианину: бодро и со спокойной душой.

— А как наш Андрей? Вы знаете что-нибудь? Мне он не пишет и не звонит. А я очень по нему скучаю и хочу увидаться, — заводит разговор Костя о моем сыне, своем сводном брате.

— Он под Авдеевкой, уже комбат. Дядя Миша рассказал, что батальон Андрея два месяца просидел в окопах по колено в воде, но дождался сильного тумана, под его прикрытием зашел в Авдеевку и закрепился на окраинах. Молюсь за Андрея каждый день.

— Знаете, наш Андрей какой-то особенный. Помните нашу овчарку — Хантера? Я никогда не забуду, как он рвался сам с ней гулять. И первый раз, ему тогда было лет шесть, я не устоял и отдал ему поводок. Хантер сразу просек, что началась вольница, и принялся, конечно, тянуть Андрея с силой во все стороны. А он сопротивлялся, падал, спотыкался, порвал брюки и куртку, поцарапал руки, содрал кожу с коленей и ладоней. И он не то чтобы не заплакал, а даже когда я подходил взять Хантера за ошейник, он отталкивал меня и говорил: «Отойди, пойми, я сам должен. Сам должен!»

Конечно, я помню результат этого выгула собаки. Но по лицам детей я понял, что произошло что-то совсем другое, намного более важное, чем просто неприятность, халатность или травма. По их лицам было видно, что произошло какое-то внутреннее изменение их обоих. Я наконец увидел, как дети подрастают и неминуемо взрослеют...

Раздался звонок в дверь. Костя сказал:

— Должно быть, Анжелика Алексеевна.

Он идет открывать дверь. И через минуту входит моя коллега, главный методист нашей учебной части, кандидат философских наук и большая умница в своей работе Анжелика Алексеевна. Для меня неожиданность и откровение ее визит к Косте. Не подозревал о таких встречах. Анжелика Алексеевна красива и стройна, думаю, ей лет тридцать пять, а ее глаза всегда выдавали ум, даже когда она еще была студенткой и я читал ей лекции. Я хорошо помню, как часто мой взгляд непроизвольно выбирал именно ее лицо, и вся мужская часть аудитории как бы сразу в этот момент направляла взгляды к ней. Костин тезис о кошачьей пустоте женских глаз, окружающих его, разбивается вдребезги с приходом Анжелики Алексеевны. Я думаю, что ее

красота и ум — нечто исключительное и небезопасное для знакомых мужчин. Кроме того, что она прекрасный методист, она отзывчивый и добрый товарищ, во всяком случае для меня. Ее отец — известный советско-российский поэт и писатель, к сожалению, примерно уже полтора-два года как скончавшийся. Она разведена, у нее есть сын лет тринадцати.

Войдя, она говорит бархатным голосом:

— Здравствуйте, друзья! Чай пьете? Очень кстати. Адски холодно.

Затем садится за стол, берет себе кружку, и пока мы суетимся с чайником, начинает говорить. Самое характерное в ее манере говорить — неизменно шуточный тон, какая-то помесь философии с балагурством, как у шекспировских гробокопателей. Она почти всегда говорит о серьезном, но никогда не говорит серьезно. Начинает с анекдотов и историй из университетской жизни.

— Года три тому назад, вот Георгий Викторович помнит, пришлось мне читать в актовом зале университета годовой доклад о наших научных прорывах. Презентация красивая, восемьдесят страниц. Конец июня, жарко, душно — просто смерть! Читаю полчаса, час, полтора часа, два часа... «Ну, думаю, слава богу, осталось еще двадцать страниц». А в конце, я знала, что есть страниц десять, которые можно и пропустить, и я, конечно, и планировала так сделать. Значит, осталось, думаю, еще десяток страниц до конца. Но представьте, взглянула мельком вперед и вижу: в первом ряду сидят рядышком директриса Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта (ИПИПИИ) — кто ж ее не знает? — а около нее — какой-то генерал, видимо для надежной охраны, и мальчик ее новый из гламурной тусовки, театральный режиссер. Бедняги окоченели от скуки, таращат глаза, чтоб не уснуть, директрисе ИПИПИИ уже хочется пи-пии, а все-таки вся троица старается изображать на своих лицах внимание и делает вид, что мое чтение и слайды презентации им понятны, чрезвычайно интересны и даже нравятся. Ну, думаю, коли нравятся, так нате же вам! И показала все страницы без пропусков! Два часа сорок минут!

Когда Анжелика Алексеевна говорит и улыбается, то у нее, как вообще у насмешливых людей, выделяются одни только глаза. И в глазах у нее в это время нет ни ненависти, ни злости, но много остроты и той особой лисьей хитрости, какую можно подметить только у очень наблюдательных людей. Если продолжать говорить о ее глазах, то я заметил еще одну их особенность. Когда она принимает от Кости кружку, или выслушивает его комментарий, или провожает его взглядом, когда он зачем-нибудь ненадолго выходит из комнаты, то в ее взгляде я замечаю что-то кроткое, молящее, чистое...

За разговором мы поднимаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка, причем больше всего достается тому, что мы больше всего любим, то есть науке.

— Наука, слава богу, отжила свой век, — говорит Анжелика Алексеевна с расстановкой. — Ее песня уже спета. Человечество уже чувствует потребность заменить ее чем-нибудь другим. Выросла она на почве предрассудков, вскормлена предрассудками и составляет теперь такую же квинтэссенцию из предрассудков, как ее отжившие бабушки: алхимия, астрология и метафизика. Что, в самом деле, потеряли дикие племена, которые до сих пор не знают науки?

— И мухи не знают науки, — говорю я, — но что же из этого?

— Вы напрасно сердитесь, Георгий Викторович. Я ведь это говорю здесь, между нами... Я осторожнее, чем вы думаете, и не стану говорить это публично, упаси бог! В массе людей живет предрассудок, что науки и искусства выше сельского хозяйства, промышленности, торговли и прикладных ремесел, типа медицины. Наша секта кормится этим предрассудком, и не мне с вами разрушать их.

Достается от Анжелики Алексеевны на орехи и молодежи.

— Измельчала нынче наша молодежь, — вздыхает она, — Не говорю уже об их идеалах, но хоть бы работать и мыслить уметь толком! Вот уж именно: «Печально я гляжу на наше поколение».

Все эти разговоры об измельчании производят на меня всякий раз такое впечатление, как будто я нечаянно подслушал телефонный разговор своей дочери на сексуальную тему. Мне обидно, что обвинения огульны и строятся на таких давно избитых общих заявлениях, как измельчание, отсутствие идеалов или ссылка на прекрасное прошлое. Всякое обвинение, даже если оно высказывается дамой или в дамском обществе, должно быть сформулировано с возможной определенностью, иначе это не обвинение, а пустое злословие, недостойное порядочных людей.

Я учу студентов уже тридцать лет, но не замечаю ни измельчания, ни отсутствия идеалов и не нахожу, чтобы теперь было хуже, чем прежде. Уверен, что нынешние студенты не лучше и не хуже прежних.

Если бы меня спросили, что мне не нравится в теперешних моих учениках, то я ответил бы на это не сразу и не много. Недостатки их я знаю, и мне поэтому нет надобности прибегать к туману общих мест. Мне не нравится, что они курят, употребляют спиртные напитки и поздно женятся; что они беспечны и часто равнодушны даже к сверстникам в своей среде. Они плохо знают иностранные языки, как они сами выражаются — «типа на уровне Google», и неправильно и часто неграмотно выражаются по-русски. Они охотно поддаются влиянию писателей новейшего времени, даже не лучших, коими изобилует Internet, и абсолютно равнодушны к классике, и это их неумение отличать большое от малого ярко демонстрирует отсутствие у них внутренних опор, дающих человеку житейскую стойкость. Из-за этого они, гибкие и быстро адаптирующиеся, на поверку часто бесхребетны, что дает возможность ими с легкостью манипулировать и направлять их ум, силы и энергию в сторону, нужную управляющему, и это практически уничтожает их самостоятельность и способность к свободному выбору. Они склонны к приспособленчеству.

Вот многие профессора с геологического или географического факультетов жалуются мне, что им приходится читать вдвое больше, так как студенты плохо знают физику и приходится обучать их физике на уровне советского школьного курса, иначе они совсем не могут понять элементарные основы геологии или метеорологии. Но вина ли этих детей, что их сейчас так отвратительно учат в школе? Мне говорили директора самых известных в Москве частных гимназий, что им приходится давать школьникам теперь тоже вдвое больше: одни знания — «так, как есть», а другие — «правильные ответы для ЕГЭ». Во что могут вообще поверить, на что могут опереться люди, если им со школьного возраста выдают этот двойной стандарт?

Подобные недостатки, как бы много их ни было, могут породить пессимистическое и негативное настроение только в человеке малодушном. Все они носят случайный, преходящий характер и зависят от жизненных условий; достаточно лет десяти, чтобы они исчезли или уступили место другим, новым недостаткам, без которых не обойтись и которые в свою очередь будут пугать следующее поколение малодушных и робких. Студенческие грехи досаждают мне часто, но эта досада ничто в сравнении с той радостью, какую я испытываю уже тридцать лет, когда беседую с учениками, читаю им лекции, приглядываюсь к их отношениям и сравниваю их с людьми не их круга.

Я уже собирался уходить, когда Анжелика Алексеевна сказала:

— В последнее время вы ужасно похудели и состарились, Георгий Викторович. Что с вами? Больны?

— Да, болен немножко.

— И не лечится... — угрюмо вставляет Костя.

— Отчего же не лечитесь? Как можно? А я, знаете, последний семестр дорабатываю в университете. В июне уезжаю за границу, надолго, может быть, навсегда. Я ведь вступила в наследство отцовское и в авторские права на все произведения. Мне хватит даже на не очень скромную жизнь, и домик маленький есть в итальянской деревушке на море, рядом с Сорренто. Я уже все согласовала в ректорате, оформила документы и заявления. Перед отъездом будет мой прощальный банкет на факультете, приглашаю вас, приходите проститься. Непременно!

Выхожу я от Кости раздраженный, напуганный разговорами о моей болезни и недовольный собою.

Покрыто ли небо тучами, или сияют на нем луна и звезды, я всякий раз, возвращаясь, гляжу на него и думаю о том, что скоро меня возьмет смерть. Казалось бы, в это время мысли мои должны быть глубоки, как небо, яркие, поразительны... Но нет! Я думаю о себе самом, о жене, Анюте, ее ухажере, о студентах, вообще о людях; думаю нехорошо, мелко, хитрю перед самим собою, и в это время мое мирозерцание может быть выражено словами, которые Салтыков-Щедрин сказал в одном из своих произведений: «Все хорошее на свете не может быть без дурного, и всегда более дурного, чем хорошего». То есть все гадко, не для чего жить, а те годы, которые уже прожиты, следует считать пропащими. Я ловлю себя на этих мыслях и стараюсь убедить себя, что они случайны, временны и сидят во мне не глубоко, но тотчас же я думаю: «Если так, то зачем же я так часто хожу к Косте?»

И я даю себе клятву больше никогда не ходить к Косте, хотя и знаю, что пройдет максимум неделя, и я опять пойду к нему в гости.

Заходя в свою квартиру, бывшую квартиру моего друга Стаса, который не дожид до своего тридцатилетия, я чувствую, что у меня уже нет семьи и нет желания вернуть ее. Ясно, что мысли Салтыкова-Щедрина сидят во мне не случайно и не временно, а владеют всем моим существом. С больной совестью, унылый, ленивый, едва шаркая ногами, точно во мне прибавилась тонна веса, я ложусь в постель и скоро засыпаю.

А потом — бессонница...

Глава 6

Бывают страшные ночи. Осенью они обычно с громом, молнией, дождем и ветром. Зимой эти ночи необычайно тихие, морозные и неприветливые, так что не хочется выходить на улицу. У шаманов такие ночи называются «совиными», они не спят и тихо заговаривают это время: «Совий глаз черен, как ночь, а голос совы душен, как угли потухшей печи...» Такая совиная ночь наступает и у меня.

Я просыпаюсь, как всегда, во втором часу и вскакиваю с постели. Мне кажется, что я сейчас внезапно умру. Почему кажется? Нет ни одного ощущения, которое указывало бы на скорый конец, но душу мою гнетет такой ужас, будто я вдруг увидел громадное злое зарево ядерного взрыва.

Я быстро зажигаю свет, пью воду, спешу к окну. Погода на дворе морозная и великопная. На небе спокойная, очень яркая луна и ни одного облака. Полнейшая тишина, совсем нехарактерная для Кутузовского проспекта. Мне кажется, нечто невидимое глазу смотрит на меня из-за окна и прислушивается, как я буду умирать...

Жутко. Щупаю у себя пульс и, не найдя на руке, ишу его в висках, потом на шее и опять на руке. Дыхание учащается, тело дрожит, все внутренности в движении, на лице и на волосах такое ощущение, будто на них садится паутина.

Что делать? Позвать жену и дочь? Нет, не нужно. Что будут делать жена и Анюта, когда войдут ко мне?

Я прячу голову под подушку, закрываю глаза и жду, жду... Спине холодно, и такое чувство, как будто смерть подойдет ко мне непременно сзади, потихоньку...

— Куик-куик! — раздается вдруг писк в ночной тишине, и я не знаю, где это: в моей груди или на улице?

— Куик-куик!

Мне страшно! Выпил бы еще воды, но уже страшно открыть глаза и поднять голову. Ужас безотчетный, животный, и я никак не могу понять, отчего мне страшно: оттого ли, что хочется жить, или оттого, что меня ждет новая, еще не изведанная боль?

Наверху, за потолком, у соседей, кто-то не то стонет, не то смеется... Прислушиваюсь. Немного погода в гостиной раздаются шаги. Замирают у двери в мою комнату.

— Кто там? — кричу я.

Дверь отворяется, я смело открываю глаза и вижу жену. Лицо у нее бледно и глаза заплаканы.

— Ты не спишь, Гоша? — спрашивает она.

— Что тебе?

— Ради бога, сходи к Анюте и посмотри на нее. С ней что-то делается... Может, позвонить в неотложку?

— Хорошо... — бормочу я, довольный тем, что я не один такой в мире. — Хорошо... Иду.

Я иду за женой, слушаю, что она говорит, и ничего не понимаю от волнения. Я задышаюсь, и мне кажется, что за мной кто-то гонится и хочет схватить за спину. «Сейчас умру здесь, — думаю я. — Сейчас...» Но вот миновали гостиную и коридор с итальянским окном и входим в комнату Анюты. Она сидит на постели в одной сорочке, свесив босые ноги, и стонет.

— Ах, боже мой... ах, боже мой! — бормочет она, жмурясь от включенного света. — Не могу, не могу...

— Анюта, доченька, — говорю я. — Что с тобой?

Увидев меня, она вскрикивает и бросается мне на шею.

— Папа мой добрый... — рыдает она, — папа мой хороший... Я не знаю, что со мною... Тяжело!

Она обнимает меня, целует и лепечет ласковые слова, какие я слышал от нее, когда она была еще ребенком.

— Успокойся, доченька, — говорю я. — Не нужно плакать. Мне и самому бывает тяжело.

Я стараюсь укрыть ее, жена дает ей пить, и оба мы беспорядочно толчемся около постели; плечом я толкаю ее в плечо, и мне вспоминается, как мы когда-то вместе купали наших детей.

— Да помоги же ей, помоги! — умоляет жена. — Сделай что-нибудь!

Что же я могу сделать? Ничего не могу. На душе у девочки какая-то тяжесть, но я ничего не понимаю, не знаю и могу только бормотать.

— Ничего, ничего... Это пройдет... Спи, спи...

Когда я, немного погодя, возвращаюсь к себе в комнату, чтобы найти в аптечке какое-нибудь лекарство для Анюты, я уж не думаю о том, что скоро умру, но на душе тяжело, нудно, и даже жаль, что я не умер внезапно. Долго стою среди комнаты неподвижно и придумываю, что бы такое дать дочери, вдруг стоны за потолком умолкают, и я решаю, что ничего не нахожу, и все-таки стою...

Тишина мертвая, такая тишина, что даже в ушах звенит. Время идет медленно, полосы лунного света на подоконнике не меняют своего положения, точно застыли... Рассвет еще не скоро.

Но вдруг звонок в дверь. Жена открывает и впускает Костю. Он, быстро раздевшись, проходит в мою комнату.

— Георгий Викторович! — слышу я голос Кости немного отдаленно, как будто через стекло. — Батя!

— Костя, зачем ты приехал? Что у тебя случилось?

— Простите, — говорит он. — Ничего у меня не случилось... Мне вдруг стало невыносимо тяжело... Я не выдержал и поехал к вам... У вас в окнах увидел свет и... и решил зайти... Извините... Если б вы знали, как мне было тяжело! Что вы сейчас делаете?

— Ничего... Бессонница.

— У меня какое-то предчувствие было.

Брови его поднимаются, глаза блестят, будто недавно в них были слезы, и все лицо озаряется, как светом, знакомым мне, но давно не виденным выражением доверчивости.

— А знаете что, Георгий Викторович, не прокатиться ли нам с ветерком?

Внизу, в гараже, стоит гоночный автомобиль «Сильвия-ниссан-2000», на котором я с Костиным отцом, еще будучи студентом, разогнался на Рублевском шоссе до трехсот километров в час. Больше мы не сумели, потому что чувствовали, что сейчас оторвемся от полотна и полетим. Костя тоже поклонник быстрой езды и этот автомобиль особенно любит. Иногда специально приезжает, чтобы на нем покататься.

— Поехали, Костя. Ты за рулем. Надеюсь, не пил вечером?

— Что вы, батя, лет пять уже не пью.

Мы одеваемся и спускаемся в паркинг. Садимся, заводимся и выруливаем на Кутузовский. «Ниссан» разгоняется быстро и летит по совершенно пустому проспекту. Мы сворачиваем на Рублевку, летим дальше и дальше и скоро пролетаем МКАД. Дальше свобода, ни одной машины на трассе. Мы продолжаем набирать скорость, уже двести пятьдесят. Это удовольствие сложно описать словами, оно схоже только со скоростным спуском на горных лыжах. Я смотрю на Костю и вижу, что его отпускает и вместо тяжести и печали к нему возвращаются легкость и веселье. В кровь пошел адреналин.

Вдруг иссиня-синее, безоблачное морозное небо окрашивается в ярко-зеленый цвет, живой и объемный, который то вдруг слегка растягивается, а то вдруг сжимается по линии всего горизонта, в каком-то незатухающем фантастическом блюзовом ритме.

— Что это? — пораженно восклицает Костя.

— Это, сын мой, северное сияние. Слава богу, дожили мы до того, чтобы увидеть это красивейшее явление в Московской области.

— Да разве такое возможно, мы так далеко от полюса?

— Наш университетский геофак утверждает, что возможно, и мы уже не очень далеко от полюса. Магнитные полюса перемещаются. И сейчас Северный находится над Россией. Где точно, это наши экспедиционщики скоро определят и даже точку на карту нанесут, только это знание будет дано нам ненадолго, ровно до следующего скачка. Из-за таких необъяснимых скачков магнитных полюсов и возможны такие чудеса природы. Мир сказочен и загадочен. Понимают это только шаманы и ученые.

Мы снижаем скорость и любуемся сиянием в небе еще несколько минут, потом разворачиваемся и возвращаемся в Москву.

— Георгий Викторович, — после долгой молчаливой паузы начинает разговор Костя, — я как-то в детстве нашел тетрадку отца, старую такую, в клеточку, и там его ру-

кой были написаны стихи и его какие-то заметки. Я так понял, что это он в армии ваши стихи записал?

— Не стихи, Костя, а песни. Помнишь дядю Мишу, он приезжал к нам несколько раз в гости, зазывал тебя позаниматься в его бойцовском клубе? Так вот он даже пел их, не помнишь такого?

— Вспоминаю теперь. Знаете, я читал их в детстве сначала себе, а потом себе и Андрею. И мы пытались играть в десантников, защищающих высоту три тысячи двести. У нас ничего не получалось. Проходило несколько дней, мы опять читали и опять пытались играть в десантников, и у нас опять не получалось, и мы быстро бросили эту игру. Через какое-то время Андрей сказал: «Бесполезно в это играть, надо просто такими быть». И я понял его. Мы привыкли, что литературные произведения принято описывать в терминах «нравится-не нравится», «гениальное-посредственное», «чувственное-тупое», а тут совсем другое. Про эти записи так не скажешь. Это как свое, оно может быть прекрасным или ужасным, смешным или грустным, но оно свое, нечужое, понимаете?

— Эти песни — солдатская правда нашего взвода. И там, на высоте, они выражали нашу общую идею, дававшую нам смысл и силу. Мы еще не могли сформулировать ее в словах в силу молодости и неискушенности ума. Но она уже витала над нами, когда мы начинали петь.

Минуту мы молчим.

— Скажи мне, Костя, а если нужно было бы оставить только одно стихотворение из всех, что ты прочел, какое бы ты оставил?

— Я бы оставил вот это:

Бывает миг в бою — молитвы не спасут,
Спасает мужество и сталь клинков булатных.
Сегодня отпустил нас Высший суд,
Забрав в присяжные не самых кровожадных.

Но жить, друзья, нам выпало сейчас,
Не завтра и не даже после боя,
Когда из трех останется нас двое
Или когда совсем не станет нас.

И снова пушки дребезжат наперебой,
И в вещмешке лежит последняя граната,
И расцветает желтый зверобой
Разлукой в вечность уходящего солдата.

Но жить, друзья, нам выпало сейчас,
Не завтра и не даже после боя —
Один останется, а было двое,
Или когда совсем не станет нас.

Наступит день — я завершу последний бой
И, сдав оружие, не попрошу о многом:
Мне нужен одиночества покой.
Я жажду быть забытым
Даже Богом...

Глава 7

Я в Симферополе. Пасмурно, дождь, февраль.

Так как бороться с теперешним моим настроением было бы бесполезно, да и не в моих силах, то я решил, что последние месяцы жизни будут безупречны хотя бы с формальной стороны; если я не прав по отношению к своей семье, что я отлично сознаю, то буду стараться делать так, как она хочет. К тому же в последнее время я так равнодушен ко всему, что мне решительно все равно, куда ехать, в Симферополь, в Париж или в Рио-де-Жанейро.

Приехал я сюда около полудня и остановился в отеле, напротив Александро-Невского собора. Надо было бы сегодня же встретиться со знакомыми профессорами Крымского университета, да нет сил.

Последние месяцы моей жизни, пока я жду неминуемого, кажутся мне гораздо длиннее всей моей жизни. И никогда раньше я не умел так мириться с медленностью времени, как теперь. Прежде, бывало, когда ждешь на вокзале поезда или сидишь на экзаме, четверть часа кажутся вечностью, теперь же я могу всю ночь сидеть неподвижно на кровати и совершенно равнодушно думать о том, что завтра будет такая же длинная, бесцветная ночь и послезавтра...

Чтобы занять себя мыслями, я вспоминаю прежнюю свою точку зрения, когда не был равнодушен, и спрашиваю: зачем я сижу в этом номере, на этой кровати с чужим серым одеялом? И на этот вопрос я отвечаю себе усмешкой. Смешна мне моя наивность, с какою я когда-то в молодости преувеличивал значение известности и того исключительного положения, каким будто бы пользуются знаменитости. Сижу я один-одинешенек в чужом городе, на чужой кровати... Семейные дразги, неустроенность детей, немилосердие начальства, дорогая и нездоровая пища в ресторанах и фастфудах, снижение уровня культуры и жесткость в отношениях — все это и многое другое, что было бы слишком долго перечислять, касается меня так же, как любого другого человека, известного только соседям по дому.

Что-то пикнуло в ноутбуке. Пришло письмо от жены: «Дорогой Гоша! Анюта и Женя Гоцан втайне от всех в конце осени подали заявление в загс. И сейчас рассылают приглашения на свою свадьбу, которая будет 29 февраля. Анюта сегодня вручила мне его, собрала вещи и сказала, что уезжает жить к Жене на съемную квартиру. Возвращайся скорее. Твоя Лена».

Я читаю письмо и пугаюсь ненадолго. Пугает меня не поступок Анюты и Жени, а мое равнодушие, с каким я встречаю известие об их свадьбе. Говорят, что философы и истинные мудрецы равнодушны. Неправда, равнодушие — это паралич души, преждевременная смерть.

Выхожу из почты, машинально смотрю новостную ленту и моментально улавливаю нужную мне вест: «Главком ВСУ (вооруженных сил Украины) объявил об отходе войск из Авдеевки и переходе на более удобные рубежи обороны».

Для меня это волнительная новость. Я уверен, что батальон Андрея именно там.

Я ложусь в постель, как всегда, около полуночи. Засыпаю быстро, вижу черную дымку, которая потихоньку светлеет, и понемногу начинаю различать фигуру взрослого мужчины, который держит за руку маленького ребенка. Когда становится светлее, я понимаю, что это мой отец Виктор, которого я похоронил в один год со Степкой Проваловым. Отцу немного больше тридцати, должно быть, ребенок, которого он держит за руку, это я в детстве. Я приглядываюсь к ребенку и вдруг понимаю, что это Ан-

дрей и ему не больше трех лет. Я пытаюсь кинуться к ним и обнять обоих, но отец взглядом останавливает меня, и я буквально застываю на месте. Через мгновение отец, слегка кивнув мне, разворачивается и, ведя Андрея за руку, уходит с ним от меня все дальше и дальше. А я так и стою как вкопанный, будто превратился в камень. И не могу ни догнать их, ни задержать. Только смотреть им вслед, не в силах ни пошевелиться, ни сказать что-то. Кажется, сейчас остановится сердце и иссякнет свет в глазах. Андрей с отцом скрываются вдаль, а земля передо мной вдруг разверзается черной ямой, будто кто-то выкопал из угольной шахты выход на поверхность. Из ямы появляется Степка Провалов и, глядя мне прямо в глаза, говорит: «Уходи. Я помогу...»

Я вздрагиваю и просыпаюсь с полностью онемевшими конечностями и туловищем и чувствую сильную немую боль во всем теле. «Боже, мой! Андрей!.. Где же ты? Почему я вчера не поехал к тебе в Авдеевку? Зачем я здесь, в этом Симферополе? Прости меня! Дождись меня, Андрей, заклинаю всем, что у меня есть! Как тебя попросить об этом, чтоб ты услышал? Господи, прости меня, неразумного раба твоего!»

Я понимаю, что сегодня больше все равно не усну, и начинаю придумывать, какими бы занять себя мыслями, чтобы не погрузиться в хаос и ужас, царящие в душе.

Наступает рассвет, я сижу в постели, обняв руками колени, и стараюсь познать самого себя. «Познай самого себя» — прекрасный и полезный совет, жаль только, что древние не догадались указать способ, как пользоваться этим советом.

Когда мне прежде приходила охота понять кого-нибудь или себя, то я принимал во внимание не поступки, в которых все условно, а желания. Скажи мне, чего ты хочешь, и я скажу, кто ты.

И теперь я экзаменую себя: чего я хочу?

Я хочу, чтобы наши жены, дети, друзья, ученики любили в нас не имя, не бренд, не мысли, а обыкновенных людей. Еще что? Я хотел бы иметь помощников и наследников. Еще что? Хотел бы проснуться лет через сто и хоть одним глазом взглянуть, что будет с наукой. Хотел бы еще пожить лет десять... Дальше что?

А дальше ничего. Я думаю, долго думаю и ничего не могу еще придумать. И сколько бы я ни думал и куда бы ни разбрасывались мои мысли, для меня ясно, что в моих желаниях нет чего-то главного, чего-то очень важного.

В моем пристрастии к науке, в моем желании жить, в этом сидении на чужой кровати и в стремлении познать самого себя, во всех мыслях, чувствах и понятиях, какие я составляю обо всем, нет чего-то общего, что связывало бы все это в одно целое. Каждое чувство и каждая мысль живут во мне особняком, и во всех моих суждениях о науке, искусстве, литературе, учениках и во всех картинках, которые рисует мое воображение, даже самый искусный аналитик не найдет того, что называется общей связующей идеей или богом живого человека. А только ли у меня одного так? В нашей стране тоже нет общей связующей идеи, поэтому у нас раскол в семьях, среди коллег в университете, в одноклассниках, одноклассниках, одноклассниках, во всех социальных средах и группах.

А ведь без этой идеи и не будет ничего путного. Чем грозит отсутствие такой идеи?

При такой духовной нищете у отдельного человека достаточно любого несерьезного недуга, страха смерти, влияния обстоятельств и людей, чтобы все, в чем он видел смысл и радость своей жизни, перевернулось вверх дном и разлетелось в клочья. То же самое касается и общества в целом, отсутствие такой идеи грозит развалом сначала семей и групп, а потом и государства.

Для меня неудивительно, что последние месяцы своей жизни я омрачил мыслями и чувствами, достойными раба, что теперь я равнодушен и не замечаю рассвета.

Когда в человеке нет того, что выше и сильнее всех внешних влияний, то, право, достаточно для него хорошего насморка, чтобы потерять равновесие и начать видеть в каждой птице сову, в каждом звуке слышать волчий вой. А вот то, что я, философ, не трачу последние дни жизни, чтобы помочь своей стране найти эту общую связующую идею — это крайне печально для меня как для ученого. Нет, я должен успеть ее найти, пока живу!

Легкий стук в дверь. Стоило подумать о нужном, как я сам сразу стал кому-то нужен.

— Кто там? Войдите!

Дверь отворяется, и я, удивленный, отступаю назад, передо мной стоит Костя.

— Здравствуйте, — говорит он, тяжело дыша. — Не ожидали? Я тоже... тоже неожиданно приехал.

Он садится и продолжает, слегка запинаясь и не глядя на меня:

— Что же вы не здороваетесь? Я тоже приехал... сегодня... Узнал, что вы в этой гостинице, и пришел к вам.

— Очень рад видеть тебя, Костя, — говорю я, пожимая плечами, — но я удивлен... Ты точно с неба свалился, прямо как десантник. Зачем ты в Симферополе?

— Я? Так... просто взял да и приехал.

Молчание. Вдруг он порывисто встает и идет ко мне.

— Георгий Викторович! — говорит он, бледнея и сжимая кулаки. — Я не могу дольше так жить! Не могу! Ради бога, скажите скорее, сейчас: что мне делать? Говорите, что мне делать?

— Что же я могу сказать? — недоумеваю я. — Я правильно понимаю, что ты про Анжелику Алексеевну спрашиваешь?

— Говорите же, не спрашивайте, вы всех нас всегда знаете лучше, чем мы сами! — продолжает он, задыхаясь и дрожа всем телом.

— Не знаю. Хорошая женщина, мне всегда нравилась. Решай сам. Про себя могу сказать, если бы мне дали еще десяток лет жизни, то я согласился бы пожить жизнью итальянского рыбака в деревне под Сорренто. До света на баркасе уходил бы в море с такими же итальянскими стариками, как я. Смотрел бы, как над морским горизонтом плавно и ярко поднимается солнце. Они пели бы итальянские песни о любви, а я бы слушал. К обеду бы возвращались с уловом и, быстро раздав его по лавкам и ресторанам, шли бы домой. Где нас ждали бы прекрасные старухи вроде нашей Анжелики Алексеевны. Хотя какая она старуха, вполне может тебе детей родить. И у вас будут красивые и умные дети. Потомки польских и русских дворян, если вообще можно как-то разделить дворян на польских и русских, как по мне, это давно одно и то же, начиная с внука Тараса Бульбы.

Лицо Кости немного светлеет, и я продолжаю:

— Так вот, итальянские рыбаки обычно ужинают с женами и пьют вино, чтобы в момент, когда последний луч солнца уйдет за горизонт, уже закрыть глаза и крепко уснуть до самой зари. Сон — ведь это особое счастье, скажу я тебе.

— Говорите, прошу вас, батя!

— Но ты молод, и у тебя огромный горизонт возможностей. Я люблю твои съемки под водой. А вот замечь, уже в космосе сняли кино. Может, ты возьмешься снять фильм под водой? Помни только одно: главное — это удивить наш мир. Поэтому неважно, чем конкретно ты займешься. Как вообще я могу сказать, что тебе делать и чем заниматься? Вначале давай так — удиви себя сам. А потом поймешь, как удивить мир. А дальше все получится само.

Минута проходит в молчании. Костя задумчив, но уже спокоен.

— Георгий Викторович! — говорит Костя, протягивая ко мне руки. — Дорогой мой, прошу вас... Согласитесь на мою просьбу!

— Что такое?

— Возьмите мои деньги! Вы поедете куда-нибудь лечиться... Вам нужно лечиться. Возьмете?

— Послушай меня, милый мой сын Константин. Ты ведь догадываешься по поводу моего серьезного отношения к деньгам? Давай так. Я с твоим отцом защищал нашу Родину, но мы знали, что Родина наша принадлежит не только нам. Твой отец Станислав Константинович также мужественно и беззаветно защищал эти деньги и знал, что они принадлежат не только ему. Так чьи они еще? Если ты можешь принять их в дар как наследник, то, значит, принимай и распоряжайся. Если ты не можешь перенести такого дара и к тому же не понимаешь, чьи еще это деньги и кому их передать, то я бы рекомендовал тебе отдать их Ходаковскому на «народный дрон». Наши университетские инженеры-эксперты хвалят, говорят, толковая и надежная вещь. А знаешь, как эти дроны необходимы? Это глаза нашего фронта. Мы с твоим отцом когда-то были глазами сороковой армии в Афганистане. И мы глядели так, что наши глаза превращались в совиные, способные видеть в сплошном мраке. Всегда важно видеть противника. Ты даже не представляешь, сколько жизней в итоге эти глаза-дроны могут спасти! Так что нет, друг мой, я не возьму этих денег. Распорядись сам.

Костя слегка поникает головой, но принимает мой довод, который не допускает дальнейших разговоров о деньгах.

— А вот кое о чем попрошу тебя, — после небольшой паузы говорю я, — давай квартиру на Кутузовском я перепису на нашу Анюту. Хотя, по совести, квартиру твоего отца я должен был бы оставить тебе. Но что-то мне подсказывает, что у Анюты будет большая семья, и уже совсем скоро.

— Батя, я и не собирался туда возвращаться. Еще в 2010 году, когда поехал в Америку, я понял, что покидаю отчий дом навсегда, вроде как «перерос» или, наоборот, никуда не вырасту, находясь в вашей тени. Потому твердо решил: буду возвращаться туда только в качестве гостя, повидаться с вами и с теми, кого с детства люблю. Давайте оставим Анюту...

— Только ты не забывай, приезжай к ней в гости, она будет рада тебя видеть. Ты даже не представляешь, насколько женщины, у которых есть старшие братья, счастливее тех, у которых их нет... Помни об этом, радуй ее!

Еще одна минута проходит в молчании.

— Не нравится мне Симферополь, — говорю я. — Серо уж очень. Какой-то хмурый город.

— Дожди. Но мы же при солнце его не видели. Вот Петербург в пасмурную погоду — тусклый и давящий город, а когда солнце — красив так, что глаз не оторвать. Может, и Симферополь так же хорош при свете? Но я, вообще-то, ненадолго сюда... Сегодня же уеду.

— Куда?

— Не знаю. Пока не решил. Но в Москве не могу ничего делать, в ближайшее время туда не вернусь.

Мне хочется сказать ему: «Не успеешь надолго уехать, Костя! Дела семейные — дела важнейшие, свадьба или похороны, что-то да тебя вернет. Сможешь ли уехать после этого? Хватит ли у тебя сил?»

Но я молчу, и скулы мои сжимаются, словно в спазме.

Костя более уверенным голосом продолжает:

— Мне нужно осуществить мою задумку — написать книгу.

— О чем?

— О вас и о своем отце, о вашем сыне Андрее, самом близком для меня человеке. Знаете, лет в тринадцать я вдруг почувствовал, что, несмотря на возраст, не я старший брат в семье, а мы просто братья, равные. И счастье в том, что брат есть, и старшинство ни при чем. Мы необходимые друг другу части, без которых это целое перестает существовать. И мы не можем ничего друг за друга решать или командовать и помыкать друг другом. По большому счету, мы можем только ценить друг друга и поддерживать. Я ведь плохо помню моего родного отца, но мне кажется, что вы с ним тоже две неразрывные части чего-то целого, поэтому вы для меня настоящий отец.

Костя замолк, а я думал, как точнее выразить его мысли. Вдруг Костя встрепенулся:

— И еще у меня осталась армейская тетрадка отца, где ваши песни и его записи. Я понял недавно, что в жизни только вами и горжусь. Ну и еще дядей Мишей, конечно. Только об этом я и могу написать, это если от души и по правде.

— Как назовешь книгу?

— Мне кажется, что отлично подходит строчка из Высоцкого: «Мы не успели оглянуться, а сыновья уходят в бой...»

— Длинновато для названия, подумай, как сократить.

Наступает молчание. Костя одевается молча и не спеша. Выражение лица становится суровым и мужским, напоминая мне лицо его отца. Я смотрю на него, и мне стыдно, что я счастливее этого молодого человека. Отсутствие того, что мои братья-философы называют общей связующей идеей, я заметил в себе только с началом болезни и, значит, незадолго перед смертью, на закате своих дней, а ведь душа Кости не будет знать приюта всю его оставшуюся жизнь! Такая плата поколения наших детей за ту жизнь, что мы строили или, наоборот, строили не мы, и строилась она без нашего участия, а только с нашего молчаливого малодушного согласия. Такая плата за нашу умственную лень, которая толкала нас поручить это важнейшее строительство другим людям.

— А вы когда возвращаетесь в Москву? — спрашивает Костя.

— Мне не к спеху. Поеду в Донецк. Там знакомая профессура, прочитаю лекции в их университете. Они как-нибудь да свяжут меня с командованием. Выпрошу у какого-нибудь генерала разрешение и пропуск доехать до Авдеевки. Хочу увидеть людей, которые называли моего сына «батьа», и попрощаться с Андреем. Давай прощаться, друг мой Костя! Береги себя!

РАССКАЗЫ

РИСУНОЧЕК ПИКАССО

Когда люди дружат не год, не два, а хотя бы с десятков лет, то кажется, что всё они друг про друга уже знают и ничего интересного и полезного дать друг другу не могут, кроме доброго совета. И это плохо — дружба превращается в рутину. Куда заманчивее режим, в котором сохраняются какие-то небольшие детали и секреты, которые открываются всю жизнь; возможно, надо реже общаться или вести более активный образ жизни, приобретая новые навыки и коллекционируя события. Хотя все это спорно.

Илья Криворотов и Миша Жмуркин над этим не задумывались, просто они умели удивлять и радовать друг друга при встречах, делясь впечатлениями от совершенно безумных командировок, в которых удается побывать иногда настоящим репортерам. Да и без командировок, если быть просто любопытным и наблюдательным, жизнь преподносит очень много интересного.

Потому, безусловно, для друзей и пара бутылок пива и бутылка вина, которые они позволяли себе при встречах, не были самоцелью: они были скорее поводом для радостного общения. Когда-то, в детстве, в школьные годы, они учились в одном классе и жили в одном дворе, в соседних домах, а вот теперь, после многих лет, судьба их вновь разместила под одной крышей телецентра, хотя и служили они в разных ведомствах: Илья на телевидении, а Михаил на радио.

Жмуркин сидел у себя в кабинете один после эфира, в который раз прорабатывая сюжет следующей передачи, когда к нему заглянул чуть растрепанный Криворотов с двумя бутылками вина.

— Привет, старик, — невнятно пробурчал Илья, — вот были мы тут на полузакрытом мероприятии, снимали репортаж, и презентовало мне руководство местное на память две бутылочки прекрасного полусладкого вина фирмы «Шене». Давай употребим. Мой оператор куда-то торопился и уехал на нашей машине, а я решил тебя порадовать. Ты же любишь «Шене»?

— Конечно! Надо быть дураком, чтобы не любить «Шене». Они ведь там не только эту бутылку с кривым горлышком придумали, но и качество пока что держат.

— Тогда доставай стаканы.

Олег Алексеевич Рябов родился в 1948 году в г. Горьком. Окончил Политехнический институт по специальности «радиоинженер». Первая публикация состоялась в 1968 году. Первая книга — повесть о войне «Письма отца» — вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1988 году. С тех пор вышли пятнадцать книг стихов и прозы. Печатался в журналах «Наш современник», «Нева», «Север» и др. Лауреат конкурсов «Ясная Поляна» и «Болдинская премия». Член Союза писателей России, российского ПЕН-центра, Национального союза библиофилов. Главный редактор журнала «Нижний Новгород».

Скинув куртку и выставив на журнальный столик бутылки, Илья аккуратно уложил свое большое тело в низкое обширное кресло для гостей. Беседа сразу задалась, хотя приобрела необычный оборот.

— Знаешь, старик, о чем я сегодня задумался, — начал Жмуркин, разлив по стаканам неожиданную жидкость, — часто я начинаю сожалеть о некоторых делах, которые сотворил в молодости и которые уже не исправить.

— Ты о чем?

— А о том, что ничего плохого я вроде бы и не сделал, а может, сделал даже что-то хорошее, а получилось нерационально.

— В смысле?

— А в том смысле, что начал я сожалеть о некоторых небольших подарках, которые я когда-то делал, не задумываясь, разным государственным структурам, а теперь жалею. Вот подарил я когда-то нашему литературному музею имени Горького два письма Шолохова — не было у них в музее ни одного автографа Шолохова! Позвонил я им — они обрадовались. Подарил — они поблагодарили, спасибо сказали, а потом, через полгода, директриса счастливая такая мне позвонила и доложила, что ездила она на какой-то юбилей Шолохова в станицу Вёшенскую и подарила мои письма местному музею Шолохова. А те письма любопытные были, мне их отказала одна моя знакомая старушка, у которой папа был врачом, не простым врачом — в «кремлевке» служил. Спас он когда-то сына Михаила Александровича, когда еще работал в какой-то провинциальной клинике то ли в Ростове, то ли в Краснодаре. Сын у Шолохова был летчиком, и вот он разбился где-то там на юге. В смысле, разбился-то самолет при испытаниях, а сын Шолохова только весь переломался, ну весь, но выжил, и Михаил Александрович в письмах умоляет буквально этого доктора спасти сына, обещает золотые горы, вплоть до упоминания, что он может и в Кремле что-то для того доктора сделать нужное и важное, если потребуется. Вот такие письма были, а я их профукал — точнее, я их в наш музей дарил безвозмездно, а они оказались в станице Вёшенской, в которой я и не бывал ни разу.

— Да, некрасивая история!

— Да письма — хрен с ними, не жалко. А вот рисунок Пикассо у меня был, так его жалко вдруг почему-то теперь стало.

— А откуда у тебя рисунок Пикассо? Что ты мне его не показывал?

— Да ты его сто раз видел. У меня в спальне напротив кровати весели в рамках деревянных небольшие два рисунка — Пикассо и Модильяни. У Пикассо там — башка быка и фигура матадора, а у Модильяни — две обнаженных женских фигуры.

— Не помню, ни разу не видел.

— Какой-то ты невнимательный. Мой дед после войны был в звании комиссара НКВД. Когда война закончилась, то, в принципе, не возбранялось всем нашим солдатам-победителям и офицерам, а генералам тем более, захватить к себе на родину кое-что из трофеев. Солдатики часы карманные или губную гармошку в карман могли сунуть, младшим офицерам полагалось полвагона, старшим — вагон, а генералы да маршалы составами упаковывались: и сервизы, и ковры, и мебельные гарнитуры, и концертные рояли, — и Германия, и Австрия, и Венгрия, и Чехословакия на год были отданы на разграбление. Тысячи вагонов с трофейным барахлом пришли с запада к нам сюда. А через пару лет опомнились и начали соответствующие органы помаленьку отбирать все трофейное добро у генералов и передавать в дома отдыха да в санатории. Мой дед самолично участвовал в этих обысках и реквизициях, а с ним ходила по пятам, по этим квартирам генеральским, и моя бабуля: с сумкой холщовой и в кацавейке бар-

хатной ходила она следом за моим дедушкой. И в каждой квартире какую-нибудь безделушку, или картинку, или статуэтку прихватит, в сумку свою сунет. Вот так и эти два рисуночка оказались сначала у нее, а потом уже она их мне и подарила.

Так вот, когда Антонова из Пушкинского музея выделила собрание работ из частных коллекций в отдельный музей, уж не знаю, как филиал он сейчас Пушкинского, или это стало отдельной структурой, я позвонил ей — благо у меня был повод. К тому же узнал я, что они эту коллекцию работ из частных собраний в скором времени планируют на экспозицию в Италию везти. По обмену по какому-то.

— А что за повод?

— Когда-то, давным-давно она проводила у себя в Пушкинском музее нашу шумевшую выставку, про которую только ленивый не слышал, — «Москва—Париж». Я тогда еще маленький был, двенадцать или тринадцать лет. Мы с мамой в то время в Москве были и вместе с группой товарищей из МВД на открытие этой выставки попали. Ты же знаешь, что мой другой дядька тоже генералом был — он это и организовал. Антонова тогда всем нам по альбому шикарному, к выставке приуроченному, подарила — прямо у себя в кабинете дарила. А я еще детской наглости тогда набрался и попросил ее на память подписать. Этот альбом и сейчас у меня дома лежит. Я тебе его покажу. Разыскал я телефон Пушкинского, звоню Антоновой, напоминаю ей про альбом, она понимает, что не из простого народа я. Самое главное, Илья — она меня вспомнила: не всем же она альбом тот подписывала, а мальчишку тринадцатилетнего тем более запомнила. А еще я ей рассказываю про эти два моих рисунка. Она заинтересовалась и говорит: «Привозите!»

— И чего — ты так просто повез?

— Ну конечно. А что?

— А то, что нам этих двух бутылок теперь не хватит, если ты запросто Пикассо и Модильяни раздариваешь.

— Нет, не так просто! Привез я им туда, в Пушкинский, эти два рисунка свои, собрались эксперты ихние с учеными званиями, поговорили про что-то умное и подтвердили подлинность. А Антонова спрашивает: «Михаил Петрович! А как же мы с вами расплачиваться будем — у музея сейчас денег нет, и когда будут — неизвестно». А я ей говорю, что не надо мне никаких денег, подарю я рисунки вам, только хочу я на открытие этой вашей выставки в Италию попасть в качестве спецкора газеты «Культура», которым я и являюсь, и корочки свои ей показываю. «Заманчиво, конечно, — говорит она, — да не знаю, получится ли». И ты знаешь, Илья, получилось!

Экспозиция там, в Риме, наверное, две недели готовилась — расставляли, развешивали, каталоги готовили, а мы прилетели как раз в день открытия, и все я успел: и фотографировать, и интервью у кого надо взять. Только не за этим я в Италию летел. Хотелось мне побывать в театре «Ла Скала», на какой-нибудь классной настоящей опере и чтобы с хорошими исполнителями. Гостиница плохонькая, в которой нас разместили, хотя в центре. И вот вечером я разузнал, что на следующий день там у них «Аида», да еще с Пласидо Доминго. А была запланирована обзорная экскурсия для всей нашей делегации. Только положил я с прибором на эту экскурсию. После обеда направился я в наше российское посольство и говорю, что мне надо встретиться с третьим секретарем. А ты же знаешь, а если нет, то знай, что третьи секретари почти всех российских наших посольств — резиденты разведки. И не скрывает этого никто. Говорю, что мне нужен Абросимов Сергей Николаевич. Там на воротах люди умные, опытные — лишнего не спрашивают.

— А ты что, уже знал, что третьего секретаря зовут Сергей Николаевич?

— Конечно! Я же готовился. И вообще запомни: хорошая память на лица и имена нужна всем жуликам и разведчикам, это их профессиональная необходимость.

— Так мы с тобой не жулики и не разведчики.

— Э-э, нет, брат! Мы с тобой журналисты, а это куда выше, чем какие-то разведчики и жулики, потому что нам с тобой приходится иной раз бывать и в той и в другой шкуре! Запомни. Так вот, встречаюсь я с Сергеем Николаевичем и говорю, что так, мол, и так, приехал я освещать выставку, жаль, что вас на открытии не было, планировал я с вами там познакомиться. А надо мне кровь из носу попасть на сегодняшний спектакль в «Ла Скала». Показываю я ему свои корочки, предписание. Смотрит Сергей Николаевич на меня внимательно так, ничего не говорит, молчит. Потом спрашивает: «А ваши полномочия?» Теперь уже я молчу. А что я отвечу? А он вдруг: «Подождите» — и уходит. Минут через двадцать выходит ко мне молодой человек и выносит пропуск, красивый такой. Говорит: «В шесть часов будьте у посольства, вас отвезут на машине. Это ложа нашего посольства — вы там будете один. После спектакля вас также встретят и отвезут в гостиницу». Так что, Илья, побывал я в «Ла Скала», только пел не Пласидо Доминго, а Марио Бьянко, но это тоже шикарно.

— Так тебя встретили на машине после спектакля?

— Встретили. Только отвезли не в гостиницу, а напрямую в аэропорт, и портфельчик мой из гостиницы они успели забрать, и курточку мою сунули мне в руки, и посадили на самолет. По пути в аэропорт не разговаривали, так и молчали угрюмо: мол, если ты такой умный, то сам понимаешь, что происходит.

— А как же билеты?

— Не знаю! Провели меня через дипломатический коридор. А в Москве так же встретили и мимо таможни провели на выход. Там меня уже ждала машина, посадили, думал: прямо сразу на Лубянку повезут. Так нет — высадили у ближайшего метро и сказали: «Ждите, Михаил Петрович, с вами свяжутся». Так вот, уже который год жду. Я думаю, что теперь я по-настоящему невыездной. Хотя что толку, если девяносто девять процентов выездных в «Ла Скала» не попадают.

— Да, накуролесил ты. А что же произошло, что тебя в театр проводили, в ложу дипломатическую посадили, а потом выкинули, как нашкодившего щенка?

— А то и произошло, что, пока я сидел в театре, они наверняка позвонили в Москву; там быстренько выяснили, кто я такой и чего можно ожидать от меня, и приказали выслать меня срочно по дипломатическому каналу на родину. Придумали какой-нибудь форс-мажорный вариант, чтобы без сучка и задоринки проскочило. В принципе, я ожидал такого развития.

— А ты хоть трезвый был? А что с рисунком Пикассо? Как его судьба?

— Не знаю. И был я, конечно, трезвый. Какое это имеет значение? Хотя жалко немного: хорошие рисуночки были. Я же с этого и начал.

«ШЕСТИСОТЫЙ»

Многие просто не понимают, какая глубокая пропасть лежит между продуманным и коварным враньем, преследующим личные цели, а зачастую и несущим за собой серьезные политические и финансовые катастрофы, и легкой, ни к чему, кроме хорошего настроения, не призывающей фантазией. Эти два жанра схожи на первый взгляд, и ими владеют в совершенстве одни и те же люди, которые в них хорошо разбираются. Надо быть очень внимательным, когда сталкиваешься с ними,

чтобы не угодить в ту пропасть. А еще надо помнить, что где-то рядом стоит и хитрость, которой, как правило, пользуются недалекие женщины, но про это как-нибудь в другой раз.

Мишка Жмуркин постоянно врал, но за его враньем не стояло никаких глубоких меркантильных интересов — он просто хотел повысить градус беседы, заложив в нее какие-нибудь сомнительные факты в виде загадок, а потому надо относить его вранье к разряду фантазий. Ведь большинство жанров настоящего искусства — это тоже фантазии.

Илья Криворотов, много лет знавший Жмуркина и считавшийся его близким и единственным другом, хорошо знал эту особенность Мишки и соответственным образом относился к нему и его сентенциям. Жили они с детства в одном дворе в соседних домах и встречались почти ежедневно, то предварительно договорившись, то случайно. В тот теплый летний вечер, когда Жмуркин поведал Илье историю о своем «шестисотом мерседесе», они просто столкнулись у мусорных баков, заполняя их отходами своего домашнего быта. Как всегда, они делано обрадовались, будто не виделись год, хотя еще утром вместе пили пиво на Среднем рынке, после чего уселись на скамеечке покурить. Тепло, липы цветут. Скамеечка была капитальная, неприподъемная, с чугунными литыми боковинами и крашеными деревянными рейками сидухек — из тех, что еще при Сталине в парках выставляли. А теперь она стояла прямо под окнами Жмуркина.

— Послушай, Михаил, — начал Криворотов, — а ведь этой лавки вроде бы не было еще вчера? Тут же стоял твой «шестисотый мерседес» — наверное, больше года стоял.

— Ну, стоял — а вчера его в ремонт утащили и лавку эту поставили, чтобы место не занимали другие машины.

— Договорился?

— Договорился, — ответил Жмуркин, почесал нос и продолжил: — То есть не я договорился. В общем, тут такая смешная и странная история, что и рассказывать не хочется.

— Что это?

— А то это! Давно еще, случайно узнал я, что во дворе политехнического института стоит и ржавеет совершенно бесхозный ЗИЛ-111, тот самый, в котором должен был Брежнев ехать, когда на него покушение было совершено. Помнишь ту историю: какой-то лейтенант на Красной площади в Леонида Ильича стрелял? А убил он только водителя да космонавта какого-то ранил, Терешкову, что ли. Вот тот самый простреленный ЗИЛ-111, весь в дырках от пуль, и стоял во дворе политеха. Уж как он там оказался — не знаю, но проректор политеха по АХЧ Вадим Иванович Салов был моим хорошим знакомым, и он мне предложил по дешевке купить эту игрушку: машина списана уже была, а институт избавлялся от всех непрофильных активов. Так это узаконенное воровство тогда называлось.

— Интересно, у нас в Нижнем Новгороде брежневский ЗИЛ простреленный стоял?

— Да, стоял и ржавел. Да что ты — я слышал, что как-то раз какие-то ловкие парни умудрились подводную лодку на «Красном Сормове» купить и утащить ее в Черное море. Вот скажи мне, что вперед надо: машину покупать, а потом на права сдавать или все же права надо вперед? В общем, решил я на права сдавать, а мне медицинская комиссия справку, в смысле разрешение на получение прав, не дала! Открыли там местные врачи мой военный билет и говорят: «Михаил Петрович, у вас такое заболеление головного мозга, что за руль вам нельзя!» — «Как же так — нельзя?» — спрашиваю я. «А так, — отвечают они, — у вас стоит освобождение от воинской службы

по причине заболевания сосудов головного мозга. Видите: в военном билете у вас стоит штамп с номером параграфа, по которому у вас серьезное заболевание». И начали они мне какие-то медицинские слова говорить и номера параграфов и статей. «Видите: стоит тридцать восемь дробь восемь, а это значит, у вас в любой момент может случиться потеря сознания. Понимаете? А если во время езды по скоростной трассе такое случится?» — «Это что — значит, я идиот, что ли?» — «Нет, не идиот, просто вы можете внезапно потерять сознание».

Я понимаю так, что когда-то мой папаша или дядька мой подсустились и постарались освободить меня от службы. А может, и без них, а просто прямо после контузии на космодроме в Плесецке, когда выписывали мне этот «белый билет», вместо плоскостопия или косоглазия, которые идут под параграфом тридцать восемь дробь семь, мне по ошибке поставили дробь восемь, то есть сумасшествие. Пришлось мне тогда побегать, к серьезным людям обращаться, чтобы все исправить. В конце концов исправили, и права я получил без всяких сдач вождения и правил движения. Так вот, я тогда непонятно зачем купил этот брежневский ЗИЛ, а зачем — не понял. Но как раз в тот момент рассказали мне про одного коллекционера из Риги, который раритетные автомобили покупает для своей забавы — и такие коллекционеры бывают на свете. Позвонил я ему, приехал он к нам в Нижний и ЗИЛ тот купил у меня.

Много чего интересного рассказал мне этот рижский коллекционер. У него и «хорьх» Гитлера в коллекции есть. А кроме того, по секрету, он мне чуть ли не шепотом рассказал, у нас в городе продается еще один раритет: «мерседес шестисотый», которым когда-то пользовался то ли Шеварднадзе, то ли Гайдар — не понял я. Да это и неважно! Просто сейчас этим «мерседесом», по его словам, пользуется наш местный воровской авторитет, а как его найти, чтобы договориться о продаже, этот рижский коллекционер не знает. Так вот, я его успокоил и сказал, что найду я ему этот «шестисотый».

А ты знаешь, что такое настоящий бронированный «мерседес»? Он же весит пять тонн, это почти как КамАЗ! Их проваривают изнутри листовой бронированной сталью, стекла пуленепробиваемые в пять сантиметров толщиной. Ты знаешь, что президент Рузвельт ездил на бронированном «кадиллаке», в котором до него ездил аль-Капоне, самый известный американский гангстер из Чикаго, пока для президента не сделали специальный бронированный «линкольн» президентский. Там двигатель, в этом «шестисотом», триста сил, и то они сгорают от перегрузок.

В общем, поговорили мы с этим рижским автолюбителем, и позабыл я про тот разговор. А разговоры, как и мысли, оказываются материальны: прошла неделя, и я случайно наткнулся на этот «шестисотый». Зашел как-то раз я в казино «Дамский клуб» — нет, не поиграть, я же не играю, ты знаешь. Зашел я, чтобы с другом встретиться и рюмку коньяку с ним выпить — он по телефону пригласил, мы с ним вместе в институте учились. Отдыхал он там с двумя своими коллегами, все трое рафинированные такие, прилизанные, в белых водолазках, красных пиджаках с золотыми пуговицами — было видно, что жизнь у них удалась. Я тоже был неплохо одет, но не так. И вот между делом они проболтались, что у их шефа беда: сгорел двигатель на «мерседесе», то ли крышку блока цилиндров разбило, то ли поршни заклинило — не разбираюсь я в этом, только машина на выброс. «Мерседес» тот и был как раз нужный мне «шестисотый». А еще я расслышал, что шеф их — Тимоха Серый. Помнишь такого?

— Ну, помню, конечно! Его застрелили недавно.

— Правильно! А тогда он был еще жив и контролировал полгорода, а еще нефтехимический завод в Кстове, а еще и химический комбинат в Дзержинске, и еще немножко. У него семь бригад было. Так вот, эти ребята, с которыми я повстречался в тот ве-

чер в «Дамском клубе», были бригадами Серого. Натура моя противная, кто тянул меня за язык: пообещал я сделать им машину, найду, мол, я им новый двигатель для их «шестисотого». А через два дня у меня под окном стоял этот огромный зверь, красивый, черный, будто лакированный. И номер — шестьсот шестьдесят шесть. Помнишь? Я не видел, как его затащили к нам во двор, но говорили мне женщины наши дворовые потом, что на платформе специальной его привезли, на каких асфальтовые катки возят, да еще и кран подъемный ворочался тут. Разворотили они тогда и половину палисадника, и кусты сирени помяли, но в тот же день и обустроили все красиво и по-взрослому. А потом патруль полицейский стал у нас во дворе каждую ночь дежурить, сидят в машине, в карты играют. А днем тоже — каждые два часа заходят парой. Наши женщины быстро выяснили, чья это машина, и решили они, что у Тимохи где-то рядом любовница живет. Потом, правда, и другие варианты появились, но это не в тему.

Но мне никто не звонит, никто не приходит, ни о чем не напоминает — я и за- был думать про машину ту. Ан нет — прошло пару недель, и приносят мне на работу, в телецентр уже, ключи от машины. Мальчик молоденький пришел, ключи отдал и спросил:

— Когда?

— Скоро! — ответил я ему.

— Тимоха просил передать, чтобы не заморачивался, — если не получится, можешь машину себе оставить, дарит он тебе ее — он себе уже новую взял, лучше этой, — и ушел тот паренек совсем.

Только я после этого стал изредка тряпочкой замшевой протирать машину — все же дорогая вещь и моей к тому же нечаянно стала. И честно я после этого стал всем говорить, что у меня «шестисотый мерседес», и не врал при этом. Да, еще позвонил я своему знакомцу из Риги, тому коллекционеру. Только он ответил мне, что машина ему теперь не нужна, он уже что-то поинтереснее надыбал. А три дня назад приходят ко мне домой два проходимца каких-то, негодяи просто, и говорят:

— Твой «мерседес»?

— Мой, — говорю.

— Арсена знал? — спрашивают.

— Нет, — говорю, — не знал.

— Он вор авторитетный, убили его вчера! Вот мы на гроб ему собираем. Гроб стоит три штуки баксов, и две мы набрали — дай штуку.

— Что же он за вор такой, если за всю свою жизнь на гроб себе не наворовал, — отвечаю я им, потом беру на пушку и добавляю: — Сейчас я Тимохе позвоню, он вам одолжит.

Только эти охламоны слышали про Тимоху, как сдернут по лестнице вниз — видимо, еще не прознали, что Тимоха тоже убит. Все равно я в тот же вечер позвонил своему однокласснику, с которым когда-то в казино «Дамский клуб» заходил, пожаловался ему. И вот вчера забрали мой «шестисотый»; как они его увозили — не знаю. Все равно я с чистой совестью могу теперь всем говорить, что когда у меня был «шестисотый мерседес», я долго не мог найти для него новый двигатель.

Василий АВЧЕНКО

КОСМОС ШУКШИНА

Чрезвычайно рад представить читателям «Невы» родившегося в Иркутской области и с детства живущего во Владивостоке НАСТОЯЩЕГО, а не монетизированного писателя ВАСИЛИЯ АВЧЕНКО, для которого Россия — МОЯ СТРАНА, а во все не ЭТА.

Он, собственно, в моих представлениях особо не нуждается — и так знаменит. Книги его постоянно входят в лонг- и шорт-листы таких престижных премий, как «Большая книга», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер» и др., а почему он не становится победителем в этих «гонках по вертикальной стене» — тайна сия велика есть, и не моего ума дело. Уже первая его книга «Правый руль» стала бестселлером по ту сторону Уральского хребта, где перестроечное население разъезжало в основном на дешевых японских машинах с упомянутым рулем. Так и выжило понемногу, встало с колен и обратно на них бухаться не собирается, о чем и пишет Авченко. Он очень хороший и вдобавок умный, наблюдательный сочинитель нового поколения. Чтение его текстов обогащает душу, а отнюдь не забирает из нее то, что в ней еще сохранилось после всех передряг нашего времени, которое в России бурное вот уже лет сто, если не двести, кто бы ею не правил — царь, большевики, Троцкий, Сталин или какие другие начальники, по выражению Ахматовой и Гумилева, «пасущие народы». Из эссе Авченко, посвященного «космическим завихрениям» горячо любимого мною и им Василия Макаровича Шукшина, которое вы сейчас прочитаете, я, например, узнал, что настоящее название знаменитой книги ленинского конфидента Герберта Уэллса вовсе не «Россия во мгле», а совсем другое. Мелочь, а приятно... И как он точен в деталях! Как знает жизнь, умеет ее описывать! Приветствую и радуюсь.

Евгений ПОПОВ

Фантастики Василий Шукшин не писал. Центром его мира, его Макондо и Чегемом оставалась позднесоветская сибирская деревня. Героем выступал ее житель или человек, переехавший в город, но горожанином так и не ставший. Космических фильмов Шукшин, в отличие от своего столь же знаменитого однокурсника по ВГИКу Андрея Тарковского, не снимал, все пять лент Василия Макаровича, так или иначе, — о деревне. Тем удивительнее тот факт, что в творчестве Шукшина космос занимает неожиданно большое место.

Василий Авченко — журналист, прозаик. Родился в 1980 году в Иркутской области, живет во Владивостоке. Автор книг «Правый руль», «Кристалл в прозрачной оправе», «Дальний Восток: иероглиф пространства», «Красное небо» и других, биограф Александра Фадеева и Олега Куваева. Финалист «Большой книги» и «Национального бестселлера», лауреат премий «Дальний Восток» имени Владимира Арсеньева и «Чистая книга» имени Федора Абрамова.

Сказка, становящаяся былью

Уже в его рабочих записях 1961 года находим: «Сейчас Титов летает черт его знает где! А в народе говорят: „Как же теперь Гагарин?“ Титов мой земляк, оказывается».

Первый фильм Шукшина «Живет такой парень» (1964) основан на нескольких его же ранних рассказах, включая «Гриньку Малюгина» (1962). Именно оттуда в киноленту перекочевала космическая линия. Напомним, герой, сумев при пожаре сберечь народное добро, но сломав при этом ногу, попадает в больницу, где в шутку выдает себя за космонавта: «Меня же на Луну запускали». Этот несерьезный разговор в палате отражает «лунную гонку», разворачивавшуюся тогда между СССР и США:

— Долетел до половины, и горячего не хватило. Я прыгнул. И ногу вот сломал — неточно приземлился.

Первым очнулся человек с «самолетом».

— Вот это загнул! У меня ажник дыхание остановилось.

— Трепло! — сказал белобрысый разочарованно. — Я думал, правда.

— Завидки берут, да? — спросил Гринька и стал смотреть журналы. — Между прочим, состояние невесомости я перенес хорошо. Пульс нормальный всю дорогу.

— А как это ты на парашюте летел, если там воздуха нету? — спросил белобрысый.

— Затяжным.

В 1970 году, вскоре после двух первых высадок американцев на Луне, вышел в свет знаменитый рассказ Шукшина «Срезал». Его герой, недобрый мужик Глеб Капустин, рассуждает: «Допустим, на поверхность Луны вылезло разумное существо... Что прикажете делать? Лаять по-собачьи? Петухом петь? <...> Но нам тем не менее надо понять друг друга...» Тут же Капустин поднимает и вопрос происхождения Луны: «Как вы относитесь к тому, что Луна тоже дело рук разума? <...> Вот высказано учеными предположение, что Луна лежит на искусственной орбите...» Пусть Капустин — демагог и манипулятор, но интересно, что ученые до сих пор не пришли к единому мнению о происхождении Луны. Сколько врачей, юристов и литературных критиков — столько и мнений, то же — с профессиональными и доморощенными селенологами.

Космодемагогическую линию Капустина продолжает Черт из повести-сказки «До третьих петухов»: «Ведь если мировые тела совершают свой круг по орбите, то они, строго говоря, не совсем его совершают...»

Понятно, что немалую роль сыграл исторический контекст. 1917, 1945, 1961 годы надолго определили судьбу не только России, но и всего мира. Шукшин не мог не размышлять об этом, тем более что в пору его становления как художника как раз и взлетали первые спутники, а вслед за ними — космонавты.

Еще незадолго до этого освоение космоса казалось фантастикой, причем ненаучной. Космосом бредили философы Федоров, Циолковский, Богданов — и многим их современникам казалось, что именно бредили. Мыслителей, говоривших о воскрешении умерших и заселении ими иных планет, считали безумцами или, по меньшей мере, «чудиками» наподобие шукшинских героев, среди которых есть, напомним, и изобретатель вечного двигателя. Однако после 1917 года возник соблазн считать, что теперь-то нет ничего невозможного: если произошла социальная революция и рухнет старый мир, то почему человеку не овладеть космосом и бессмертием? Не случайно великий фантаст Герберт Уэллс в 1920 году поехал к Ленину, разглядев в молодом советском государстве, даром что пока лежащем «во мгле» (или «в тени» — в оригина-

ле книга Уэллса о революционной России называется «Russia in the Shadows»), на глазах воплощающуюся утопию. Вторым великим советским триумфом стал год 1945-й, третьим — годы 1957-й и 1961-й, когда на орбиту полетела сначала умная железяка, а за ней — человек. Фантастический роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды», вышедший в 1957 году, можно было спутать с реальностью. Казалось, человек дорос до того, чтобы замахнуться на законы мироздания и что-нибудь в них подправить.

Писатель Олег Куваев, родившийся пятью годами позже Шукшина, писал: «Беда нашего поколения в том, что мы детство, когда формируется характер, провели еще в патриархальной стране, и посему космический век, мать его по лопаткам, мне чужд... Воображения не будит, эмоций не вызывает. Я лучше в прошлом останусь, ибо природа... неистребима в нас, и сколько ни прыгай, все равно вернешься на травку». Шукшин на первый взгляд куда более патриархален, куда сильнее привязан душой к деревне и «травке», нежели гагаринский одногодок Куваев — геофизик и певец Чукотки (правда, и у того в поздних текстах появилась деревенская линия, если вообще можно назвать поздними произведения человека, прожившего всего 40 лет). Тем интереснее, что у Шукшина-то в отличие от Куваева космос как раз вызывал эмоции и будил воображение.

Как заарканить Луну и найти рай

Дело, думается, не только в том, что космос был «повесткой», а сам Шукшин — плюс-минус ровесником первых космонавтов. И даже не в том, что его судьба рифмуется сразу с ломоносовской и гагаринской (или, скорее, титовской, поскольку Герман Титов — тоже с Алтая): парень из сибирского села стал властителем дум, одной из важнейших фигур русской культуры XX века.

Обратим внимание: Шукшин не писал обо всем, что лично видел, знал и пережил. Его художественный мир — не прямое отражение его опыта, в свои книги и фильмы он впускал только то, что ему было там необходимо. К примеру, рассказы о детстве у Шукшина есть, рассказов о флотской службе и работе на заводах — нет. Совсем нет заграницы, где он в последние годы часто бывал, причем не только в «соцлагере»; мог ведь появиться рассказ о русском мужике в Париже — но не появился. Если Шукшин о чем-то писал, да еще из раза в раз, — это было результатом строгого сознательного отбора тем и слов. И коль скоро космос в рассказах «деревенского» автора занимает неожиданно большое место, появляясь со странной частотой, это заставляет, как минимум, задуматься. Шукшин с его обостренным вниманием к этой теме начинает казаться стихийным последователем русских философов-космистов.

Один из самых известных его рассказов так и называется: «Космос, нервная система и шмат сала» (1966). Герой, школьник Юрка, просвещает похмельного старика-скептика Наума Евстигнеича:

- Про кого счас проходишь?
- Астрономию, — коротко и сухо вато отвечает Юрка, давая тем самым понять, что разговаривать не намерен.
- Это про што?
- Космос. Куда наши космонавты летают.
- Гагарин-то?
- Не один Гагарин... Много уж.
- А чего они туда летают? Зачем?
- Привет! — воскликнул Юрка и опять откинулся на спинку стула. — Ну, ты даешь. А что они, будут лучше на печке лежать?

— Што ты привязался с этой печкой? — обиделся старик. — Доживи до моих годов, тогда ваяй.

— Я же не в обиду тебе говорю. Но спрашивать: зачем люди в космос летают? — это я тебе скажу...

— Ну и растолкуй. Для чего же тебя учат? Штоб ты на стариков злился?

— Ну во-первых: освоение космоса — это... надо. Придет время, люди сядут на Луну. А еще придет время — долетят до Венеры. А на Венере, может, тоже люди живут. Разве не интересно доглядеть на них?..

На Луну люди действительно «сели» уже через три года после написания рассказа, еще год спустя туда же благополучно долетел первый советский луноход. Но для нас сейчас важнее то, что шукшинский Юрка продвигает концепцию вполне в циолковско-федоровском духе.

Юрку самого захватила такая перспектива человечества. Он встал и начал ходить по избе.

— Мы же еще не знаем, сколько таких планет, похожих на Землю! А их, может, миллионы! И везде живут существа. И мы будем летать друг к другу... И получится такое... мировое человечество. Все будем одинаковые.

— Жениться, што ли, друг на дружке будете?

— Я говорю — в смысле образования! Может, где-нибудь есть такие человекоподобные, что мы все у них поучимся. Может, у них все уже давно открыто, а мы только первые шаги делаем. Вот и получится тогда то самое царство божие, которое религия называет — рай.

Этот самый «рай» в представлении Юрки — не только видеотелефоны, которые нам уже давно не кажутся чудом, и собственные вертолеты, которые тоже в принципе доступны, пусть и считаным (очень состоятельным) людям. «Медицина будет такая, что люди будут до ста — ста двадцати лет жить», — говорит он старику, добавляя, что необходимыми ноу-хау с людьми любезно поделится соседи по Галактике. Согласно Юрке, человек, осваивая космос, строит «царство божие», оно же — «рай», фактически становясь соавтором Бога, сотворцом мира. А ведь Юрка — нормальный советский подросток, никакой не мракобес; напротив — человек нового поколения, стремящийся к просвещению. Тем не менее космическая отрасль для него — не только триумф науки и техники как таковых. Ожидая от инопланетян рецепта долголетия и помощи в построении рая, он выступает носителем религиозного по своей сути мировоззрения. Надо сказать, что и советское общество в целом атеистическим было только снаружи, официально. В глубине своей оно оставалось религиозным по духу, идеалистичным, опиралось на веру. Пусть этого прямо не проговаривалось, но всесоюзная слава того же Юрия Гагарина имела явную религиозную «подкладку», о чем пишет его биограф Лев Данилкин в книге «Пассажир с детьми»...

Луна занимала героев Шукшина постоянно. Князев из «Штрихов к портрету» — самодельный философ и немного маньяк, пишущий никому не нужный труд о государстве, говорит: «А что было бы, если бы мы, как муравьи, несли максимум государству! Вы только вдумайтесь: никто не ворует, не пьет, не лодырничает — каждый на своем месте кладет свой кирпичик в это грандиозное здание... „Боже мой, — подумал я, — что же мы делаем! Ведь мы могли бы, например, асфальтировать весь земной шар! Прорыть метро до Владивостока! Построить лестницу до луны!“» Другой шукшинский герой — утомленный бюрократией мужик из «Выдуманных рассказов» — «склал» анекдот о том, что и на Луне от человека скоро потребуют справку с места жи-

тельства... Интересно сравнить с рабочими записями другого великого сибиряка — драматурга Александра Вампилова: «Луну можно выиграть по лотерейному билету... На нее нельзя больше вздыхать, нельзя ею любоваться. Ничего в ней больше нет прекрасного, таинственного». И еще, оттуда же: «Луна теперь обыкновенный уличный фонарь. На луне скоро откроют кабаки и развешат сушить портянки».

Иногда Шукшин писал стихи. Всерьез к ним, похоже, не относился (а может, даже стеснялся), но не раз вплавлял их в ткань своей прозы. Были среди них и такие:

...Я же знаю: мы хотели
Заарканить месяц.
Почему же он теперь,
Сволочь, светится?!

Сростки как предчувствие

Упомянутый Циолковский, очевидно, был для Шукшина фигурой очень важной. В 1947—1948 годах юный Василий Макарович, еще до призыва на флот и до ВГИКа, работал в Калуге на турбинном заводе. Наверняка бывал в доме-музее Циолковского, которого не раз потом упоминал.

В публицистическом «Монолог на лестнице» Шукшин, выступая за высокую, несостоящую городскую культуру в противовес «мещанскому приобретательству», замечает: город — это ведь и Пушкин, и Толстой, и Чехов... И неожиданно продолжает: «Город — это и тихий домик Циолковского».

Из повести «Там, вдали...»:

- Ты кого больше всех любишь из ученого мира?
- Коперника, — первое, что пришло в голову, сказал Юрий (снова Юрий; не отсылка ли к Гагарину? — В. А.)...
- А я — Циолковского. Я видела в Калуге его домик... Здорово это — почти всю жизнь прожить непризнанным. Только под конец, когда уже ничего не нужно... А?
- Это — подвижники, — согласился Юрий... — Это — чисто российское явление.

Из совершенно постмодернистской повести-сказки Шукшина «Точка зрения»:

- Когда я еще была маленькой, — заговорила Невеста, — дядя Семен водил меня в планетарий, показывал на Луну и говорил: «Учтите, вы там будете». И плакал.
- Он у нас, как Циолковский, — вставил Отец Невесты. — Тоже, кстати, все чертит чего-то.

Циолковский говорил: Земля — колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели. Вот и Шукшин смолodu знал, что ему нужно вырваться из своей сибирской колыбели. В Бийск, в Калугу, во Владимир, а лучше всего — в Москву, потому что в родных алтайских Сростках нет ни ВГИКа, ни киностудии. Он покинул село, как лосось-сима покидает реку, — иначе не вырасти в полноценную рыбину, иначе останешься мелкой пеструшкой. Но погуляв на океанском просторе, лосось возвращается в родную реку, чтобы оставить потомство и умереть. Так и Шукшин всю жизнь вспоминал Катунь, в последние годы думал о возвращении в Сростки, но вернуться не смог или не успел. Не вышло и у Егора Прокудина из «Калины красной» — пытаюсь вернуться к крестьянской жизни, он погибает...

Держа в памяти все эти космические линии творчества Шукшина, уже иначе воспринимаешь даже его случайные, казалось бы, фразы. Рассуждая о кино, он мог, например, заметить: мы же не о марсианах снимаем — о людях. Вроде бы сказано мимоходом, впроброс. Но очень похоже, что космос едва ли не постоянно занимал мысли Шукшина.

Узнав, что из Бийска можно наблюдать, как от ракет, запускаемых с Байконура, отделяются ступени, я уже не очень удивился. Бийск — город для Шукшина особый. Он ближе других к Сросткам, это первый город, который увидел Шукшин. Однажды он рассказывал в интервью, что именно с Бийска начал знакомство с «большой жизнью», что это было «первое открытие мира», и даже назвал себя бийчанином. Здесь он учился, пусть недолго, в автомобильном техникуме. И на малую родину ездил потом именно через Бийск, а не через Барнаул. Последний шукшинским городом не назовешь, не говоря о том, что в Барнауле расстреляли его отца. Вот и в фильме «Печки-лавочки» увековечен именно Бийск...

Полеты космических ракет, конечно, Шукшин в Бийске наблюдал едва ли: когда Байконур вводили в строй, он уже учился в Москве. Зато ему довелось увидеть нечто космическое и загадочное в других широтах — у Василия Белова на Вологодчине. Шукшин осенью 1964 года ездил к нему в Тимонику, а позже писал Белову: «И все-таки: помнишь ту ночь с туманом? Вася, все-таки это был не спутник, слишком уж кувыркался. А внизу светилось только одно окно — в тумане, мгле. Меня тогда подмывало сказать: „Вот там родился русский писатель“». Белов позже так вспоминал тот случай: «В ночи с севера на юг бесшумно летело какое-то яркое небесное тело. Мы приняли его за метеорит, но оно летело какими-то странными зигзагами, оно как бы кувыркалось в ночной мгле...» Шукшина зрелище явно заворожило, раз он вспомнил о нем в письме три года спустя. В его словах слышится отсылка к библейскому сюжету о Вифлеемской звезде и рождении Спасителя...

Как и в душу человеческую, Шукшин всматривался в бездонное безмолвное небо. Свет даже погасших звезд, говорят ученые, еще долго идет к людям. Вот и космос Шукшина по-прежнему шлет нам свои загадочные и волнующие сигналы.

Игорь МАЛЫШЕВ

ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Рассказ

Ничего нового. Подростковая любовь — простая, как дыба, и незабываемая, как шрам.

Мы идем из школы. Мы в ссоре, поэтому идем по разным сторонам улицы. Мне на встречу твоя мама. Она строгая. У нее в девяностых была своя фирма по продаже цветов. Фирма в девяностых. Мне кажется, это многое говорит о твоей маме.

В нулевые, когда, бандитский беспредел, казалось бы, пошел на убыль, она внезапно ушла в школу. Работать по специальности. Сейчас ты и я учимся в школе, где она директор.

Ты такая гнида, что пробы ставить негде. Ты обожаешь драться. Но дерешься только с самыми сильными парнями школы. Тебе плевать, насколько они старше, выше и тяжелее тебя. Для тебя победа только та, когда ты побеждаешь там, где, казалось бы, и победить нельзя.

У меня нет мамы на «мерседесе», в нашей семье никогда не было машин. Мы «нищebroды». Но я пою в группе и, когда меня задевают, дерусь, как кошка. Не оставляя ни соперникам, ни соперницам ни шанса. Нет, меня не боятся, со мной не связываются.

Я не смотрю на тебя. Отвернулась и смотрю на твои отражения в стеклах витрин. Вижу твой аккуратный затылок. А в витринах на другой стороне вижу твое лицо. Красивое, тонкое. Ненавижу.

Сюрприз. Твоя мама. Собрана, настроена по-боевому. Иногда мне кажется, что она может спиной отразить поток напалма, а шепот ее сверлит гранит.

Она не видит тебя, но ты-то ее видишь. Останавливаешься, смотришь одним взглядом, второй закрыт хамской челкой.

— Тебя не было на химии, — говорит мне твоя мама.

— Вранье, — возражаю я.

— Мне звонила химичка.

— Ее не было в классе первую половину урока, меня — вторую. Мы просто не совпали. Но по факту мы оба были на уроке.

— Есть в тебе какая-то абсолютно адская изворотливость.

— Я змея по китайскому календарю.

— Да, ты скользкая.

— Химичка тоже змея. На двадцать четыре года старше меня, до сих пор не замужем.

Игорь Александрович Малышев — писатель, поэт. Публиковался в журналах «Новый мир», «Москва», «Дружба народов», «Юность», «Волга», «Нева» и др. Автор книг «Лис», «Дом», «Там, откуда облака», «Театральная сказка», «Номах», прозаического переложения «Песни о нибелунгах». Финалист литературных премий «Большая книга», «Ясная Поляна», «Русский Букер» и др.

Ты на той стороне открываешь рюкзак и достаешь пневматический пистолет. То, что он пневматический, я знаю от тебя самого. Едва слышный хлопок, на который твоя мама даже не обращает внимания. А вот я обращаю. Потому что в голени вдруг возникает точка, горячая-горячая, огненная, так что судороги идут по телу.

— Тебе холодно? — «мама» сменяет «директора».

— Нет, — как можно шире и лучезарней я открываю глаза. — Чудесная погода.

— Лицо у тебя какое-то...

Еще один еле слышный хлопок, и, все в той же голени, моей крепкой, как бронзовая отливка, возникает еще одна огненная точка, от которой идут по телу, загорелому, родному, волны-судороги.

Я еще шире открываю глаза.

— Математичка сказала, что тоже недовольна тобой, — замечает твоя мама.

— Вы никогда не думали, что она просто дура?

Она взрыкнула пантерой:

— Не смей так говорить об учителях.

— Но...

— Да, она реально тупая старая вешалка...

Мы смотрим друг на друга с полным пониманием.

— Но так нельзя говорить об учителях.

— Чего я не хотела бы, так это быть вашей снохой. У вас такой разрыв меж тем, что следует и что честно...

Лицо ее каменеет.

Хлопок. В кисть мне вонзается что-то острое, как бесконечно длинная игла, и она движется через мою ладонь. Долго-долго, медленно-медленно.

— Ты просто мелкая хамка.

— Вы правы в обоих определениях.

Я прячу руки за спину и выковыриваю из кисти шарик. Отираю его и прячу в ладони.

— Конечно, я в курсе о романе моего сына с тобой.

— Вся школа в курсе.

Она долго и с интересом смотрит на меня.

— Как ты полагаешь, ты дрянь?

— Еще какая.

— Давай без этих подростковых перегибов.

— В основном, конечно, дрянь.

Я смотрела ей в лицо детскими глазами, а правой рукой пытаюсь встроить извлеченный шарик обратно и тут же снова выковыриваю его.

— Мои родители развелись, когда мне было пять. Я учусь в школе на окраине, куда вообще непонятно как попал ваш сын-мажор.

— Он попал сюда потому, что у меня жесткий характер. Меня выжили из двух школ в центре.

— Характер у вас действительно «не дай бог».

— С..., — со смесью ненависти и отчего-то уважения произносит она.

Я делаю несколько шагов дальше по улице, но разворачиваюсь и подхожу к ней, все еще стоящей неподвижно.

— Вот.

Я кладу в ее ладонь шарик с медным, теплым-теплым, цвета сияния ламп в старинных телевизорах, напылением.

— Это вам.

Не желая смотреть, как она выбросит его, разворачиваюсь и решительно ухожу.
Вскоре ты догоняешь меня.

Приблизившись, смотришь с безграничным уважением.

— Ловко, ловко. Матушка аж потерялась. А такого с ней даже я сотворить не могу.

— Пистолет покажи.

— Что, больно было?

Я очень неопределенно улыбаюсь.

Ты вытаскиваешь из кармана черный, чуть угловатый и оттого красивый пистолет.

— Можно? — кладу я руку на ствол.

— Не-е-ет, — улыбаясь, качаешь ты головой, но тут я бью тебя коленом меж ног, ты вскрикиваешь и с лицом, из которого словно бы разом убрали кости, оседаешь на снег.

Я стреляю несколько раз тебе в бедро. Все теми же шариками с медным напылением. Потом приставляю к одному твоему уху пистолет, а в другое шепчу:

— Домой. Ни в больницу, ни к частному врачу. Домой. Чтобы мама все видела. Можешь врать, что хочешь, но чтобы мама все видела.

Я кручу стволом в твоём ухе, целую в губы. Ты отвечаешь слабым движением на встречу. Слабым, наверное, потому, что сложно думать о чем-то светлом и глубоком, если тебе только что выстрелили в бедро из пневматика.

Я знала, ты не пойдешь в полицию.

Твоя мать, рассказал ты потом, вытащила пинцетом все шесть дробинок. Долго рассматривала их, катая на ладони. Добавила к ним еще одну и перемешала. Не смогла отличить ни по цвету, ни по размеру.

Она сложила два и два и произнесла:

— Сыночка, если ты не женишься на ней, поверь, станешь самым несчастным человеком на земле. И я убью тебя своими собственными руками.

Сергей ДОМОРОЩЕНОВ

«ОНА НЕ БОИТСЯ САМОГО ПРОКУРОРА...»

В обвинительном заключении по следственному делу колхозника из поморской деревни Мегра Мезенского района Архангельской области Ефима Кулакова, составленном 31 марта 1941 года, сказано, что в июле 1938 года «среди колхозников» он пел «цинично оскорбительные контрреволюционные частушки по адресу вождя ВКП(б) и колхозного строя».

На самом деле частушку, попавшую в деревню откуда-то издалека, спел Кулаков одну:

Шла корова по угору,
Слезы капали на нос.
Обманул товарищ Сталин,
Не пойдем больше в колхоз.

Были в управлении НКГБ по Архангельской области и другие данные о том, что Е. В. Кулаков систематически вел «среди окружающего населения» антисоветскую агитацию. В частности: в марте 1940 года, находясь в поморской деревне Инцы, Кулаков «среди рыбаков распространял клеветнические измышления о положении трудящихся в СССР и восхвалял царский строй».

«Допрошенный в качестве обвиняемого Кулаков в предъявленном обвинении виновным себя не признал, но достаточно изобличается показаниями свидетелей».

Отчего же «настучали» на Кулакова? Похоже, что от зависти. Во время коллективизации Кулаковых раскулачили, хотя они были середняками. Забрали мебель, настольные часы, зверобойную лодку, рыболовные снасти, повозку и так далее.

— Те пьяницы, которые у колхозного руля встали, что-то себе оставили, что-то в колхоз сдали, что-то распродали, — рассказывал мне историю семьи Иван Ефимович Кулаков, сын Ефима Васильевича.

В 1930 году Ефим Кулаков уехал в Мурманск, капитанил на рыбопромысловом судне. Остался бы в Заполярье, — вероятно, жил бы да жил. Но отец его стал плох. Мать написала: приезжай, живут же и в колхозе люди, и мы проживем. Ефим приехал. Работал в рыболовецком колхозе «Прилив» хорошо. Да подрабатывал — жена парусшила, он перевозками занимался. (Всего два паруса в деревне было.) Зажили Кулаковы опять неплохо...

Сергей Николаевич Доморощенов родился в 1952 году в Архангельске. Здесь же и живет. В 1975 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета. Член Союза журналистов России. Член Союза писателей России. Автор книг очерков, интервью, рассказов, а также биографических книг о писателях-земляках: «Великий счастливец», «Сказочник веселый, невеселый человек, «Очарованный словом» — о Федоре Абрамове, Степане Писахове, Владимире Личутине.

3 февраля 1941 года Ефима Кулакова арестовали. Попрощаться мужу и жене, в день ее рождения, не дали. Чекист ногой топнул: некогда!.. На другой день в школе Ваню Кулакова учителя очень жалели.

15 декабря 1941 года в Мезени состоялась закрытая выездная сессия по уголовным делам Архангельского областного суда. Из девяти свидетелей четверо находились в рядах воевавшей Красной армии. Двое явиться на судебное заседание отказались. Прокурор предложил наложить на них штраф. Один из них, Михаил Афанасьевич Дорофеев, написал на повестке, что он «к этому делу не причастен», и отказался оставлять бумагу у себя.

А ведь те двое понимали наверняка, что рисковали: чекисты обычно не дремали...

Один из свидетелей показывал на суде: Кулаков «был недоволен на Советскую власть, что нет даже гвоздей, одежды и других мелких предметов».

Еще из протокола судебного заседания: «...он имел недовольствия на Советскую власть, но сейчас я припомнить ничего не могу».

Адвокат Галина Анисимова просила вынести Кулакову оправдательный приговор, поскольку не нашла в его высказываниях состава преступления. Ее мнение во внимание не приняли и приговорили помора к десяти годам лишения свободы с последующим поражением в избирательных правах на пять лет. По статье 58, часть 1, пункт 10.

Судебные расходы по вызову свидетелей в суд были возложены на Кулакова. Вызскание в сумме 500 рублей требовалось обратить на имущество, принадлежавшее Кулакову и находившееся в пользовании членов его семьи.

В семье 47-летнего Е. В. Кулакова было шестеро детей. Он написал кассационную жалобу в судебную коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР, — оснований для отмены приговора не нашлось.

Через много лет сын Иван Ефимович сказал мне: «Когда мы подросли, спрашивали по всему побережью людей, которые знали отца. Все о нем отзывались только хорошо, и в Мегре, и в соседних деревнях. Был он предельно честен и справедлив. Так неужели за это надо было давать десять лет, оставляя нас мал мала меньше от четырнадцати до полутора годов...»

Домой Ефим Кулаков не вернулся, умер в лагере. Данные о месте его захоронения родственникам неизвестны, так как неизвестны и «компетентным органам».

Вот что я узнал о Галине Анисимовой, прочитав документы, хранящиеся в архиве управления ФСБ по Архангельской области: родилась 8 марта 1917 года в деревне Заручей Вознесенского сельсовета Приморского района Архангельской области; по рекомендации райкома комсомола поступила в сентябре 1936 года в прокуратуру Пролетарского района Архангельска, в июле 1937 года уволена с должности следователя в связи с исключением из рядов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи; в сентябре того же года восстановлена в членах ВЛКСМ.

В 1939 году Г. С. Анисимова училась на шестимесячных курсах по переподготовке судебно-прокурорских работников, затем стала адвокатом Мезенской юридической консультации.

Было и очное мое знакомство с Галиной Степановной. Она рассказала: в прокуратуре Пролетарского района пошли разговоры, что она замужем за сыном священника и, наверное, поддерживает связь со служителем культа, живущим на Вологодчине. (Галина ни разу не была в его селе.) Ретивые комсомольцы провели собрание, на котором сказали ей: или ты уходишь от своего мужа, или положишь комсомольский билет на стол.

Муж, Викторин Алексеевич Торлопов, всю ночь писал письмо на имя первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева, которого в 1939 году расстреляют... Жену «реабилитировали».

Супруги уехали в Мезенский район.

Адвокат Анисимова на первом же деле показала свой твердый характер. Защищала продавца, на которую следствие завело толстое дело, хотело «повесить» на женщину несколько статей.

— Я увидела, что дело-то яйца выеденного не стоит. Защищала бедную мать троих детей. Слышала, люди шептались: «Смотрите, она не боится самого прокурора...» Все равно осудили Лихачеву. Но хоть не десять лет дали, как грозили. А пока мы с ней кассации писали, указ вышел: женщин, имеющих детей, в тюрьму не помещать, — тут уже война шла...

«Самого прокурора не боится» — эту фразу Галина Степановна Анисимова слышала еще не раз, приводя аргументы в защиту матерей, спасавших своих детей от голодной смерти, когда брали пару снопов жита с колхозного поля или килограммов пять картошки.

Прокурор требовал осудить несчастную колхозницу «по всей строгости закона», однако суд ограничивался условным наказанием.

Честными, порядочными людьми, «преданными суду» запомнила Г. С. Анисимова судью Таисию Михайловну Рогачеву (после войны ее сняли с должности, потому что брат «сидел» в немецком плену) и секретаря суда Нину Николаевну Ванюкову.

— Прокурор с нами по району не ездил, не трепался по командировкам, помощника посылал, а мы за десятки километров отправлялись то на карбасе, то пешком, то в санях. Прокурор, кстати, спецпитанием пользовался: партийная номенклатура...

Во время войны сын Галины Степановны ходил в детский сад, дочь — в ясли. Муж находился на фронте. Уезжая в командировку на несколько дней, Галина договаривалась с кем-нибудь из добрых знакомых («судебный исполнитель Леля Солнцева часто выручала»), чтобы они уводили детей в сад и ясли и приводили на ночь к нянестарушке, которой мать оставляла хлеба и карточку на хлеб — больше дать было нечего.

В 1943 году муж стал офицером, посылал в Мезень денежный аттестат, прибавку к мизерной зарплате адвоката, но купить на имевшиеся деньги можно было мало что. Поэтому Таня от голода росла слабой, ходить не умела до двух с половиной лет.

...В феврале 1953 года — еще при Сталине — сына Ефима Кулакова привлекли к судебной ответственности за падеж лошади. Рьяному следователю все было ясно: сын врага народа — виноват. конечно!.. Три года изводили Ивана допросами... Но районный суд отнесся к делу объективно.

— Так как судьи на месте не было, судил меня замещавший его редактор районной газеты Александр Григорьевич Видякин, фронтовик, — услышал я от Ивана Ефимовича. — Еще помню заседателя Ванюкова. Эти мужики быстро разобрались, что я не виноват, и, окрыленный, я за двое суток упорол на лыжах за двести километров в Мегру. А попал в Мезень из-за поземки только на четвертые сутки, с ночевками в попутных деревнях... Успел я на тюлений промысел. А был бы признан виновным, на ледокол меня не взяли бы. Большой бы заработок потерял. А мне ведь еще надо было двух младших братьев растить и учить...

Много лет Иван Ефимович Кулаков боялся обращаться в прокуратуру с заявлением о реабилитации отца: а вдруг, говорил, закавыка какая-нибудь — и не оправдают... Оправдали. Благодаря горбачевской перестройке.

Анисимова, Рогачева, Видякин, Ванюков тихо совершили подвиги — наперекор жестокому времени и чересчур усердным его представителям.

Константин ФРУМКИН

КУДА ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ МОРАЛЬ

В конце XIX века французский социолог Шарль Летурно сделал попытку предсказать, в каком направлении будет развиваться человеческая (то есть фактически западная) этика — и довольно точно смог предвидеть многие этические явления XX века — такие, как уменьшение отвращения к другим национальностям, рост нетерпимости к войне, десакрализацию и биологизацию вопросов брака и секса, эмансипацию женщин, все большую неприемлемость нищеты¹. Однако хотя все эти вопросы действительно имеют моральное измерение, они одновременно являются вопросами социальными, политическими, экономическими. А самое главное — прогноз Летурно сейчас практически исчерпан. Если сами задачи, указанные им, еще практически не решены, то новыми их назвать уже никак нельзя, как пункты повестки дня они стоят перед западной цивилизацией не один век. Предсказать актуальные вопросы XX века Летурно смог именно потому, что поставлены они были гораздо раньше.

Этот пример показывает, что говорить о развитии морали и тем более предсказывать ее будущее очень сложно. Мораль — то есть свойственные людям представления о должном и не должном, приемлемом и неприемлемом в межчеловеческих отношениях — отличается прежде всего «внеинституциональный» характер, то есть мораль не воплощается в чистом виде в законодательствах, организациях и институтах. Любая попытка зафиксировать мораль таким способом приводит к появлению синтеза морали с явлениями смежных сфер: религией, политикой, правом, экономикой или социальным обеспечением. Например, знаменитые Моисеевы десять заповедей лишь отчасти регулируют межчеловеческие отношения («не убий»), а отчасти решают вопросы культа — предписывая монотеизм, отчуждение доходов в пользу храма и запрещая идолов. Это создает трудности с определением того, что такое мораль в узком смысле слова, и существует ли она вообще.

История морали, в сущности, еще не написана. В книгах на эту тему можно найти материал не столько о морали, сколько об этике, то есть рефлексии на моральные темы, в них больше говорится об этических концепциях религий и различных известных философов, чем о повседневных представлениях людей. Это вполне объяснимо: тексты мировых религий и философов находятся в полном распоряжении исследователей, а эмпирический материал о реальных нравах и тем более о таящихся в человеческих головах представлениях собрать гораздо труднее. Тем более что когда историки изучают такой материал, им еще труднее выделить собственно моральную составляющую —

Константин Григорьевич Фрумкин — российский журналист, философ, культуролог. Автор книг и статей философской и культурологической тематики, в том числе на темы философии сознания, теории фантастики, теории и истории драмы, а также социальной футурологии. Один из инициаторов создания и координатор Ассоциации футурологов.

¹ Летурно Ш.-Ж.-М. Прогресс нравственности. М.: Либроком, ЛКИ, КомКнига, 2007, с. 381—382.

мораль в чистом виде есть условный теоретический конструкт, в реальном человеческом быту она всегда смешана с религиозными, экономическими и прочими практиками. История морали — это во многом история синтеза морали с другими явлениями культуры.

Несмотря на все эти трудности, было бы чрезвычайно интересно попытаться понять, какие же именно тенденции определяют развитие моральной сферы западной цивилизации сегодня — и как можно предположить, будут ее определять в XXI веке. Отвечая на этот вопрос, сталкиваешься прежде всего с тем, что говорить приходится не столько об изменении моральных норм, сколько об изменении механизмов их возникновения и изменения — то есть об изменении общества как машины, продуцирующей мораль.

Расширение сообщества

Одной из самых понятных, общеизвестных, постоянно фиксируемых в литературе метаморфоз, происходящих с моралью на протяжении, по-видимому, всей ее многотысячелетней истории, является расширение круга людей, по отношению к которым индивидум чувствует себя несущим моральные обязательства. Мораль возникает на основе взаимности, то есть мораль существует лишь в сообществе, члены которого готовы помогать друг другу и сдерживать по отношению друг к другу свою агрессию. Как говорят биологи, альтруизм (источник морали) всегда носит парохильный характер и предполагает симпатию к «своим» в сочетании с враждебностью к «чужакам»².

История человечества всегда была сопряжена со сложнейшими коллизиями по поводу изменения границ между своими и чужими — однако, по почти единодушному мнению ученых и философов, общая тенденция сводится к постепенному расширению кругу «своих» — как выразился А. П. Назаретян, происходит увеличение «объема альтруистической идентификации»³. Сейчас вполне банально звучит мысль, что в каком-то смысле кругом «своих» стало все человечество — мысль эта, разумеется, может быть принята только с большим числом оговорок. Это тривиально, но куда интереснее, что происходит дальше.

Процесс расширения «круга ближних» не просто бьет, как волны о берег, в границы человеческого рода, но и постоянно перехлестывает через эти границы. В XX веке начали поднимать вопрос о моральных обязательствах людей перед животными, что проявляется уже в юридической концепции прав животных, начинающей закрепляться на уровне законодательства — например, в 2008 году парламент Испании признал права крупных человекообразных обезьян на жизнь и свободу, а в 2015 году французский парламент признал, что животные являются живыми существами, наделенными чувствами. Научная фантастика предупреждает о маячащей в будущем проблеме признания прав роботов, искусственного интеллекта, виртуальных личностей — и это проблематика будет обострена в том случае, если наука откроет способ создание компьютерных копий личностей живых людей. Симптоматичным тут выглядит повесть американского фантаста Теда Чана «Жизненный цикл программных объектов», в которых описана борьба героини за права на свободу и достоинство виртуальных личностей, воспитываемых людьми, то есть чего-то вроде тамагочи.

² Марков А. Окситацион усиливает любовь к «своим», но не улучшает отношения к чужакам. — <http://elementy.ru/news/431346>.

³ Назаретян А. П. Антропология насилия и культура самоорганизации. Очерки эволюционно-исторической психологии. М.: ЛКИ, 2008, с. 85.

Если же вернуться к живой природе, то признание прав животных — еще не предел расширения «круга своих»: уже возникли теории, придающие всему живому, всей биосфере одинаковую ценность с людьми. Примером такой теории может служить выдвинутая в начале 1970-х годов концепция «глубинной экологии» норвежского философа Арне Несса, доказывающего, что все живое самоценно само по себе независимо от пользы, приносимой людям⁴.

Тут, правда, может возникнуть вполне законный вопрос. Да, экология и, в частности, защита животных — это очень важные и полезные вещи, в их пользу можно привести и рациональные, и эмоциональные аргументы. Но почему мы должны говорить об экологической проблематике на языке этики, которая этой проблеме изначально чужда и которая традиционно касается межчеловеческих отношений? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на контекст: такие вопросы можно поставить отнюдь не только по отношению к экологии. Об этике начинаю говорить применительно к проблемам, которые еще лет 100 назад никто бы не назвал моральными.

Этический империализм

В социальных науках есть понятие «экономического империализма» — то есть экспансии экономических (и прежде всего экономико-математических) научных методов в смежные области, например демографию или политологию. Аналогично, сегодня можно говорить об «этическом империализме» — экспансии этики на темы и вопросы, для нее совершенно новые. Параллельно тому, как в сфере морали происходит расширение сообщества «своих», в сфере этики — то есть моральной рефлексии — происходит расширение круга вопросов, подпадающих под ее компетенцию. Начиная со второй половины XX века этику на Западе — а вслед за Западом и в других концах Земли — пытаются приспособить для решения самых разных проблем — от экологии до политики, от медицины до правосудия.

«Этический империализм» проявляется в том числе и в «экспансии» академической этики. Как известно, в узком смысле этикой называется занимающийся моралью раздел философии, в университетах существуют кафедры этики, есть и другие аналогичные научные институты — и вот начиная примерно с последней четверти XX века на Западе — и прежде всего в США — профессора этики взялись заниматься самыми разнообразными вопросами повседневной жизни, берясь вырабатывать принципы этического регулирования самых разнообразных общественных сфер — начиная прежде всего с медицины и заканчивая атомной энергетикой. Это беспредельное расширение сферы действия научной этики получило наименование «прикладной этики».

Приоритетной областью применения прикладной этики является медицина, и это не случайно: общим местом моральных принципов во все времена является защита жизни и достоинства индивида от агрессивных посягательств его «близких» — мораль есть прежде всего взаимное обязательство людей не посягать на жизнь и интересы друг друга. Между тем именно в медицине возникает постоянная, но при этом контролируемая обществом опасность для жизни, и, соответственно, встают вопросы, которые можно назвать моральными — в том смысле, что они затрагивают обязательства людей по сохранению жизни «близких». Прикладная этика чувствует себя как «рыба в воде» в таких вопросах, как аборт, эвтаназия, отключение больных от аппаратов искусственного дыхания, финансовые ограничения на оказание медицинской помощи, медицинские и биологические эксперименты над живыми существами, сокры-

⁴ Naess A. The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement: A Summary. Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy and the Social Sciences, 1973, № 16, P. 95–100.

тие информации врачами от больных, смертная казнь — везде, где в опасности оказывается человеческая жизнь и где встает вопрос, какие усилия обязательно предпринять для ее спасения. Поскольку человеческая жизнь имеет неопределенную и стремящуюся к бесконечности ценность, постольку связанные с ней вопросы часто уходят от чисто коммерческого, рутинного решения, связанного с обменом равных ценностей, и требуют именно этического регулирования.

Второй по значимости темой прикладной этики является экология, и это столь же закономерно: как и медицина, экология ставит вопрос о человеческой жизни и здоровье и, соответственно, об обязательствах жертвовать чем-то ради их сохранения.

Но этику пытаются прикладывать и к другим сферам цивилизации, прекрасным примером чего может служить книга американского философа Иена Барбура «Этика в век технологий». В ней говорится о возникающих моральных коллизиях в самых разных «отраслях народного хозяйства» — от производства продовольствия до энергетики, соответственно, речь идет о необходимости спасения людей от голода, о том, что энергетика должна быть экологичной и быть ориентированной на устойчивое развитие — короче говоря, о «борьбе за все хорошее и против всего плохого» во всех сегментах экономики и общественной жизни⁵.

Этика для организаций

Разумеется, решение всех подобных вопросов — например, безопасности атомной энергетики — не находится в ведении отдельных людей, скорее, это в компетенции правительств, корпораций и других «коллективных субъектов». Но современных моралистов это не останавливает: одним из проявлений «этического империализма» в последние десятилетия стало возникновение так называемой «институциональной этики» — то есть попыток этики вырабатывать принципы деятельности уже не для людей, а для организаций. Соответственно, в обороте появились также термины, как «этика организаций», «этика профессий», «этика компаний», «этика институтов», «этика технологий» и т. д.

При этом этика такого рода перестала быть уделом только профессоров этики и профессиональных философов. Этика превратилась в своеобразную мини-индустрию, входящую в качестве составной части в многие другие виды деятельности. Возникли «этические комитеты» и «комиссии по этике» — прежде всего они возникают при медицинских учреждениях, но также при парламентах, при союзах журналистов, при религиозных организациях, при советах директоров. Возникло понятие «этического аудита», который могут проводить специализирующиеся на нем консалтинговые компании.

Этика стала частью профессионального образования. Английский социолог Гай Стэндинг констатирует: одна из распространенных сегодня форм «обучения ради работы» — это освоение норм этики. «Врачам, архитекторам и работникам некоторых других специальностей приходится овладевать профессиональной этикой. Такая практика распространяется и на другие профессии и может стать обязательной — или, при благоприятном стечении обстоятельств, частью глобальной системы сертификации»⁶.

Возникает тесный синтез этики с психологией, недаром многие известные психологи XX века — Фрейд, Фромм, Франкл и т. д. — были также и великими моралистами, и, скажем, Эрих Фромм выдвинул проект «гуманистической этики», а юнгианец Эрих Нойманн — «новой этики». Здесь, опять же, нет ничего удивительного — развитие пси-

⁵ Барбур И. Этика в век технологий. М.: Библейско-богословский институт св. Андрея, 2001.

⁶ Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014, с. 217.

хоанализа не могло не показать, что многие так называемые психологические проблемы являются одновременно проблемами моральными и наоборот, и решать их приходится «двуедиными» методами.

Массовым стало написание так называемых «этических кодексов», которыми сегодня обзаводятся и частные компании, и общественные, спортивные, профессиональные организации — например, выражение «этический кодекс FIFA» сегодня на слуху у любого футбольного болельщика. При этом далеко не все вопросы, освещаемые в этих кодексах, можно назвать моральными в традиционном смысле слова, но как уже говорилось выше, когда мораль фиксируется, она редко выступает в чистом виде — скорее, речь идет о новой версии синтеза морали с политической, юридической, деловой и организационной проблематикой. В этических кодексах может, например, регламентироваться доступ к конфиденциальной информации, запрещаться использование служебного положения для личного обогащения, а заодно — запрещается иметь дело с партнерами, связь с которыми именно в «моральном» смысле опасна для репутации — например, компаниями, использующими детский труд или замешанными в производстве наркотиков; такого рода моральные ограничения, например, являются базовым принципом так называемых «исламских» банков, по образцу которых недавно было предложено создавать «православные банки».

Этикой как особой темой вынуждены сегодня заниматься юристы, аудиторы, бухгалтеры, журналисты, медики, психологи, священники, руководители корпораций, специалисты по PR и т. д.

Институциональная этика резко отличается от «человеческой» и тем более традиционной, что можно увидеть из перечня ее особенностей, который с редкой для этической литературы откровенностью предложила эстонский философ Ниеле Васильевне. По ее мнению, возникающая на наших глазах новая парадигма этики обладает следующими особенностями:

Ответственность переносится с индивида на организации, «субъект морали — организация».

Меняется отношение к героизму — героизм оказывается нужным только тогда, когда проблемы не решаются в ходе нормального функционирования институтов.

Происходит отказ от романтизации конфликта между должным и сущим.

Из знания фактов можно вывести представление о должном и требуемом, хотя многие моральные философы прошлого считают, что это невозможно.

Происходит отказ от свободы выбора в случае наличия норм и стандартов — «только это может гарантировать овладение риском хотя бы в определенной степени»⁷.

«Откровенность» Н. Васильевне позволяет увидеть, что этика сегодня может быть рассмотрена как еще один костыль для рационального и добросовестного администрирования, как просто некая идеология для хорошей работы аппарата.

Поскольку сегодня разговоры о морали вынуждены касаться вопросов, никогда не являвшихся собственно моральными, в этической литературе вводится особые термины: микро-, мезо- и макромораль⁸. Если макромораль касалась отношений людей со своим ближайшим окружением, родственниками и соседями, мезомораль касается взаимосвязи институтов и организаций, включая и национальные государства,

⁷ Васильевне Н. Управление ценностями — смена парадигм этики: В кн. Облики современной морали. М.: МАКС. ПРЕСС, 2009, с. 205.

⁸ Назарчук А. В. Этика глобализирующегося общества. М.: Директмедиа Паблишинг, 2002, с. 24–25. Данная терминология введена под влиянием трудов немецкого философа К.-О. Апеля, хотя сам Апель этих терминов, кажется, не употреблял, а только говорил о применении морали в микро-, мезо- и макросфере.

то макромораль трактует вопросы ответственности перед человечеством в целом, включая прошлые и будущие поколения. Как можно легко понять, традиционная мораль была исключительно «микроморалью», но теперь сфера морали разрослась и дифференцировалась, захватив новые области.

В сфере институциональной этики мы наблюдаем очень интересный и новаторский для новейшей западной истории процесс: возникает довольно мощная промежуточная, «буферная» зона между этикой и правом — зона смешения обеих духовных форм. Если традиционная мораль воплощалась в неписаных и не всегда четко формулируемых человеческих представлениях, то сейчас на наших глазах возникает «Мораль 2.0.» — совокупность писаных и тщательно разработанных этических норм, которые, однако, не обладают той же степенью репрессивной обязательностью, что и право. Моральные и правовые нормы гибко переходят друг в друга: тот же сам этический кодекс может действительно иметь только «моральное» значение, но может приобрести характер внутреннего нормативного документа корпорации, которому обязаны следовать все ее сотрудники. По мере того как мир становится все более сложным, гибким и изменчивым, по мере того как в ряде случаев общество отказывается от жестких репрессий, гибкость должны приобретать и правовые нормы, и все большее значение приобретают нормы рекомендательные диспозитивные, рамочные — а значит, расширяется сфера существования институциональной этики.

Этика ответственности против институциональной этики

«Институциональная этика» стала одним из ответов современной этической мысли (и практики) на вызовы сегодняшнего дня — однако ответом не единственным. Вызов, собственно говоря, заключается прежде всего в том, что традиционная мораль беспроblemна, поддерживается в сравнительно небольшой общине, и остается неясно, что делать со старыми моральными заповедями в сложном многоуровневом и технологически развитом обществе, где действия одного человека зачастую не влияют на исход работы социальных сил. Институциональная этика отвечает на это тем, что вырабатывает ценностные ориентиры для организаций. Однако есть и другой, можно сказать, прямо противоположный ответ, который можно было бы назвать «этикой ответственности».

Данную концепцию в 1970-х годах выдвинул немецкий философ Ганс Йонас⁹. Он отмечал, что традиционная этика была выработана в условиях, когда человеку были непосредственно известны его партнеры по социальным взаимодействиям, и последствия его действий также непосредственно видны. В современных условиях человек морально обязан приобретать больше знаний о сложном устройстве окружающего общества, обязан выяснять отдаленные последствия своих действий и обязан действовать, неся ответственность за человечество и сообразуясь с интересами социального целого. В этом духе Ганс Йонас предлагает новый этический императив, который якобы должен прийти на смену кантовскому: «действуй так, чтобы последствия твоей деятельности были совместимы с поддержанием подлинно человеческой жизни на Земле»¹⁰. В России этику ответственности пропагандирует Владимир Канке¹¹, аналогичную концепцию «этики намерения», основанную на «допущении, что каждый че-

⁹ Йонас Г. Принцип ответственности. Опыт этики для технологической цивилизации. М.: Айрис-пресс, 2004.

¹⁰ Йонас Г. Принцип ответственности, с. 58.

¹¹ Канке В. А. Этика ответственности. Теория морали будущего. М.: Логос, 2003.

ловек ответственен за эффект, произведенный его действием», выдвинул американский психолог Ролло Мэй¹².

Хотя острых дискуссий между сторонниками «этики ответственности» и институциональной этики не ведется, но можно констатировать фактически имеющее место противостояние между двумя концепциями. Если этика ответственности мечтает об активной жизненной позиции всякого человека, на которого, кроме прочего, возлагается обязанность расширять свои знания за пределы его профессиональных и бытовых надобностей, то институциональная этика признает бессилие индивида в современном мире и предлагает нормы для организаций. Этика ответственности, безусловно, является порождением демократии: идеальный субъект «этики ответственности» — активный избиратель, общественный активист, волонтер, следящий за политической жизнью и общественной повесткой и уделяющий внимание важным для общества делам вне основного места работы. Таким образом, этика ответственности — вполне законное дитя современности, она гармонично вписывается в политическую и идеологическую систему западных стран, но ее требования куда более утопичны и затруднительны для реализации — в отличие от требований институциональной этики.

Этика ответственности пытается решать сложные вопросы современного общества, оставаясь все-таки этикой в собственном смысле слова, учением о морали как таковой — в то время как институциональная этика, по сути, не совсем этика. Институциональная этика пытается вносить поправки в работу различных организаций, руководствуясь представлениями о долгосрочных стратегических интересах общества.

Отрыв этики от морали

Расплатой за «этический империализм» является очень любопытное явление: этика отрывается от морали. Ведь когда говорят о морали, имеют в виду повседневные, усвоенные людьми представления, в основе которых лежат спонтанные эмоциональные реакции людей на различные жизненные ситуации. Корпоративная этика, биомедицинская этика, профессиональная этика касается слишком сложных и умозрительных вопросов, чтобы по поводу них могли существовать «спонтанные реакции».

Мораль «внеинституциональна, между тем этика начинает выстраивать все более сложные институты.

Мораль связана с феноменом «интериоризации» — когда представления о правилах отношений с людьми в процессе воспитания крепко усваиваются, становятся внутренними структурами психики, врастают в подсознание — именно благодаря этому возникает голос совести, между тем как опору на совесть философы считают важнейшей особенностью западной морали. Но прикладная и институциональная этики могут быть предметом профессионального образования, изучения, разработки — но они просто не успевают быть «интериоризированы», они редко становятся инстинктом. Именно тут оказывается актуальным мнение английского философа Майкла Оутшота, что моральная рефлексия грозит иссушить моральные чувства¹³. С ним согласен и А. П. Назаретян, считающий, что по мере исторического развития альтруистические чувства уменьшают интенсивность¹⁴.

Это закономерно, поскольку «этический империализм» возникает в условиях, когда распадается социальная база традиционной морали — небольшая, в идеале сельская община. Мораль как система взаимных межчеловеческих обязательств «хорошо себя

¹² Мэй Р. Сила и невинность. М.: Смысл, 2001, с. 310—313.

¹³ Оукшот О. Рационализм в политике и другие статьи. М.: Идея-Пресс, 2002, с.117.

¹⁴ Назаретян А. П. Антропология насилия и культура самоорганизации, с. 85.

чувствует» в сравнительно небольших, слабо меняющихся по составу человеческих коллективах, где соседи живут более или менее на глазах друг у друга и где активны личностные отношения между людьми. По мере того как община заменяется городской цивилизацией с атомизированными гражданами, живые межличностные отношения заменяются институционализированными, чахнет и мораль в обычном смысле этого слова — но зато расцветает активно институционализируемая и формализуемая этика.

Можно поразмышлять о возникающих в связи с этим опасностях — в конце концов, тяжелый опыт XX века, опыт нацизма и коммунизма отчасти показали и то, что институты сами по себе могут вырождаться или не получать желаемого качества, если не опираются на ценности, представления и убеждения отдельных людей — на этом, в частности, настаивал известный экономист-институционалист Дуглас Норт¹⁵.

Но именно для предотвращения этих опасностей в современном западном обществе пытаются разрабатывать институциональные проблемы в форме проблем этических.

Когда современная культура излагает проблематику деятельности крупных корпораций или институтов на языке этики, она фактически проецирует понятийный аппарат и ассоциативные связи, выработанные для описания межличностных отношений в небольших коллективах, на куда более масштабные, институционализированные, безличные отношения. Необходимость такого проецирования возникает после столкновения индивидуального человеческого сознания со сложными умозрительными проблемами, к которым человек пытается выработать живое, личностное отношение. Категории «макроморали» возникают из экспансии языка микроморали на не свойственные ей области, и расплатой за это, конечно, может быть и излишняя антропоморфизация социальных отношений, и неточность выражений, и избыточная эмоциональность общественных дискуссий.

Пытаясь регулировать деятельность институтов, этика, конечно, несет на себе черты своего происхождения на микроуровне, и особенно явно это видно на ранних попытках создания макроморали — например, толстовстве. Социальное учение Льва Толстого можно было бы считать именно попыткой разработки институциональной этики (мезо- и макроморали), то есть учения о регулировании всех сторон общественной жизни на базе этических принципов. Такое грубое замыкание микро- и макроуровня привело к тому, что Толстой просто отрицал многие социальные явления, не имеющие отношения к жизни «простого человека»: искусство вообще «упразднилось», а наука должна была перейти от вопросов космических к бытовым. Впрочем, современная макроэтика ушла от Толстого не очень далеко, требуя от экономики борьбы с голодом и неравенством.

В этих новых условиях и этика, и даже мораль начинают активно использоваться в самой разной публичной пропаганде — и в пользу экологии, и ради помощи беженцам, и по иным публичным вопросам. Традиционная мораль не забывается, наоборот — она «гальванизируется», используя в качестве пропагандистского ресурса — пиетет, испытываемый людьми перед традиционными моральными ценностями, активно эксплуатируется любой идеологией. Например, традиции аскетической морали сегодня актуализированы во имя критики потребительского общества — но опять же, не ради самой критики, а для того, чтобы идея самоограничения потребления помогла бы решению экологических задач. Мы видим, как этика становится инструментом решения глобальных проблем через внедрение эмоционального, спонтанного отношения к ним. В этом смысле этика выполняет ту же функцию, что и экологический алармизм —

¹⁵ См.: Норт Д. Понимание процесса экономических изменений. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2010.

это попытки при разговоре о глобальных проблемах пробиться к эмоциональной сфере людей.

Благодаря описанию проблематики регулирования деятельности институтов на языке этики эта сфера становится более понятной для простого гражданина, простого избирателя — она становится более прочно связанной с эмоциональным фундаментом психики, таким образом, мораль выполняет популяризаторскую функцию и одновременно функцию инструмента манипуляции. Когда тому или иному подходу к решению социальных проблем приписывается моральная значимость, это автоматически является маркером-указателем для человеческих эмоций. Этическая пропаганда становится эмоциональной гимнастикой и эмоциональной инженерией — не просто характерной для любой пропаганды «игрой на чувствах», но призывом к выработке определенных чувств.

Безответная ответственность

Мораль базируется на взаимности: это взаимная готовность людей помогать друг другу и воздерживаться от агрессии. Там, где речь идет об институтах и организациях, о взаимоотношениях индивидов с институтами или индивидов с обществом, об уникальных или монопольных институтах — там с соблюдением принципов взаимности возникают большие трудности. Правительство или/и крупная корпорация должны соблюдать этические принципы — но вовсе не потому, что рассчитывают на аналогичный ответ от своих партнеров, тем более что, может статься, равноценных партнеров может просто не найтись. Если правительство берет на себя моральные обязательства по отношению к гражданину — то это не потому, что оно рассчитывает на такие же встречные обязательства. Пациент не может нести по отношению к врачу те же этические обязательства, что и врач по отношению к нему, тем более гражданин не должен также думать о своих этических обязательствах перед корпорациями.

Соответственно, институциональная этика и все ее разновидности — корпоративная этика, профессиональная этика, биомедицинская этика — становятся скорее этикой одностороннего действия, в отличие от традиционной морали, базирующейся на взаимных обязательствах всех перед всеми.

К этому же результату — появлению односторонних моральных действий, не предполагающих взаимности — приводит и другая, упомянутая выше тенденция — расширение круга «близких» до планетарных масштабов. Это приводит к тому, что в различные — экономические, политические и, среди прочего, моральные — отношения вступают чрезвычайно разнородные части человеческого общества, в том числе и различающиеся по своим возможностям и ресурсам: богатые и бедные страны, миллиардеры и нищие, гигантские корпорации и захолустные деревни. Современный экономический рост увеличивает неравенство, что, в свою очередь, создает еще большую разнородность элементов, находящихся в социальном взаимодействии. Моральные последствия этого заключаются в том, что все больше возникает случаев филантропии, благотворительности, социальной помощи, осуществляемой сильными и богатыми в отношении слабых и бедных без надежды на взаимность и на то, что в тяжелую минуту слабые придут к ним на помощь — хотя бы потому, что у бедных нет возможностей для оказания ощутимой ответной помощи, а вот претензии к богатым есть.

Когда Билл Гейтс принимал благотворительные программы в отношении Африки, когда российский врач Лиза Глинка лечила бездомных — мы видим подчеркнуто односторонние благодеяния, не предполагающие, что Гейтс и африканские дети, Глинка и российские бездомные связаны сетью взаимных обязательств.

Золотое правило этики — поступать с людьми так, как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой — предполагает равенство возможностей и потребностей обеих сторон. Во взаимоотношениях миллиардеров с иностранными нищими, правительств с гражданами, организаций с индивидами золотое правило действовать не может. Понимая это, американский социолог Амитай Этциони попытался дать новую формулировку золотого правила, в котором взаимоотношение человека и общества выглядели бы как взаимоотношения равных сторон. В формулировке Этциони новое золотое правило звучит так: «Уважай и поддерживай нравственный порядок в обществе, если хочешь, чтобы общество уважало и поддерживало твою независимость»¹⁶. Тем самым Этциони констатировал, что центр тяжести этической проблематики переместился со взаимоотношений между людьми к взаимоотношениям человека к социальной, институциональной среде. Сам по себе выдвинутый Этциони принцип, конечно, возражений не вызывает, но очевидно, что он пытается влить новое содержание в старую форму — создать иллюзию, что речь идет о взаимных обязательствах двух сторон, хотя на деле речь идет об односторонней ответственности индивида и отдаленных последствиях его действий.

Эту тенденцию к нарастанию односторонних моральных обязательств можно было бы назвать «анизотропизацией» морали. В физике анизотропией называется ситуация, когда движение в одном направлении обладает другими свойствами, чем движение в другом, например, противоположном. Анизотропия морали означает появление все большего числа ситуаций, требующих от моральных людей односторонних действий, не предполагающих, что благодетельствованный будет находиться с тобой в одной «системе взаимопомощи». В некотором смысле анизотропизацию можно считать евангелизацией человеческих отношений или даже говорить, что анизотропизация была предсказана Евангелиями — поскольку Евангелия требовали благодеяний без надежды на награду и даже любви к врагам. Хотя, разумеется, духовный христианин вряд ли узнает в современной благотворительности евангельские черты — поскольку «отсутствие надежды на награду» вытекает не из высоких духовных качеств благодетеля, а из-за того, что нищему нечем отплатить. Но тем прочнее базис односторонности в современной морали. Возникают люди, которых можно в зависимости от ситуации назвать не субъектами, но объектами и даже потребителями моральных действий. И это не только бедняки, получающие помощь от филантропов, но и, скажем, пациенты, являющиеся «потребителями» благ, вытекающих из существования медицинской этики, или клиенты адвокатов, соответственно являющиеся «потребителями» профессиональной адвокатской этики.

Мораль своими руками

Этический империализм представляет собой совокупности попыток рационально проектировать этические нормы, и в этом качестве он играет роль «вершины айсберга» по отношению к более общему феномену моральной эволюции, который можно было бы назвать «конструктивизацией» морали. Суть конструктивизации заключается в том, что моральные нормы становятся возможным конструировать, искусственно разрабатывать и целенаправленно вводить. Сконструированная мораль по своему смыслу противоположна традиционной. Нормы традиционной морали передаются из поколения в поколение по наследству как эманация неких авторитетных, едва ли

¹⁶ Этциони А. Новое золотое правило: сообщество и нравственность в демократическом обществе: В кн. Новая постиндустриальная волна на западе: Антология. М.: Academia, 1999, с. 317.

не потусторонних источников: предков, Бога, религиозных авторитетов и т. д. Происхождение морали в этом случае таинственно и не подлежит обсуждению. Конструктивизированная мораль возникает на глазах у людей либо как продукт договоренности между ними, либо как решение неких властных инстанций.

Разумеется, публичное обсуждение морали одновременно является обсуждением сразу и других вопросов: политических, деловых, экологических, поэтому конструктивизация морали порождает новые синтезы морального и неморального — но сам по себе такой синтез ничего нового не содержит.

Конструктивизация морали означает появление трех новых феноменов в сфере нравственности: рост прозрачности процесса возникновения моральных норм, появление рукотворных, искусственных норм и учащение появления моральных инноваций.

Самым ярким проявлением конструктивизации морали являются многие моральные новации, идущие из США — такие, как политкорректность со всеми своими производными — преодолением отвращения к сексуальным меньшинствам и т. д. Политкорректность — во многом политический принцип, но этот принцип показал, что может спускаться до уровня бытового поведения, до текущих представлений людей о должном и не должном в окружающем мире.

Сюда же примыкают различные существующие в США писанные и неписанные правила сексуального поведения, затрудняющие процесс ухаживания и домогательств мужчин к женщинам — здесь мы имеем тот случай, когда внешним источником изменения морали становится право, судебная практика, дисциплинарная практика корпораций и высших учебных заведений — но все эти нормативные области перемешаны с моралью и человеческими представлениями о должном.

Другой, менее яркий, но зато более старый пример конструктивизации морали — деятельность религиозных, утопических и анархистских коммун, члены которых договаривались между собой придерживаться определенных этических правил. Вообще, секты, пытающиеся установить некие особые этические отношения в своей среде, несомненно были маленькими прорывами в деле конструктивизации морали — несмотря на то, что сама мораль, которую они создавали, по своему содержанию была во многом традиционна или, по крайней мере, включала традиционные элементы. В этом парадокс всякой традиции — любая чрезмерность усилий в ее соблюдении разрушает ее естественность, создавая модернистское отношение к ней как объекту произвольного манипулирования со стороны автономного субъекта. Именно поэтому деятельность церкви, которая пытается отвечать вызовам времени в сфере морали и разрабатывать ответы на встающие вопросы — как христианин должен относиться к новым явлениям жизни, скажем к противозачаточным средствам — по сути, тоже представляет собою феномен конструктивизации морали, хотя и базирующийся на традиционном содержании.

Самым ярким отражением конструктивизации морали в философии стала теория «этики дискурса» знаменитого немецкого философа Юргена Хабермаса. В предельно упрощенной форме суть этой теории можно изложить примерно так: на высшей ступени развития этики, до которой сегодня может дорасти общество, моральные нормы будут такими, о каких люди смогут между собой договориться. Термин «дискурс» в толковании Хабермаса означает пронизывающую общество систему коммуникаций, позволяющую постоянно всем участвовать в коллективной дискуссии и, соответственно, выработке коллективных моральных норм. Исходным моральным принципом, базовой заповедью этой морали будет не «не убий» и не «возлюби ближнего», а готовность участвовать в переговорах, в коммуникации, в коллективной выработке этих

моральных норм, каковы бы они ни были. По словам Хабермаса, этика дискурса «не предполагает никаких содержательных ориентиров, но только процедуру»¹⁷.

Впрочем, процедура не так уж и бессодержательна, как может показаться на первый взгляд — на это обращает внимание единомышленник Хабермаса Карл Отто Апель: по его словам, один тот факт, что люди готовы к переговорам, означает, что они признают друг друга как личности и стремятся к взаимопониманию — а это уже очень много, это и есть «догма» или, как выражается сам Апель, «коммуникативное априори» новой этики¹⁸.

У идеи этического дискурса есть некоторые странные черты. С одной стороны, она предполагает возможность для человечества сколь угодно сильно измениться. Именно поэтому в глазах традиционалиста это нигилистическая этика, покушающаяся на святыни, как сказал Хабермас, «все содержания, сколь бы фундаментальные нормы ими ни затрагивались, нужно поставить в зависимость от реальных дискурсов»¹⁹ — то есть любую фундаментальную норму можно обсуждать. Б. В. Марков, комментируя теорию Хабермаса, говорит, что мораль оказывается «блуждающей, спонтанной, сингулярной, свободно возникающей в одних случаях и исчезающей в других»²⁰. Если обывающих авторитетных традиций не существует, если мы можем установить какие угодно новые моральные нормы «с нуля» — значит, завтра мы сколь угодно по-другому изменим свой образ жизни. Такая гибкость вполне соответствует эпохе быстрого развития. Именно поэтому А. П. Назаретян считает, что условием выживания цивилизации является замена авторитарных форм морали на критическую мораль, так как «в быстро усложняющемся мире ограничительный авторитет делает человека беспомощным перед лицом новых проблем и неспособным принимать адекватные решения»²¹.

Однако на эту гибкость накладывается одно важное ограничение: она достигается только при наличии договоренности об изменениях с другими людьми, а этого достичь бывает не так уж и просто. Мы можем стать кем угодно — но только вместе с другими.

На практике все это означает, что содержанием «этического дискурса», то есть охватывающих общество дискуссий на моральные темы, должны быть — и действительно бывают — дискуссии между новаторами и консерваторами, между сторонниками изменений в нормативном поле и противниками, прикрывающимися обычно идеологией моральной традиции.

Мы видим, что моральная сфера незаметно, но неодолимо меняется. Из сферы взаимных обязательств человека перед человеком она превращается в сложную сеть, в которой участвуют не только люди, но и животные, природная среда, роботы и искусственный интеллект, человечество и общество, взятые в целом, не существующие ныне прошлые и будущие поколения, организации, корпорации, институты, правительства и профессии. Добро превращается в односторонние моральные обязательства, зло и злодеи тяготеют к исчезновению вообще, отклонения от нормы перестают считаться морально предосудительными. Моральные нормы начинают изобретаться, обсуждаться и отменяться. И над всем этим стоит перспектива изменения человека — его образа жизни и его природы — как главная проблема морали, равно как и науки, и политики, и права, и вообще всей современной цивилизации.

¹⁷ Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.: Наука, 2000, с. 163.

¹⁸ Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001, с. 302.

¹⁹ Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие, с. 182.

²⁰ Марков Б. В. Мораль и разум: В кн. Хабермас Ю., Моральное сознание и коммуникативное действие, с. 374.

²¹ Назаретян А. П. Антропология насилия и культура самоорганизации, с. 228.

Виктор КОСТЕЦКИЙ

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Созидающий башню сорвется,
Будет страшен стремительный лет,
И на дне мирового колодца
Он безумие свое проклянет.

Н. Гумилев

Безумие всегда связано с цивилизацией
и ее неуютностью.

М. Фуко

Наверное, вряд ли кого удивят такие, например, выводы: если в яблоневом саду в этом году был урожай яблок, то, возможно, он будет и в последующие годы, а может, был и в предшествующие. Конечно, выводы на основе логики еще не факт, но для того, чтобы их отвергнуть, аргументов понадобится много. Точно такая ситуация с человечеством: на планете Земля это сезонное явление. Антропологи на эволюцию «хомо сапиенс» отводят десять миллионов лет; между тем географические условия, пригодные для существования человечества, как минимум, насчитывают пятьсот миллионов. То есть «эксперимент» с человечеством на Земле мог повторяться в прошлом регулярно, раз пятьдесят, а возможно, столько же будет повторяться и в будущем. Как яблони не цветут весь год, так и человечество на Земле появляется лишь «весной».

В нашей короткой «истории людей» значительная часть приходится на «первобытную культуру», культуру ритуального огня. Почему ритуального? Потому что других целей не было: климат был теплым, мясо не ели, ночью не работали, металлургией и керамикой не занимались. Огонь был востребован не для хозяйственных целей, а для психотропных воскурений с последующим развитием ритуала вокруг него. Еще Геродот писал о том, что германцы перед боем бросают в костер белену, а скифы бросают коноплю на досуге. С галлюциногенными воскурениями связана трансовая практика как «руководящая и направляющая сила» всей «первобытной культуры», организованная в итоге в «шаманизм». Археологи датируют кострища эпохой более чем в миллион лет.

То, что историки относят к цивилизации (монументы, письменность, города, скотоводство, земледелие, гигантомания строительных работ), возникает на Земле отдельными очагами не ранее пятнадцати тысяч лет назад. Связующим звеном между пер-

Виктор Валентинович Костецкий — доктор философских наук, профессор. Родился в 1955 году на Крайнем Севере, учился в Ленинграде, жил и работал в Сибири. С 2000 года преподает в разных вузах Санкт-Петербурга, в настоящее время — профессор Академии художеств.

вобытной культурой и цивилизацией является только шаманизм, преобразованный в эпоху цивилизаций в жречество. Что касается образа жизни, то происходит полный разрыв жизни до цивилизации и после. До цивилизации люди не приручали животных, не пахали, не строили жилища из камня, не жили на одном месте и не жили там, где «не цветут абрикосовые деревья» (Библия). Помехи в первобытный образ жизни внесли оледенения, роль которых не следует преувеличивать, поскольку большая часть человечества мигрировала в теплые края, а цивилизации появлялись исключительно в жарком климате.

Естественно, возникает вопрос: почему в разных частях планеты без особых причин прерывается устоявшийся образ жизни человечества? Причем образ традиционной жизни не просто прерывается, а прерывается нелепым образом. А именно: по инициативе жрецов появляется общественная повинность — например, на ровном месте насыпать гигантский холм. У холма изначально нет назначения: просто холм. Но есть скрытое значение: требовать труда, причем «в поте лица своего». В дальнейшем жрецы трудовую повинность усилят тем, что задействуют способ «собирать камни» — просто в кучу. Лишь позднее складу камней найдут применение: складывают в башню, зиккурат. Жрецы организуют под видом строительства именно труд как таковой, причем «сизифов» — по принципу «лишь бы наработаться».

Философия истории начинается с проблемы «сизифова труда» ранних цивилизаций. Цивилизация в ее современном виде ценит труд за его прагматическое значение (техническое, экономическое) — в то время как исторически это не его исходное и не основное значение. Уже олимпийская мифология помещает бога труда Поноса в свиту Танатоса вместе с божествами болезней и старости. Символическое значение понятно: труд не есть путь к жизни, а есть способ умирания совместно с болезнями и старостью.

Интересно, что студенты на вопрос «Как христианство относится к труду?» отвечают уверенно и не задумываясь: положительно. Между тем все не так однозначно. Первые христианские общины, ориентируясь на аскетизм, к труду относились отрицательно: труд — путь к обогащению и, соответственно, мимо нравственности. Отношение христиан к труду изменилось столетия спустя после появления монастырей, причем по весьма пикантным обстоятельствам. Как известно, монастырская жизнь требует соблюдения аскезы и воздержания от любой «страстности». Оказалось, что можно за счет силы воли переносить голод, холод, половое воздержание, но в аскезе есть одно слабое место: ночные сновидения, которые непроизвольно приобретают эротический характер. Как показал монастырский опыт, «прелесть» сновидений неистребима. После упорной «борьбы с блудом» выход неожиданно нашелся: им оказался длительный и тяжелый труд перед сном, именно с точки зрения затрат физической силы. Так труд в христианстве был оправдан — ради борьбы с ночными эротическими сновидениями. Поводом для «труда» стало таскание камней и поднятие целины. В итоге монастыри обросли монументальными каменными стенами и распаханными полями, что естественным образом сказалось на обороне и системе питания. Экономическая роль труда оказалась не источником экономики, а следствием психотехники в качестве профилактики эротических сновидений — о чем был мой доклад в Смольном на одном из Петербургских экономических форумов (Костецкий, 2010). Связка труда и эротики в понимании цивилизации оказалась не прямолинейной, но далеко не случайной.

После работ З. Фрейда сексуальная проблематика в социально-гуманитарных науках стала дежурной, причем в самом банальном толковании. Примером может слу-

жить монография Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» (1955). Логика выстраивается просто: цивилизация не существует без труда; труд подавляет либидо; молодежь страдает от подавления либидо и бунтует, — правильно делая. В этой логике полностью отсутствует не только понимание истории, но и понимание позиции З. Фрейда. По Фрейду, репрессивную роль для человечества представляет именно либидо, которое возникает не к месту и времени, и даже не в интересах человека и человечества. У животных половое влечение, в отличие от человеческого «либидо», кратковременно и свое временно: возникает на период брачных отношений и более не беспокоит. З. Фрейд как врач фиксировал чрезмерность либидо, его несоразмерность даже физическим возможностям человека, отчего и предполагал необходимость сублимации. Г. Маркузе произвольно отождествил «либидо» в учении З. Фрейда с Эросом как «принципом удовольствия», «влечением к жизни». Послевоенная Европа восторженно приветствовала ошибочные построения модного философа.

Странный факт чрезмерности либидо Фрейд как врач фиксировал, но, не находя достаточных оснований, как честный ученый отказался комментировать. В результате желающих «досказать за Фрейда» по всему миру оказалось предостаточно. Фрейдовское «Оно» на подиуме теорий как только не крутили: «инстинкты», «архетипы», «природа человека», иррациональное «бессознательное». При этом никто не удосужился заглянуть в анналы этнографии. Между тем еще при жизни Фрейда в России вышла монография академика Штернберга, в которой совершенно недвусмысленно вскрывался источник навязчивого либидо — это эротические сновидения, обязующие становиться шаманом или шаманкой.

Как показали исследования сибирского шаманизма под руководством академика Л. Я. Штернберга, шаманом становятся не по «выбору профессии», а по принуждению методом навязчивых эротических сновидений самого нескромного характера. Эротика шаманских сновидений — это не эротика романа или брачных отношений, а эротика «Камасутры» — с невероятными позами при невероятных обстоятельствах, причем на протяжении всего времени сна — во вред здоровью. Будущий шаман не может избавиться от навязчивых эротических сновидений иначе, чем заключить брачный «завет» со своим сновиденческим персонажем, который мучает его весь период полового созревания. Л. Я. Штернберг назвал шаманизм «сексуальным избрничеством», осуществляемым в сновидениях неким персонажем методом принуждения, угроз, шантажа, насилия.

В своей монографии «Первобытная религия в свете этнографии» [Штернберг, 1936]. Л. Я. Штернберг показал, что шаманизм основан на личном общении шамана с неким «духом предков» (противоположного пола) в рамках сначала сновидений, потом ритуального транса. Причем активность к эротике сновидений идет именно от «духа предков» и по воле его (ее) фантазий, с характером принуждения. Весь период полового созревания ночные эротические сновидения просто изматывают подростка, погружая его в «шаманскую болезнь». В сновидениях подросток оказывается в положении наложника (наложницы) «духа», на котором осуществляются сексуальные практики, неведомые не только ему, но и традициям его народа. В случае отказа от навязчивых приставаний обязательно следует серия угроз, а затем и наказаний. «Шаманская болезнь» исчезает после заключения «завета» — согласия на брак методом сновидений, — так возникает феномен культуры под названием «иерогамия» — священный брак.

С принудительным характером сексуальных отношений знакома и Библия, начиная с Ветхого Завета. В Книге Бытия упоминается о том, что некие «сыны божии» входили к дочерям человеческим и те рожали. После чего следует «гнев божий» —

за «растление». Наказаны, как известно, были не проказливые «сыны», а все «твари божии», что призывались «плодиться и размножаться». Олимпийская мифология тоже не свободна от сюжета соблазнения богами земных женщин, начиная с известного мифа о проказах Зевса к Данае.

Ветхозаветная история с появлением Адама (без женщины) полна тех же смыслов. Адам появляется в укротном райском саду («будуаре») не случайно без женщины, поскольку Она (в вежливой форме «Они» — «Элохим») ему уготована сновидениями в откровенных позах. Так было задумано. Но что-то пошло не так. Адам воспротивился эротическим сновидениям и затребовал телесную женщину, телесно подобную ему самому. Женщину изготовили «на скорую руку», после чего выгнали обоих, причем посылая проклятия вслед как при обычном скандале из ревности. Этот инцидент вызывает недоумение уже три тысячи лет. Почему Адама создают отдельно от всех людей и в выходной день, почему без пары (женщины), почему в укротном садочке рая, почему, наконец, столько гнева и проклятий на момент изгнания, почему «наказание»? Наконец, почему «Они» (напомню: уважительная форма личного местоимения в тексте Ветхого Завета без гендерных различий) так гневливы и в гневе зловредны? История шаманизма в свете этнографических знаний позволяет вполне компетентно отвечать на такого рода вопросы.

Для потомков Адама труд в качестве наказания не является ни свободным, ни добровольным. Потомки, конечно, могут исхитриться, превращая труд в «удовольствие» (механизация, автоматизация, творчество, доходность), но будут наказаны за это «свыше» неожиданным образом. Для «человека разумного» существует универсальная форма наказания: потеря разумности. Разум — не собственность человека, а аренда, пользование. Разум теряем. Не случайна поговорка «Кого Бог намерен наказать, того лишает разума». Безумие — реальная угроза человеку и человечеству. Как заметил Сенека, «мы безумствуем не только по одиночке, но и целыми народами» [Сенека, 1986, с. 281]. Средневековое сжигание ведьм или концлагеря нацистов тому наглядный пример. Цивилизация изначально граничит с безумием, и прав М. Фуко: «Безумие всегда связано с цивилизацией и ее неуютностью» [Фуко, 1997, с. 507].

В цивилизации разумность человечества в тисках с двух сторон: со стороны труда и со стороны секса. При этом оказывается, что ни труд не является «естественноисторическим процессом» (К. Маркс, Ф. Энгельс), ни секс не является инстинктом продолжения рода. Это сферы манипуляции человечеством, реализующие программу наказания «сверху». Смысл наказания в том, что нельзя труд превращать в путь к богатству, а секс обращать в соматическое наслаждение. Собственно, это откровение давно зафиксировано — в религиозных текстах. Богатому в рай войти все равно как верблюду пройти сквозь углиное ушко; не возжелай жены ближнего своего — такого рода тезисами поведение строго табуируется. Ветхий Завет писался в первом тысячелетии до нашей эры — опыт цивилизаций был богатым.

В настоящее время труд не перестает проявлять иррациональность. Например, двести лет назад был 16-часовой рабочий день, порой без выходных и оплачиваемых отпусков, без пенсий. Сто лет назад рабочий день сократился вдвое, но с тех пор держится в тех же границах, несмотря на невиданный рост производительности труда. Возникает вопрос: на что уходит рост производительности труда, если рабочий день сто лет остается на уровне восьми часов? С учетом электрификации, механизации, автоматизации, компьютеризации рабочий день мог бы сократиться до четырех часов, неделя до трех рабочих дней, в году могло быть четыре оплачиваемых отпуска, а пенсионный возраст мог бы понизиться до сорока лет. Но ничего подобного не происходит

по всему миру. Труд удерживает человечество в стабильно жестких условиях. Возникает тогда вопрос: при несоразмерно большом количестве труда (в сравнении с потреблением) куда деваются избытки богатства?

«Общество изобилия», о котором уже начали было писать, вдруг стало плавно отступать от своих рекордных показателей. Причина проста: как-то «само собой» начался безумный рост цен на предметы роскоши, причем вне всяких соотношений с «трудозатратами». Миллионы за холст, миллиарды за яхту. Спрос на модную роскошь стал приобретать маниакальный характер навязчивых идей, которым разум как таковой не способен противостоять. Богатые не могут остановиться, вовлеченные в сети навязанной тяги к роскоши и игромании. В результате жупел «сизифова труда» вновь и вновь повисает над цивилизацией. Собственно, цивилизация оказывается наказанной подобно Сизифу, причем тем же способом обращения трудовых усилий миллионов людей в ноль.

В трактате Г. Маркузе «Эрос и цивилизация» — надо отдать дань восхищения названию — эрос понимается абстрактно, как «принцип наслаждения». Не менее абстрактно понимается и труд — в контексте «ходить на работу». Для философии конструирование абстрактных объектов означает совершенно провальное занятие. Как понятия «труд» и «эрос» интересны именно в своей конкретике, которая быстро уводит от бытовой наглядности. Так, слово «эротика» приучает связывать значение слова с сексом, между тем это не более чем антропоморфизм. В более широком значении эротика связана с переключением внимания на телесность. Например, человеку нравится медная статуэтка, медная турка для кофе, медная пряжка ремня. Очевидно, что плоть имеет значение. И это значение сводится к тому, что чувственное восприятие не хочется прерывать: нравится долго смотреть, ощущать, трогать, слушать, вдыхать запахи — забывая о времени. Кому-то нравится все золотое, кому-то овальное, кому-то розовое. Пристрастное отношение к телесности со стороны плоти и формы образует основу эротики. Мифологическое значение Эроса как бога, причастного к космогенезу, тоже ориентировано на чувство плоти: этот мир плотский — в контексте библейского «это хорошо» на момент сотворения мира.

Как всякое «хорошее дело», эотику можно испортить. Миф про царя Мидаса тому пример. Нельзя из любви к золоту все превращать в золото, особенно пищу. Однако цивилизация запрограммирована на совершение этой ошибки. Как только часть общества высвобождается из труда, так западает на эотику в крайних формах: пристрастие к моде, роскоши, сексу, насилию, «чревоугодию», «сребролюбию». Ж. Батай, исследовавший историю эротизма в искусстве, писал: «Едва появившись на свет из этого темного мира, эротизм, еще расплывчатый, грубый, поражает нас ужасной гармонией с садизмом» [Батай, 1994, с. 302].

В животном мире животные функции организма не эротизируются. Никому не доставляет удовольствия смотреть на то, как кто-то жует, совокупляется или избавляется от продуктов метаболизма. Внимание животных не сосредотачивается на подобных вещах. В человеческой культуре, напротив, все животные функции организма проходят через цензуру эротизации: прием пищи, половое общение, комфортное сидение на унитазах. Люди едят за столом, спят на кроватях, строят туалеты — в итоге возникает оппозиция культуры и природы. Хомо сапиенс становится не столько разумным, сколько цивилизованным.

Появление «труда» на момент гигантомании строительных работ в эпоху первых цивилизаций ставит общество в оппозицию и природе, и культуре. Дело в том, что труд — это не промысел, не деятельность типа заготовки дров, огородничества, хлопот по хо-

зайству. В понятии труда фиксируются только затраты на усилия и соответствующее время. Существует много телесных усилий, которые не относятся ни к труду, ни к промыслу: например, жевать твердую пищу или испытывать какие затруднения с пищеварением. В первобытной культуре нет труда; точно так же как дети с трудом, как говорится, учатся ходить — но это не труд. Труд — феномен цивилизации в ее оппозиции, как было замечено в начале XX века, культуре и природе: у людей буйный праздник не труд, у животных добыча пищи не труд. Труд из материалов природы делает машину, а человека обращает в разумного придатка машины, постепенно теряющего разум за пределами этой самой машины.

Как показала история, цивилизация разумным путем впадает тем или иным способом в безумие. Бесконечный труд поглощается роскошью, а бесконечная роскошь приводит к войнам на самоуничтожение и к массовому извращению телесности в самых разнообразных формах, от ожирения до сексуальных перверсий. В пресловутом «закате Европы» нет ничего странного: цивилизация попала в расставленные силки. Культура держится не на «ценностях», а на табу. Трактовать табу как «репрессивность» подобно Г. Маркузе — значит не понимать ни культуру, ни цивилизацию. И дело не в том, что тот или иной автор не проявляет способностей к философии истории, а в том, что в так называемой «научной картине мира» понять человеческую историю в принципе невозможно. Человек не есть естественный продукт эволюции животных (Ч. Дарвин), и труд не есть «естественноисторический процесс» (К. Маркс), и религия не есть «встреча дурака с обманщиком» (Т. Гоббс), и даже «либидо» не есть «природа человека» (З. Фрейд). В Ветхом Завете можно найти больше исторической правды, чем в научных монографиях современных экономистов и гуманитариев.

Исходное появление «труда» в человеческой культуре — не рыбалка и собирательство, а противостояние сновидениям, которые принимают античеловеческий характер, вплоть до нарушения устоявшихся табу. Например, могут быть сновидения с подстрекательством к каннибализму, причем навязчивого характера. Ночные сновидения — это настежь раскрытые ворота к человеческому разуму. Они могут быть раскрыты советам «культурного героя», но могут оказаться раскрытыми «врагу человеческого рода», что реально случается время от времени как с отдельным человеком, так и с народами. Религия с ее гигантоманией строительных работ возникает не на пустом месте. Реальная угроза массовой потери рассудка как раз и рождает собой «труд»: сначала как психотехнику, а в дальнейшем «труд» мотивируется целесообразностью типа «выживание», «обогащение», «покорение природы», «прогресс цивилизации», «продление продолжительности жизни». Цивилизация не может отрешиться от решения этих «важных» задач. Однако, как говорят военные, можно выиграть битву, но проиграть войну. Аналогичным образом цивилизация при всех своих выигрышах обречена «проиграть войну» за прогресс. Нельзя создать вечный двигатель или обыграть казино. Цивилизация запрограммирована на самоуничтожение, и средства уничтожения заранее запасы: это труд и секс. То, что не разрушит в человеке труд, разрушит секс, и наоборот.

Почти три тысячи лет назад древнегреческий поэт Гесиод писал о том, что человечество на Земле время от времени меняется, существуя каждое в своих определенных пределах. Пределы могут быть разными: по возрасту, образу жизни, отношению к труду или войне, даже по отношению к «загробной жизни». Эпоху нашего человечества — «пятого поколения» по ходу поэмы — Гесиод охарактеризовал следующим образом:

Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы иль позже родиться!

Землю теперь населяют люди железного века:
Не будет им передышки от труда, забот и несчастий!
Дети — с отцами, с детьми — их отцы сговориться не смогут,
Чуждыми станут товарищ товаришу, гостю хозяин,
Больше не будет меж братьев любви, как бывало когда-то.
Старых родителей скоро совсем почитать перестанут:
Будут их яро и зло поносить нечестивые дети
Тяжкою бранью. Не зная возмездия богов, не захочет никто
Доставлять пропитания родителям старым.
Правду заменит кулак! И не возбудит ни в ком уважения
Ни справедливый, ни добрый. Скорей, наглецу и злодею
Станет почет воздаваться. Где сила, там будет и право.
Стыд пропадет. Человеку хорошему люди худые
Лживыми станут вредить показаниями...
К вечным богам вознесутся тогда, отлетевши от смертных,
Совесь и стыд. Жесточайшие, тяжкие беды останутся людям.
От зла избавления не будет.

Три тысячи лет миновали со времен Гесиода, но эпоха «железного века» все еще тянется сквозь все исторические трансформации. Рождаются царства, исчезают империи, техника демонстрирует невиданные успехи, но конца взлетам и падениям не видно. Все человеческие отношения на пике развития общества обращаются в наглость. Наглость в отношениях людей появляется не в качестве индивидуальной случайности, а системно, от политики и экономики до быта. Вот пример заурядной наглости на сегодняшний день:

Кот надоел перед отпуском:
Старый, больной.
Его отвезли на окраину,
Пусть скотиной живет сам собой.
На отпуск заняли денег,
Отпуск-то дорогой.
А отдавать не стали —
Просто дружбу долой.
С отпуска выйдя, сменили работу:
В компании прибыли нет.
Ушли к конкурентам, с собою забрав
Опыт прожитых лет.
На юбилее друзья величали:
«Как вы умеете жить!»
А кто-то кота помянул ненароком,
Что ушел к конкурентам — дожить.

До тех пор пока цивилизация поощряет «умение жить», она будет полным ходом идти в тупики заготовленного Лабиринта. Ландшафтом человеческой истории являются не реки и моря, горы и пустыни, а лабиринты с ходами из разума и безумия. Разумность во многом определяется способностью вовремя отступать, не углубляясь в тупики безумия. В истории цивилизации есть позитивные примеры. Когда царства

древнего мира при всей роскоши дворцов превратили жизнь в историю войн, началась массовая миграция ариев из Индии в Европу с переходом к деревенскому образу жизни. Технологический опыт сохранился, но человеческим отношениям возвратили человечность. Экономисты до сих пор не понимают того, что в деревне нет труда: есть промыслы и «работы по хозяйству». В русском языке слово «труд» образовано от глагола «трудить», с ударением не первом слоге. «Трудить» означало понуждать себя к нужной деятельности. То есть речь идет о психотехнике, а не о производительной деятельности. Трудовой психотехники в деревенском образе жизни места хватает, спору нет. Сенокос — тяжелые работы, но если сено заготавливают для своей скотины и работают на себя, свою семью, своих детей, то вступает в силу поговорка «Своя ноша не тянет». Подобная ситуация явно прослеживается в ранний период возникновения античной цивилизации: физический труд на себя и на открытом воздухе почетен для владельца собственного каменного дома-фабрики («экоса»). Позорен труд не на себя, в закрытом помещении, в сидячем положении. Без установки на физический труд на свежем воздухе домовладельцы античного полиса никогда не смогли бы создать «гражданское общество», по физической силе превосходящее любое военное сословие.

Избавление от физического труда в цивилизации оправданно для экономики, но не для человечности. Не случайно горожане стремятся на дачу. Сначала дачники радовались именно физическому труду: огород развести своими руками, деревья подрезать, траву покосить. Однако Лабиринт истории разворачивает дачную жизнь в сторону комфорта: санузел, отопление, водопровод, веранды-мансарды, — и вот уже дача уподобляется городской квартире. Дом превращается в «машину для жилья». Уставший труженик города возвращается на дачу «отдохнуть» — посидеть в шезлонге на солнышке, шашлыком загрузиться под вечер. А там и мысли внезапно приобретают характер фантазий, сворачивая на эротическую тему. Это не индивидуальный ход мысли отдыхающего, это бег по лабиринту истории, по его тупикам. И конец предсказуем, как в «Анне Карениной».

При деревенском образе жизни семья не может распасться: слишком много специализированных физических работ женского и мужского характера. Само «разделение труда» выступает прежде всего психотехникой сохранения семьи, ведущей хозяйство «для себя» — самодержавно, суверенно. В хозяйствующей семье труд меняет свое назначение, его значение не сводится к экономике. Но и сексуальность претерпевает значительные трансформации. Эротика выстраивается параллельно сексу и удерживается в этой параллельности «средствами культуры». Девиантные фантазии теряют почву; они становятся если не скабрёзными, то, как минимум, смешными. Психология стыда закрепляет параллелизм эротики и секса, лишая тем самым либидо своей «бессознательности».

На определенном этапе развития цивилизации прогресс состоит в том, чтобы вернуться к деревне с ее физическим трудом и натуральным хозяйством, а не в том, чтобы наращивать объемы мегаполисов. Человек изначально есть существо, предназначенное выживанию на основе личного физического труда в условиях минимального комфорта. Этим нетрудно пренебречь, но тогда путь к безумию будет открытым. Ящик Пандоры открывается просто: комфортом. Эллада, родина западной цивилизации, веками осознанно избегала комфорта, к которому население новой России пока так безудержно стремится.

Когда Россия заявляет о себе как особой цивилизации, то ее особенность состоит не в химерическом единении Европы с Азией, а в том, что этноландшафтные отношения веками держались на сезонном характере физического труда. Сезонный труд

кратковременен, но интенсивный, «до седьмого пота». Это сенокос, заготовка дров, рыбалка, охота, ягоды и грибы, орехи и бортничество, огородничество, хлебопашество, скотоводство, ткачество, заготовка сырья для товарного производства. А межсезонье заполняется праздниками с массовыми веселыми гуляньями, в которых эротика не сводится к сексуальности. При деревенском образе жизни эротика идет не от секса, а к сексу — от общего чувства плоти. От стали топора наостренной, от перламутрового блеска рыбьей чешуи, от пота любимой лошади, от налитых колосьев хлебов. Деревня — не задворки цивилизации, а ее чистилище, без которого любая цивилизация захлебнется в собственном безумии.

Г. Маркузе, озабоченный выходом цивилизации из тупиков «одномерного человека», настаивал на свободе эроса и сублимации труда в игру. Но именно это и ведет цивилизацию к безумию, к феномену которого настойчиво привлекал внимание М. Фуко. В отличие от Фуко, Маркузе мыслит как подросток: «Путь к разумной системе общественного труда пролегает через освобождение времени и пространства для развития индивидуальности за пределами неизбежно репрессивного мира труда. Игра и видимость как принципы цивилизации подразумевают не преобразование труда, но его полное подчинение свободно развивающимся возможностям человека и природы... игра... порывает с репрессивными и эксплуатативными чертами труда и досуга» [Маркузе, 1995, с. 202]. Для Г. Маркузе, как до него писал и Й. Хейзинга, прогресс цивилизации мерещится в переходе к формации «игрового способа производства». Если учесть, что Й. Хейзинга совершенно не различал игру и дурачество, о чем я уже писал ранее (Костецкий, 2020), то понятно, что именно в дурачестве «одномерный человек», по мысли Маркузе, обретет себе другие измерения. Но у труда в цивилизации есть своя роль, причем прежде всего не экономическая — удерживать разумность «хомо сапиенс» от полного поглощения дурачеством с последующим «безумием».

В словах Гесиода «от зла избавления не будет» есть момент странного оптимизма: неутешительный прогноз не касается наглых людей, «которым станет почет воздаваться». Единственное, что им угрожает в отличие от всех прочих, так это расчеловечивание. Наглость людей обращает их либо в «бесов», то есть одержимых бесовством, либо в «машины» достижения успеха. «Бесы» и «машины» представляют собой универсальные метафоры цивилизации на пути к безумию. Как тут не вспомнить киника Диогена: на вопрос, много ли людей было в театре, он ответил: «Народу было много, а людей — почти никого». Можно только добавить, перефразируя Ф. Ницше: все, что не превращает нас в бесов и машину, делает человечнее.

Литература

- Античная литература. Греция: Антология. М., 1989.
- Костецкий В. В. Парадоксы культуры с глобальными экономическими последствиями // БРИК: шаг за шагом. Межд. конф. СПбГУ, 2010.
- Костецкий В. В. Анти-Хейзинга: другая философия игры // Вопросы философии. 2020. № 2.
- Маркузе Г. Эрос и цивилизация. Киев, 1955.
- Танатография эроса. Жорж Батай и французская мысль XX века. СПб., 1994.
- Сенека Л. Нравственные письма к Луцилию. Кемерово, 1986. С. 281.
- Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997.
- Штернберг Л. Я. Первобытная религия в свете этнографии. Л., 1936.

БУНИН И ТЭФФИ

Об одной любопытной сюжетной перекличке

Поиск сюжетных параллелей, совпадений, бросающихся в глаза или с трудом обнаруживаемых, очевидных или натянутых, что называется, из пальца высосанных — с одной стороны, увлекательный аттракцион, любимый конек преподавателей литературы (весело и занимательно доказывать, например, что «Пиковая дама» и «Преступление и наказание» фабульно практически совпадают). С другой стороны, это непосредственный материал для изысканий в области модной сегодня криптопоэтики, предполагающей в качестве одного из основных предметов исследования скрытую полемическую соотнесенность рассматриваемого текста с произведениями предшественников или современников.

Перед читателем попытка сопоставления двух рассказов И. А. Бунина, «Баллада» и «Ночлег», входящих в цикл «Темные аллеи», и рассказа Н. А. Тэффи «Собака» из сборника «Ведьма». Финальные сцены всех трех произведений одинаково ужасны и совпадают даже в деталях.

Тэффи, «Собака»: «И вдруг произошло нечто дикое. Раздался звон разбитого стекла, и что-то огромное, тяжелое, мохнатое впрыгнуло и упало сбоку на Гарри, повалив его и покрыв собою. <...> Когда я очнулась, все уже было кончено. Гарри с начисто разорванным горлом увезли в приемный покой. Собака исчезла бесследно».

Бунин, «Баллада»: «Стал тогда старый князь стрелять в лошадей <...> да глянул вбок и видит: несется на него по снегам, под месяцем, великий, небывалый волк, с глазами, как огонь, красными и с сияньем округ головы! Князь давай палить и в него, а он даже глазом не моргнул: вихрем нанеся на князя, прынул к нему на грудь — и в единый миг пересек ему кадык клыком».

Бунин, «Ночлег»: «...он опять мгновенно поймал ее и, зажав ей рот своей сухой, цепкой рукой, бросил ее на кровать. Она с яростной силой сорвала его руку и пронзительно крикнула: Негра! Он опять стиснул ей рот, но в ту же минуту услышал рев вихрем мчавшейся по лестнице собаки. Защищая лицо от пасти собаки, обдававшей его огненным псиным дыханием, он метнулся, вскинул подбородок — и собака одной мертвой хваткой вырвала ему горло».

Сюжетным совпадением, историей о страшном возмездии, настигающем в последнюю минуту негодяя, и о воплощении идеи возмездия в аналогичные бестиарные образы сходство текстов не исчерпывается.

Что же стоит за неосознанным (или осознанным?) диалогом двух ярчайших представителей культуры русского зарубежья (и близких друзей)?

Алексей Данилович Семкин родился в 1961 году. Кандидат искусствоведения, автор ряда статей по истории театра и литературы. Живет в Санкт-Петербурге.

И в том и в другом случае речь об очень важных страницах в творчестве и Бунина, и Тэффи — самых любимых ими самими.

Попробуем восстановить общий генезис трех текстов.

Мистическая книга Тэффи «Ведьма» — это 1936 год. Об этом сборнике Надежда Александровна сказала: «В этой книге наши древние славянские боги, как они живут еще в народной душе, в преданиях, суевериях, обычаях. <...> Эту книгу очень хвалили Бунин, Куприн и Мережковский, хвалили в смысле отличного языка и художественности».

Что привлекает внимание в этом комментарии? Во-первых, отсылка к «древним славянским богам». Во-вторых, «хвалил Бунин».

Первая публикация именно рассказа «Собака» состоялась раньше — в четырех номерах «Возрождения», с 4 по 25 сентября 1932 года. Рассказ Тэффи — о любви, самоотверженной и преданной; но одновременно это повествование о темной, рационально не объяснимой стороне жизни.

Бунин «Баллада» 3 февраля 1938 года. Это самое начало работы над «Темными аллеями» — рассказ второй по времени написания, сразу после «Кавказа», остальные гораздо позже. Рассказ, по свидетельству самого писателя, написанный случайно, но автору очень дорогой: «Бог дал быстро выдумать нечто совершенно прекрасное (с вымышленной странницей Машенькой, главной прелестью рассказа, с ее дивным ночным бдением, дивной речью)». Сюжет также мистический. В отличие от текста Тэффи оправдание-обоснование казни князя совершается на самом высоком уровне, волк получает эпитет: «этот самый Божий волк», он практически канонизирован, изображен на иконе... И как! «...Голова большая, остроухая, клыками оскаленная, глаза ярые, кровавые, округ же головы золотое сияние, как у святых и угодников».

«Ночлег» 23 марта 1949 года. Финал «Темных аллей» с огромным отрывом в пять лет от основного корпуса произведений. Такой постскрипtum. История спасения девочки от насильника верной собакой (неизвестно откуда взявшейся и тоже с некоторым инфернальным колоритом).

В большей степени внимание исследователей до сих пор привлекала «Баллада», иногда в параллели с «Ночлегом» — и вне связи с Тэффи. И конечно, интересовала в первую очередь мифология: от Фенрисульфра, суперволка скандинавской мифологии, до смутных революционных времен. Вот интересное рассуждение В. Г. Богомякова («Археология поэзии: от волка-злодея к волку-сотоварищу»): «Во времена общественных потрясений и сломов, войн и революций, как квинтэссенция положительной ипостаси иного в стихах появляется бог-волк, возрождающий память о германо-скандинавском Фенрире, древнеегипетском Упауте и других волкоподобных богах». В подтверждение исследователь приводит стихотворение Анны Радловой «Ангел песнопенья»:

Лечу зигзагами по небесному черному бездорожью,
Бездорожный волк бежит по черному снегу яростным талым мартом,
Прямо в глаза мне глядят грозные глаза Божьи,
А я обеими руками прижимаю к себе российскую, рваную, географическую карту.
(Январь 1922)

Но еще задолго до волчьих грозных Божьих глаз у Радловой эти же страшные глаза появятся — у кого же? У Бунина, и это самый темный и практически не поддающийся разумной, логической интерпретации бунинский поэтический текст, «Сказка о Козе», написанная почти за четверть века до «Баллады»:

Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю перелеска?
 Полночь, поздняя осень, мороз.
 Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска,
 Под ногою сухое хрустит серебро.
 Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые.
 Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза!
 Расцветают, горят на железном морозе насытые
 Волчьи, Божьи глаза.

Вот откуда в «Балладе» «Божий зверь, Господень волк, моли за нас царицу небесную». Это было впервые тогда, в 1915 году.

Вернемся, однако, к славянским богам. Алексей Кононенко в «Энциклопедии славянской культуры, письменности и мифологии» сообщает: «...в славянской мифологии присутствует Полкан, существо с песьей головой, мстящее насильникам за поруганную девичью честь. Иногда... Полкана изображали в виде человека-пса... Имя его, ставшее кличкой большинства русских деревенских собак, вовсе нерусское. Оно латинско-итальянское и происходит от Pulicane — «полупес».

Возможно ли привести к общему знаменателю эти сюжеты?

Первое, что объединяет три текста (кроме сходства финальной кровавой сцены), — мистический элемент, мотив чудесной помощи. Тэффи, с увлечением окунувшись в мир легенд, суеверий и темных верований, конструирует в «Ведьме» некоторое количество уже собственных, но растущих из этой почвы сказок-быличек, и среди них самый поэтический сюжет — милая русскому сердцу сказка о верности таинственного возлюбленного.

Бунин, отталкиваясь от мистической новеллы Тэффи, продолжает работать в русле давно привлекавших его тем. Интерес к фольклору и, если шире, вообще к мифологической, легендарной стороне жизни актуален и для раннего его творчества; темные предания и роковые тайны составляют едва ли не главное очарование «Суходола». В «Балладе» же он прямо ориентируется на традиции русского фольклора, сошлемся на мнение молодой исследовательницы из Екатеринбурга Н. Ю. Лозюк: «Здесь Бунин продолжает традиции русского фольклора, в котором волк фигурирует как сложный амбивалентный образ: страшный и опасный хищник и волшебный помощник, спасающий от гибели, и позволяющий вызволить невесту». Сложнее с «Ночлегом» — вернемся к нему чуть позже.

Сравним подробнее эти три текста по некоторым важным пунктам:

Во-первых, обратим внимание на рассказчика. Здесь Бунин явно противостоит Тэффи; у нее историю рассказывает главная героиня, результат — живая эмоция и включенность в происходящее. У Бунина взгляд извне, но в «Балладе» рассказчица — транслятор народной мудрости и выразитель нравственной нормы, отсюда откровенно дидактическое начало — как и должно быть в соответствии с жанром; в «Ночлеге» — сообщение дано без эмоций и комментариев, рассказчик — объективный наблюдатель, хладнокровно фиксирующий происходящее.

Во-вторых, стоит обратить внимание на негодяя — и особенно с точки зрения его демонической природы. У Тэффи мерзость героя гармонична, насколько он и его компания отвратительны, уродливы внешне, настолько же они омерзительны душой: «Было в нем, в этом выродке, что-то такое беспокойно-противное, что я подумала: „Неужели найдется на свете такая идиотка, которая допустит его к какой-нибудь близости, как-нибудь поверит ему, да еще, пожалуй, увлечется таким гадом ползучим?“»

У Бунина несколько сложнее. Согласимся с Н. Д. Есиковой, которая в статье «Жанровая природа рассказов И. А. Бунина „Баллада“ и „Ночлег“» отмечает: «Автор в облике старого князя и марокканца настойчиво маркирует inferнальное начало». Но есть между ними и существенная разница: князь в «Балладе» внешне «очень еще в силе был, а касательно наружности отлично красив»; он ужасен именно душевно. Марокканец в «Ночлеге» ужасен и внешне, он абсолютный бес: «большой рост и небольшое, очень смуглое лицо, изъеденное оспой», «так крепко затянулся окурком, что обжег кончики острых черных пальцев <...> в светлом лунном сумраке пронзительно чернели его птичьи глаза, чернела маленькая, коротко стриженная голова, белела длинная рубаха, торчали большие голые ступни <...> Все это было очень жутко».

В-третьих, посмотрим пристальнее на саму ситуацию насилия — и избавления от насилия.

Отметим сразу существенную разницу: в «Собаке» негодяй угрожает жизни и здоровью героини, но не ее чести, о сексуальном насилии речь не идет. Тэффи вообще гораздо целомудреннее, и в «Собаке» эротический подтекст отсутствует или приглушен, пишет она совсем не об этом. А Бунин именно об этом. Безымянный автор в Интернете остроумно отмечает, что сюжет многих рассказов «Темных аллей» содержит насилие или попытку насилия над героинями, но попытки насилия показаны только в «Балладе» и «Ночлеге». И в обоих случаях расправляется с насильником зверь — «Господень волк» или преданная собака Негра. А дальше удачно приведена остроумная цитата из В. Гречнева («О прозе и поэзии XIX—XX вв.»): «И тут спаситель от зверя выступает в образе зверя».

Об этом же, о природе этого странного мстителя, одновременно ангела-хранителя, более категорично сказала Н. Ю. Лозюк: «В сущности, эту типично бунинскую развязку, как нам кажется, можно обозначить, переформулировав известное „Deus ex machina“ в „Deus ex bestia“».

В этом бунинское переосмысление сюжета Тэффи; у нее собака — друг (и все же изначально человек, выручающий в опасности), у Бунина — воля Божья.

В-четвертых, рассмотрим внешнее воплощение мстителя — внимание привлекают в первую очередь глаза, страшные, горящие.

У Тэффи: «Смотрела в упор на Гарри. Так смотрела, точно вся ушла, всей силой в свои глаза», «...и эти страшные глаза, уставленные на Гарри».

В «Балладе»: «...великий, небывалый волк, с глазами как огонь, красными и с сиянием округ головы!»

В «Ночлеге»: «Собака остановилась и опять подняла морду, сверкнув красным огоньком глаз».

Такие глаза появлялись в текстах Бунина и раньше. Можно вспомнить рассказ «Волки», где все те же звери появляются тоже, кстати, в эротической ситуации, в момент, когда барышня готова уступить гимназисту и «уступает ему долгим поцелуем в губы, как вдруг...» Конечно, никакого насилия здесь нет, но связь бестиарного начала и плотского возбуждения, являющегося мотором этой сцены, очевидна. И вот — перед повозкой с героями возникают «три больших волка, и в глазах у них мелькает то сквозной зеленый блеск, то красный — прозрачный и яркий». Явление волков отменяет если не изнасилование, то уж во всяком случае интимную близость.

В-пятых, поговорим о преданности и ее бестиарном воплощении.

Эдит Хэйбер в своей работе «„Ведьма“ Тэффи: мифология русской души» замечает: «Показательно в этой связи, что Толя ассоциируется не с пугающим нечистым, фигурирующим в других историях, а с собакой. Ибо, по мнению Тэффи, тот вид бес-

корыстной любви, который он олицетворяет, присутствует в чистом виде именно у животных».

Позволим себе не согласиться. У Бунина действительно образец преданности, абсолютная ее вершина — преданность собачья. Она представляется возможной заменой в случае предательства женщины: «Хорошо бы собаку купить» (стихотворение «Одиночество», 1903). Чего ищет герой? Преданности, которой не получил от женщины. И в «Снах Чанга» (1916) тот же мотив: «...Чанг любит и чувствует капитана, видит его взором памяти, того божественного, чего никто не понимает, значит, еще с ним капитан». И в «Ночлеге» девочку спасает Негра, «привязавшаяся к ней с той преданностью, на которую способны только собаки».

У Тэффи же главная тема принципиально иная — идеальная преданность вечного возлюбленного, который придет на помощь даже с того света, собака только его личина.

Наконец, в-шестых, вернемся к мистике.

У Тэффи в «Собаке» — мертвый возлюбленный, пришедший на помощь уже из иного мира, уже расстрелянный. В «Балладе» Волк со свечением над большой головой, какое окружает лики святых, очевидно, посланец небес. В «Ночлеге» собака — единственный друг девочки, но зверь это весьма необычный — неизвестно откуда взявшийся, таинственный, грозный, все понимающий, единственный друг девочки.

Как справедливо заметила Эдит Хэйбер именно в связи с «Собакой» Тэффи: «...в то время как в других историях сверхъестественная сила обычно представляет собой какую-нибудь темную страсть или суеверие, здесь она полностью положительна». Тем более это относится к рассказам Бунина.

Творческая история обоих рассказов Бунина представляется достаточно сложной. Автор лукавит, когда изображает все неким спонтанным и экономически вынужденным эпизодом, пишет он об этом так: «А меж тем написать его, как и многие другие рассказы... побудила меня нужда в деньгах...» В действительности появление «Баллады» подготовлено и привязанностью Бунина к поэтической волшебной старине, к жутким легендам темного прошлого, причем здесь часты бестиарные мотивы, — и, с другой стороны, попыткой противостоять темному ужасу плотского начала. Тема эта стала одной из важнейших в «Суходоле», в «Темных аллеях» она прозвучит не раз, но ближе всего к «Балладе», безусловно, страшная сказка «Железная шерсть» (и вновь бестиарий!)... Но об этом попробуем в завершение сказать подробнее.

Сборник «Темные аллеи» представляет поразительное разнообразие, топографическое и временное, множественность боковых линий — при однородном ядре вполне определенного хронотопа. Пространственно-временные координаты «темных аллей» таковы: классическая средняя полоса, тургеневско-чеховская Россия, включая Москву — и соответствующая эпоха. Это двадцать девять рассказов из сорока. Россия с выходом в иное пространство — еще пять, «Кавказ», «Генрих», «В Париже», «Холодная осень» и «Мечь» (причем три последних раздвигают границы и временные, действие ближе к моменту создания, к концу 1930-х годов). Третья группа — экзотика, уже не Париж или Кавказ, но глухая испанская провинция, Иудея, маленькая станция между Марселем и Арлем, Индия (Цейлон) представлена эпизодически, всего четыре текста: «Ночлег», «Сто рупий», «Весной, в Иудее» и «Камарг» (десятая часть сборника). Из них «Ночлег» и «Весной, в Иудее» и сегодня в сборнике на птичьих правах, не признаны многими исследователями как законная часть «Темных аллей» — какой-то довесок. И наконец, два рассказа фольклорных, вообще противопоставленных всей поэтике сборника, «Баллада» и «Железная шерсть». Рассматриваемые нами вариации на «собачью» тему суть два исключения — одно в сторону древности, другое в экзоти-

ку. Это важно и помогает понять замысел Бунина. Два максимально противопоставленных мира — с одной стороны, мир архаичного «древлего благочестия» и такого же архаичного безудержного порока и воздаяния свыше. С другой — мир животной похоти, он дан в экзотической, но очень наглядной осязаемой реальности испанской провинции (известно, как Бунин искал экзотики, писал Н. А. Тэффи 6 марта 1949 года: «...теперь одолеваю „Дон Кихота“ ... в тщетной надежде зацепиться хоть за что-нибудь испанское...»).

Еще раз отметим: это начало и конец цикла, рамочная композиция. «Баллада» — начало 1938 года. «Ночлег» — 1949 год. С чего Бунин начинает «Темные аллеи», тем, в сущности, и заканчивает. Древняя поэзия «Баллады», ее возвышенно-абстрактный, иконописный изобразительный ряд и холодный бесстрастный натурализм «Ночлега» — в результате инструменты для решения одной задачи. Именно об этом писал Ф. А. Степун в связи, правда, с «Митиной любовью»: «С невероятную, потрясающую силою раскрыта Буниным жуткая, зловещая, враждебная человеку, дьявольская стихия пола».

«Темные аллеи» — о темных аллеях любви. Но в двадцати рассказах из сорока о любви нет и речи, нет и не может быть объяснения в чувствах, поскольку предмет их исключительно плотская сторона отношений между мужчиной и женщиной. От «Дурочки» до «Гали Ганской». В «Митиной любви» есть свидетельство бунинского беспощадного понимания этой проблемы: «Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития...» А наивысшая точка этого «чудовищного» — изнасилование. Экзотика выполняет ту же функцию, что у Грина в «Острове Рено» или в «Сердце пустыни» — верифицирует этот побег от мерзости жизни и мерзости плоти и даже победу над этой страшной силой, как ее не раз определял Бунин: «Несть ни единой силы в мире сильнее похоти» («Железная шерсть»). Или в «Суходоле»: «Та страсть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей?»

В обычных, реальных интерьерах нет спасения от дикости плоти и свинцовых мерзостей жизни — и быть не может. Представим себе, как это могло бы быть возможно в рассказах « Степа », « Дурочка », « Гость », « Кума », « Дубки », « Барышня Клара »? Нужны совсем иные декорации, в которых возможно спасение и возможно возмездие. И этот путь подсказала Тэффи.

Сюжет можно соотносить и с чеховским «Волком», и с Полканом, и даже Конан-Дойлем — но только когда Иван Алексеевич прочел «Собаку» Тэффи, он понял: «Мое!»

Выше шла речь о насилии в «Темных аллеях». Бегство в экзотику или в легенду — единственная возможность не только уйти от грязи (Эдит Хэйбер точно сформулировала: «...дихотомия между повседневной жизнью <...> и сверхъестественным <...> добавляет определенное волнение и интерес к жизни, которая в противном случае была бы почти невыносимо тоскливой») — но и покарать зло. И осуществляется эта возможность вмешательством свыше. В этом отличие от, например, «Зойки и Валерии», где зло в принципе непобедимо.

Вера КАЛМЫКОВА

ПРИРУЧЕННЫЙ АВАНГАРД, ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ТОТАЛЬНОСТЬ ИСКУССТВА

Разговор о том, как был раз и навсегда приручен и безукоризненно выдрессирован *enfant terrible* мировой культуры — авангард, более других течений претендовавший на новизну и ниспровержение традиций, — начнем не с искусства, а... с реформ Петра I. С тех, что непосредственно регламентировали бытовое поведение. Все знают, что европеизация предписывала небывалые на Руси общественные и частные ритуалы и касалась человека вплотную — включая одежду, внешний вид, распорядок жизни и тому подобное. Правда, нововведения затрагивали тех, кто по рождению или занятиям находился на виду в светском обществе. Духовенство осталось при облачении. Средней руки купцы, мещане и крестьяне могли выбирать габитус по желанию. На практике, как только средний человек получал ну хоть какое-то образование, он оказывал предпочтение сюртуку перед кафтаном.

К чему это привело, понимают не только историки. Ранее единая культура России разветвилась на три русла: крестьянская, оставшаяся неизменной; церковная, испытывавшая, как ни сопротивлялась, воздействие светского реалистического искусства и вообще потихоньку *обмирщавшаяся* и дрейфовавшая от закрытой сакральности к понятности; наконец, дворянская культура. Через пару постпетровских поколений обнаружилась утрата взаимопонимания между сословиями: дворяне жаловались, что мужики их не понимают — слишком велико стало различие жизненных укладов и интересов. А деятели церкви с ужасом замечали, как увеличивается, расширяется секуляризация, однако поделать ничего не могли. Впереди как результат разобщенности замаячила большевистская революция.

В XIX веке разрыв с народом пытались преодолеть, как говорится, *сверху* — в царской семье: описаны многочисленные светские мероприятия, где представители правящего дома Романовых выступали в народных костюмах. Известны и попытки возродить национальный стиль в архитектуре, и первые шаги в реставрации древних отечественных памятников, предпринятые еще в царстве Николая I. Да и русская иконопись, впервые выставленная в Москве в 1913 году — с эффектом культурного взрыва, — тоже собиралась не одно десятилетие и не одной семьей — как говорится, задолго до того, как это стало *мейнстримом*.

Таков исторический контекст возникновения и деятельности с конца 1870-х Абрамцевского, или Мамонтовского, кружка, а в его недрах — мастерских для обучения кре-

Вера Владимировна Калмыкова родилась и живет в Москве, поэт, кандидат филологических наук, редактор, автор научных и научно-популярных книг и статей.

стьян и их детей народным искусствам и ремеслам. Это было дело жизни Елены Поленовой и Елизаветы Мамонтовой. Начало просветительское и трудовое — за Мамонтовой: еще в середине десятилетия она основала в Абрамцеве школу для простого народа, а затем и кустарные мастерские. Начало творческое — за Поленовой, разработавшей огромное количество эскизов мебели и посуды. Идея прозрачна: возродить народное искусство таким образом, чтобы оно вошло в каждый русский дом, стало частью обстановки, обихода любого человека, хоть крестьянина, хоть Рюриковича, и всех тех, кто между. Изделия должны были соединить — так и выходило — древние формы народного творчества с избирательной изысканностью модного в те годы ампира и бидермейера. Поленова, изучавшая мамонтовскую коллекцию народного художества, в эскизах какие-то элементы убирала, трансформировала или, напротив, акцентировала. Будучи к 1885 году, ко времени начала работы собственно художественных мастерских, признанным керамистом европейского уровня, а ранее учившаяся и за рубежом, и в России у знаменитого Павла Петровича Чистякова, Елена Дмитриевна обладала колоссальной профессиональной базой, помноженной на природный вкус и чувство формы.

Нельзя обойти вниманием Василия Поленова и Илью Репина, курировавших абрамцево-кудринский резной по дереву промысел. А в упомянутом Абрамцевском музее народного промысла хранились образцы для резчиков.

Предметы, выходявшие из здешней художественной мастерской, пользовались спросом, получали призы на международных выставках. За счет того, что изготовление было поставлено на поток, а мастерам платили достойно, но не сверх меры, изделия оказывались доступными. Правда, знатные семейства по преимуществу предпочитали, как и прежде, ампир, но интеллигенция и мещанство с радостью покупали красивые вещи в народном стиле. Даже ампирные особняки ими обставляли, как ни смешно...

Для сравнения: с начала 1860-х годов в английском Блумсбери работала фирма Уильяма Морриса «Искусства и ремесла», изготавливавшая предметы быта по возрожденным средневековым ручным технологиям. Здесь делали *всё для дома* — и посуду, и гобелены, и мебель, и что душа пожелает — хоть чернильницы и шкатулки, хоть витражи и фрески. Однако в Англии оплата ручного труда была очень высокой, и изделия получались баснословно дорогими, хотя Моррис стремился к широкому охвату населения. Но то, что удалось Мамонтовой и Поленовой, у него, увы, не вышло: «Искусства и ремесла» обслуживала богатых и насаждала художественный вкус в элите общества, и без того образованной и тяготевшей к прекрасному.

Деятельность Морриса породила феномен, в России и в Англии называющийся *модерном*, во Франции *ар-нуво*, в Германии *югендстилем*, в Австрии *сецессионом*. Идея внедрения высокого искусства в повседневную жизнь носилась в воздухе Европы, но вполне реализовали ее в России Мамонтовы, Поленовы, Репин. Если посмотреть, процесс получался противоположным тому, как шло дело у Морриса: получая в бытовое распоряжение произведения искусства, исполненные вручную по эскизам высококлассного художника, русский человек, к какому сословию ни принадлежал бы, культурно возвышался, как бы поднимался на ступеньку выше. А в целом модерн в России отличался от своего английского старшего брата именно важностью элементов народного художества. Не забудем, что средневековые европейские произведения искусства, к которым обращался Моррис с единомышленниками, имели отношение не к народной, а к аристократической культуре.

Третью линию, церковную, продукция абрамцевских мастерских также затрагивала. Всюду цитируются знаменитые слова Елизаветы Мамонтовой:

Наш уезд полон мелких кустарей, работающих на Троицкую лавру игрушки, ларцы и разные деревянные вещи. Мне давно хотелось посредством школы обновить это производство, главным образом вводя в него новые художественные образцы... Окончательная цель мастерской — подготовить мастеров-кустарей с более развитым вкусом, имеющих всегда под рукой Музей с готовыми художественными образцами и Мастерскую, готовую во всякое время дать помощь советом, так и в деле сбыта товара.

Итак, универсализм и тихая, еще не назвавшая себя *тотальность искусства*.

На один момент хочется обратить внимание — как воспитывался абрамцевский молодежь. Мальчиков и юношей обучали, разумеется, бесплатно. Сначала они овладевали навыками столярного ремесла. Потом наступал этап копирования предметов из музея. Только после этого ученикам разрешалось предложить нечто свое, но! — с обязательной разработкой *проекта* вещи.

Проектирование, как мы знаем, — первый шаг к дизайну. Завяжем на память узелок.

Была в Абрамцеве и учебная мастерская женских рукоделий, не настолько знаменитая, как столярная или гончарная. Диапазон гончарных изделий, кстати, был широк неимоверно — от чернолощеной керамики до авторских работ Михаила Врубеля. А вот о местных вышивальщицах мы знаем очень мало, даже фотографий, не говоря уже о подлинниках, сохранилось ничтожное количество.

Опыт абрамцевской мастерской был замечен и подхвачен во множестве мест. В Сергиевом Посаде в 1891 году появилась художественно-столярная учебная мастерская и столярно-мебельная артель. Здесь же начался промысел выжигания и росписи по дереву, успешно доживший до наших дней. В 1893–1903 годах в Семёновке Курской губернии действовала основанная коллекционером и искусствоведом Николаем Бартрамом учебно-столярная мастерская. Со временем Бартрам стал основателем первого в России музея игрушки. Позже собрание переехало в Сергиев Посад, символически воссоединившись с абрамцевскими изделиями.

Примером Мамонтовых—Поленовых вдохновлялась и Мария Тенишева при создании мастерских в Талашкине. Они начали действовать с 1893 года, художественным руководителем стал Сергей Малютин. Предметы, выполненные по его эскизам, также основаны на изучении традиционных русских мотивов — и совершенно не похожи на абрамцевские, что лишний раз доказывает жизнеспособность и творческий потенциал народного прототипа. Сама Тенишева буквально болела эмалью, восстанавливала старинные технологии, добивалась разнообразия цветов и оттенков. Свою коллекцию изделий, выполненных древнерусскими мастерами, она передала Смоленску уже в 1911 году — там собрание выставлено и поныне.

В 1900 году на Всемирной выставке в Париже деревянная мебель в русском стиле, выставленная в Кустарном павильоне, получила золотую медаль. На родине стали появляться «кустарные склады», в Москве тиражированной мебелью в русском стиле торговали на Поварской.

Тираж — одна из примет наступавшего XX века. Второй узелок на память.

Вспомнить, что ли, Ивана Билибина с его иллюстрациями к русским сказкам и к Пушкину?.. Начальная дата работы художника в этом направлении — 1899 год.

Итак, когда в конце 1890-х годов в Россию официально пришел модерн — а большой стиль, за немногими исключениями, начинается с архитектуры, — здесь уже все для этого было. Знатоки говорят о «поленовском модерне», «малютинском модерне». Список можно продолжать, нужно подчеркивать. Суть одна: русская разновидность стиля

выросла не только на общеевропейской почве; в огромной степени она была вскормлена народным искусством. А это означало, что красота как была естественным достоянием *широких народных масс* деревенских жителей, не оставлявших без цвета и резьбы ни ложку, ни плошку, так и осталась — разве что начала захватывать и городских. Идея *эстетики в массы* родилась вместе с народом, другое дело, что превратилась в концепцию в среде европейски образованных людей — ну так на то и образование.

Попытка объединения народа *в целое* поверх сословной стратификации произошла со стороны деятелей искусства и средствами искусства на основе слияния народной культуры с художественным языком русских европейцев. И оказалась попытка вполне удачной. Другое дело, что, как всё нереволюционное, была она рассчитана на длительное воздействие. Нам никогда не узнать, каким был бы наш художественный вкус — а значит, и мы сами, — не случись Первая мировая война и большевистская революция.

* * *

Невооруженным глазом видна, конечно, некоторая недостача в реестре видов народного творчества: а где же, а что же вышивка? Достаточно прижмуриться и вспомнить экспозицию самого захудалого краеведческого музея, а там в красном углу — полотенца с петухами, с родом и рожаницами, с кружевом и мережками. Неужели российские культуртрегеры обошли вниманием столь важную область?

Нет, не обошли. С 1900 года (эту дату не так давно установили исследователи, раньше назывался 1912-й) в селе Вербовка (Вёрбовка, Вербівка) Чигиринского уезда Киевской губернии, принадлежавшем помещице Наталье Давыдовой, действовала кустарная артель декоративного-прикладного искусства. До 1915 года в Вербовке вышивали орнаментальные предметы преимущественно с цветочными мотивами. Сама Давыдова была очень одаренной художницей, жаль, что время ее работы не пощадило, унесло. В вербовской артели все развивалось по абрамцевскому сценарию: народные мастера сотрудничали с профессиональными художниками, традиционные мотивы развивались, трансформировались, а крестьянская вышивка обогащалась привнесенными извне образами.

В один прекрасный день цветочные мотивы ушли в прошлое. Вот как это случилось.

...Все активнее и постояннее в образованном русском обществе звучало требование новизны: ее буквально жаждали любители искусства, те, кто жил культурой и в культуре. Модерн, триумфально реализовавшийся не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных городах, за десять лет вдруг... устарел. Ближе к концу 1910-х начался поиск еще более новых форм выразительности. 1910 год — появление русского авангарда: в поэзии — сборник «Садок судей» (братья Бурлюки, Елена Гуро, Василий Каменский, Велимир Хлебников и др.), в живописи — выставка «Бубновый валет», открывшаяся в конце года. Далее покатилось: кубофутуризм (кубизм, футуризм), лучизм, орфизм, абстракционизм, аналитическое искусство, конструктивизм...

Середина 1910-х в живописи — торжество авангарда. В обществе все так быстро менялось, что никого уже не удивляло, когда на авансцену вышли женщины-художники. Их ныне принято называть *амазонками* авангарда: Наталия Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова, Александра Экстер. Неучтенной — а может, неприсоединившейся — амазонкой можно назвать Веру Пестель.

Самое позднее течение — супрематизм, возникший в 1915 году. Его основатель Казимир Малевич стремительно осваивал все, что существовало в искусстве на тот мо-

мент, от классики до модернизма и кубизма. Еще в 1913 году, работая над оформлением спектакля «Победа над солнцем», он нашел образ черного квадрата: «<...> завеса 1-го действия, завеса изображает черный квадрат зародыш всех возможностей принимает при своем развитии страшную силу, он является родоначальником куба и шара, его распадаения несут удивительную культуру в живописи <...>» (пунктуация авторская).

А в 1915-м появилась знаменитая картина «Черный квадрат» и родилась идея супрематизма.

Сопоставим даты. 1913-й — первая общедоступная выставка иконописи в России. Художники увидели, до каких высот колорита доходили отечественные иконописцы.

1915-й — супрематизм: концепция преобладания цвета в живописи над всем остальным (художественной идеей, системой образов, композицией, сюжетом и др.).

Впервые «Черный квадрат» был показан публике в конце 1915 года в петербургском «Художественном бюро Н. Е. Добычиной». Надежда Добычина была первым в России профессиональным галеристом. Свое художественное бюро она основала еще в 1911 году, и цели у нее были самые понятные — просветительская деятельность и продвижение художников на рынке. Причем рынок понимался весьма широко, от сотрудничества с музеями Добычина не думала отказываться. Бюро располагалось сначала в здании «Русского для внешней торговли банка» (набережная реки Мойки, 63), затем с ноября 1914 года в Доме Адамини на углу набережной реки Мойки и Марсова поля. Здесь работала студия Мейерхольда. Выставлялись члены объединения «Мир искусства». Затем состоялись «Выставка левых течений в искусстве», «Последняя футуристическая выставка картин 0,10» (именно там Малевич впервые показал «Черный квадрат»).

Позже Малевич написал о названии «супрематизм» и о приоритете цвета:

Живописной культуру возможно считать тогда, когда она является сама содержанием. Последнее начало выдвинуто Новым Искусством, в котором встречаем не идею чего-либо, но саму идею живописи, само содержание живописного начала. Сама идея живописного действия прежде всего беспредметна, движение ее неудержимо направлялось к самостоятельному независимому действию, свободно от всяких явлений всей предметной практической организации. Она стремилась к своей истине, отходя от всякой мысли быть приложимой или быть средством выражения другой истины предметного практического общежития. Окончательное ее развитие — в форме Супрематической беспредметности, в чем и усматриваю не только истину живописной сущности, но всего практического реализма общежития.

Однако, несмотря на этот вывод, из которого возможно сделать заключение, что Супрематизм — живописное искусство, я должен остановиться на относительно подробном анализе: возможно ли считать Супрематизм живописью?

Условия живописи говорят, что моменты живописного возникновения зависят от конструирования цветовых различий в одну единицу, т.е. где мы получаем взаимное протекание всех различий в единой массе. Исходя из этого условия, видно, что Супрематизм не отвечает им, цветное его построение вовсе не образует собой живописного конструктивного цветосмешения. Дальше в развитии Супрематизма исчезает и цвет, наступает черный или белый период, установленный формами квадратов цветного красного, черного и белого.

Соответственно, и «Черный квадрат» — не только *начало*, но и *конец* живописи.

Наступала новая эпоха в искусстве: живописное изображение не есть живопись. А что же оно?

Прежде всего *знак* — обозначение хода статических и динамических процессов, происходящих в мире. Третий узелок.

С XVII века сложилась иерархия: высшая ступень — живописная картина, самостоятельный образ мира. К XIX веку она стала фетишем, предметом коллекционирования, символом высокого общественного статуса ценителя-владельца. Стилистика картин была, разумеется, реалистической или хотя бы жизнеподобной, даже если это — к началу XX столетия — произведения модернистов. Правда, на художественном рынке появились работы Василия Кандинского и других членов группы «Синий всадник», тяготевшей к абстракции. Супрематизм Малевича и абстракционизм Кандинского — два подхода к беспредметному: и там и там цвет передает состояние мира, изображение выходит к миру напрямую, без посредства форм, вызывающих ассоциации с повседневностью, связывающих «действительность» и «искусство».

Но при этом в наши дни многие ученые сближают супрематизм и иконопись, говоря, что он не возник бы без иконы. Сравнение цветовых и композиционных решений позволяют даже предположить конкретные источники той или иной картины крайних авангардистов. Если принять такую ретроспективу как данность, то идея *конца живописи* оказывается не вполне жизнеспособной.

...Когда и где владелица Вербовки Наталья Давыдова увидела работы авангардистов, сказать сейчас сложно. Наверное, в Петербурге, где ж еще, недаром ее близкой подругой была художница Александра Экстер. А может, и в Киеве. Сразу же успевшим прославиться мастерам авангарда были заказаны эскизы вышивок. Их сделали Иван Клюн, Вера Пестель, Любовь Попова, Иван Пуни, Ксения Пуни-Богуславская, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, та же Экстер, Георгий Якулов и др. Всё имена громкие-звонкие. Исполнение, как говорится, народное.

Артель называлась «Современное декоративное искусство юга России». Первая выставка открылась в Москве уже в конце ноября 1915 года. Вышел каталог. Искусствовед и художник Мария Каминская считает, что именно этой экспозиции, а вовсе не «0,10» принадлежит пальма первенства в деле пропаганды супрематизма. Крыть нечем — Давыдова действительно опередила Добычину на месяц-полтора. А рядом с эскизами вышивок и готовыми изделиями красовались три геометрические графические работы Малевича. Хотя и не «Черный квадрат». Спустя пару лет артель показала вторую выставку из 400 супрематических вышивок. Переплеты для книг, закладки, подушки, ленты в придачу ко всему прочему — ассортимент расширялся, авангард приручался, *беспредметное* искусство подчинялось *предметной* среде, превращаясь в *орнамент*.

Если *коллективное действие* абрамцевских или талашкинских идеологов исторически выглядит логичным — в конце концов, от народного искусства к профессиональному полшага, — то идея Давыдовой, пусть и с подачи Экстер, сногшибательна: перенести самое новое, передовое, революционное в изобразительном искусстве... в область вышивки. Вышивки! Которой занимались и бабы, и дамы, и девочки, и старушки. Традиционной, всеобщей — тотальной! Проект Давыдовой парадоксален: идею торжества цветовой массы и *беспредметной*, то есть освобожденной от подчиненности предмету, формы мастерицы с подачи художников реализовывали в декоративно-прикладном искусстве, причем в *предметах*, имеющих самое что ни на есть утилитарное назначение: дамская сумочка — кашне — галстук — зонтик и прочая. *Обопритесь на абстракцию Клюда, мадам, вам будет уютнее скоротать вечерок...* Самое отвлеченное воплощалось в «Вербовке» в самом что ни на есть конкретном — бытовом.

Артели не суждена была долгая жизнь: после 1917 года какие сумочки. Некоторые эскизы остались в российских музеях, и по ним да по сохранившимся фотограfi-

ям в наши дни мастерицы из проекта «Вербовка-100» под руководством Марии Каминской воссоздали множество предметов. Передвижная выставка новой Вербовки кочует по России.

Так что, разглядывая агитационный фарфор, выполненный по эскизам Натана Альтмана, Кузьмы Петрова-Водкина, Сергея Чехонина и других, помянем Вербовку — она была первой. Фарфор, кстати говоря, тоже вовсе не обязательно радует глаз на стенах комнат: чаще из него едят.

Та же близость искусства и утилитарности. Та же эстетика в массы.

* * *

В 1918 году русский авангард, тьфу, молодое советское искусство победившего социализма смело шагнуло на улицы.

К первой годовщине Октября голодные и грязные Москва и Петербург украсились стационарными и передвижными полотнами, на которых абстрактные идеи революционного гуманизма воплотились в конкретных образах. Футуристы и лучисты раскрашивали клеевыми красками громадные отрезки материи. Беспредметные композиции соседствовали с узнаваемыми изображениями рабочих и крестьян. Во взгляде знаменитого «Хозяина земли» Сергея Герасимова чудится некоторая оторопь, если не прямой испуг... Но всем верилось, что новое общество будет самым настоящим, самым правильным.

Кто-нибудь замечал, что десятиметровые полотнища красных флагов, развешанные по сторонам улицы и рвущиеся на ветру, есть самая настоящая супрематическая композиция?..

А потом в годы Гражданской по фронтам поехали раскрашенные всеми цветами радуги агитпоезда...

А Давид Бурлюк со товарищи-футуристы мотался по стране с поэтическим турне, не пугаясь ни красных, ни белых...

А в промерзшем насквозь знаменитом петроградском *ДИСКе* (Доме искусств) *об-диск* (обитатель ДИСКА) формалист Виктор Шкловский, обогреваясь найденными в окрестностях банковскими документами, создавал новую теорию литературы...

А Всеволод Мейерхольд разрабатывал новую театральную систему, мечтая снять *четвертую стену* и выпустить представление в мир...

А создатели бумажной архитектуры и несостоявшихся городских проектов мечтали об огромных зданиях, способных вместить сотни тысяч людей...

При жизни Мейерхольда и после его гибели грандиозные спортивные представления и городские праздники по-своему заменяли всеохватный театр, о котором мечтались в 1920-е годы.

* * *

С начала 1930-х СССР стал *страной победившего соцреализма*. Изобразительный язык изменился: при канонизированной реалистичности как максимум допускалась импрессионистическая пастозность, но не более того. Условность во всех видах искусства была категорически отменена: неоднозначное пугало, казалось враждебным. Постепенно сгинули или ушли в подполье всяческие формалисты. Всё это не расширило, а предельно сузило рамки искусства, хотя государство, казалось, готово было щедро платить за поддержку со стороны художников. Нужен был только человек в его иде-

альном качестве. Чему способствовал кинематограф — но не так-то много лент выходило из отечественных киностудий. Их смотрели по пять, десять раз.

Единственное исключение составляли мозаики. Сначала в московском метро, а затем и по фасадам зданий общественного или производственного назначения стали появляться крупные композиции, носившие все же не конкретный, а символически обобщающий характер: здесь раскрывалась тема революции, тема героического труда, позже — военная, еще позже — космическая.

Однако на Западе не дремали последователи русского формализма. Один из членов ОПОЯза («Общество изучения поэтического языка» или «Общество изучения теории поэтического языка»), Роман Jakobson предпочел мытарствам на родине карьере европейского и американского ученого. Не внутренняя эмиграция, не травля, не публичное покаяние и отказ от своих взглядов — ему предстояло в собственной голове вывести за границу открытия формальной школы и стать основоположником новых гуманитарных наук, прежде всего структурализма и психолингвистики. Семиотика, изучающая знаковые системы, сформировалась в Европе параллельно, однако во многом обогащалась структурализмом — взаимно, кстати говоря.

Открытие природы и возможностей знака и способности знаков создавать системы дало новое дыхание *рекламе*. Не сказать, чтобы процесс шел совершенно с нуля: издавна хлебники вешали на дверях лавок нарисованные на листе металла калачи и булки, мясники помещали туда же кабаньи или бычьи головы, трактирщики и рестораторы обозначали ранг своих заведений разными цветами и т. д. Это были *знаки*, но зачастую не условные, а жизнеподобные, очень конкретные. И реклама первой половины XX века носила реалистический характер. Однако с какого-то момента шла-пошла о том, чтобы некий изысканный росчерк обозначал бы, например, производителя холодильников или шин для большегрузов, а потребитель, декодируя знак, идентифицировал бы фирму-производителя и покупал ее продукцию.

В СССР на новшество поначалу смотрели, разумеется, косо, однако со временем возобладало желание *догнать и перегнать*, в грязь лицом не ударив. И в 1954 году при Комбинате графических искусств Московского Союза художников возникла Мастерская прикладной графики, быстро превратившаяся в структурное подразделение «Промышленная графика». «Промграфика» занималась разработкой того, что мы ныне называем фирменным стилем.

А в мае 1962 года Совет Министров СССР выпустил постановление «О товарных знаках»:

В целях повышения ответственности предприятий за качество выпускаемой ими продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления Совет Министров Союза ССР

постановляет:

1. Обязать государственные, кооперативные и общественные предприятия и организации помещать на выпускаемых ими изделиях или их упаковке товарные знаки, зарегистрированные в Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, а также производить маркировку изделий, предусмотренную ГОСТами, техническими условиями, договорами и Особыми условиями поставки.

В том же году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики (ВНИИТЭ) — настоящий рассадник узаконенного формализма, ибо что такое товарный знак, как не предельно условная форма, обозначающая суть? Филиалы ВНИИТЭ распочковались по всей стране. Здесь работали не художники-офор-

мители, а художники-конструкторы. Они имели полное право знакомиться с западными новинками в области визуальных искусств и конструировали всё: машины, приборы, устройства, станки, шрифты, одежду... результаты их трудов публиковались и служили очевидным ударом воскресшего модернизма и первого авангарда по соцреализму. Правда, разрешенную стилистику живописи с товарными знаками никому не приходило в голову сравнивать.

И разумеется, никаких буржуазных словечек, никаких трендов-брендов, в лучшем случае *направление*, если совсем деваться некуда — *тенденция*.

В 50—60-е годы к самостоятельной художественной деятельности приступили два новых поколения. Первое состояло из вчерашних фронтовиков, уцелевших в сражениях и окончивших вузы. Второе — не ушибленное революцией и борьбой с формализмом и не побитое войной. Рожденные в середине—конце 20-х, эти люди по возрасту избежали призыва на фронт Великой Отечественной, хотя сполна хлебнули голода и лишений в эвакуации. И те и другие получили качественное профессиональное образование, подразумевавшее владение многими профессиональными приемами. Запрещенное в те годы искусство 1910—1920-х годов они узнавали из-под полы, по черно-белым репродукциям в немногих книжках или случайно обнаруженным до-революционным публикациям. Михаил Шемякин, например, всеми правдами и неправдами проникал в библиотечные спецхраны. Некоторые художники после вуза занялись свободным поиском собственного стиля, не очень рассчитывая на выставочную деятельность в родной стране (интерес западных коллекционеров к их творчеству — самостоятельная тема, касаться ее не станем). Так родился *второй русский авангард*.

Кушать, однако, хотелось всем: и верноподанным, и склонным к протесту, и тихим новаторам. А поскольку эра была докомпьютерная, то многие, решив не уходить в дворники и сторожи, занялись художественным оформлением (ругательное в СССР слово «дизайн» начало входить в лексикон лишь к концу 1980-х стараниями Евгения Розенблюма, основавшего еще в 1964 году на базе Дома художников «Сенеж» первую школу для отечественных дизайнеров).

Среди тех, кто начиная с 1960-х создавал стиль отечественной промграфики, был Михаил Шварцман, один из лидеров второго авангарда. Надо сказать, что промышленные знаки заронили в нем некое зерно, проросшее в художественно-философскую систему «Иератизм». Успешная карьера *промграфика* (читай — дизайнера) и мозаичиста могла лишь отвлечь, но не отвратить художника от основного дела жизни. Иературы Шварцмана по существу своему тоже знаки, возникшие не без духовной основы: еще в студенчестве он открыл для себя византийское и древнерусское искусство, а затем французских модернистов; в зрелом возрасте принял христианство. Используя опыт супрематизма и абстракционизма, он разработал знаковую систему духовных состояний, беспредметных символов различных явлений. Иературы Шварцмана, конечно, для людей образованных, они элитарны. Его же товарные знаки — для всех и каждого. Но товарные знаки он проектировал — вместе с группой молодых соратников — на основе своей иератической системы.

Тотальный товарный знак, воздействующий на всякого (ибо любой нуждается в том или ином продукте) и, казалось бы, идущий от рыночной, а не духовной составляющей, в отечественной культуре оказался так же вызван к жизни внешним большим смыслом, как абрамцевская продукция — народным духом или супрематизм — эстетикой иконы.

...Марьяна Медник, почти двадцать лет оформлявшая духи на фабрике «Новая заря», выйдя на пенсию, стала автором уникальных серий живописных миниатюр, отчасти напоминающих Елизавету Бём.

...Лев Саксонов, еще один художник-философ, создавший новую систему взаимодействия художника и текста, был одним из лучших шрифтовиков «Промграфики».

...Самое интересное, конечно, — выявлять связи и выстраивать линии. Путь от абрамцевского кружка к товарному знаку извилист, однако вполне внятен: идея искусства, торжествующего во всех сферах жизни, владела несколькими поколениями отечественных мастеров. Развяжем наши узелки. *Проектирование* как интеллектуальная работа в искусстве; *тираж* как средство донести результат до широчайшего круга зрителей (ибо потребитель прежде всего смотрит на обозначение продукта); наконец, *знак* как ориентир в мире, разнообразие которого порой захлестывает, — всё это черты современного языка культуры, внятного и *многим*, и *немногим*.

Иногда кажется, что в современном дизайне связь с искусством прервалась, но, возможно, она лишь трансформировалась. В любом случае народное и профессиональное, элитарное и массовое — вовсе не такие непримиримые антагонисты, как кажется. Поиск художественности тотальной, для всех, продолжается; главное, конечно, — не отказываться от *искусства*.

НА ТАГАНКЕ

В апреле 2024 года Театру на Таганке¹ исполнилось 60 лет.

Сегодня читателю предлагается литературная зарисовка по мотивам эпизодов жизни театра в 1982 году. Театр помнил о своем новом имени. Тогда Таганка отмечала свои 18 лет. Юность! Театр любят, обожают, его кураж жив, несмотря на потери, билеты на спектакли по-прежнему трудно достать. Для именитых гостей и друзей Таганки попасть в легендарный кабинет главного режиссера и расписаться на белых стенах — это дело чести и престижа. Многие бури и сражения, потери, поиски и находки как в судьбе самого создателя театра, так и его труппы еще впереди. А 1982 год — это вполне мирное течение жизни Таганки.

Конечно, не обо всех спектаклях того периода упоминается в данных коротких записках. Перед вами не документальная история, не исследование театроведа. Скорее — это взгляд пристрастного зрителя тех лет. Здесь возможны шутка и легкая игра неприхотливой фантазии. Нет необходимости в конкретных именах известных актеров, режиссеров, художников и др. Порой всем нам важен сам факт присутствия театра (его эмоций, художественных смыслов и, конечно же, его создателей, работников, зрителей) в нашей жизни.

Все дальше и дальше уносятся от нас те юношеские годы Таганки, а им навстречу из-за горизонта медленно наплывают белые причудливые облака легенды.

Глава 1. Приближение

Москва. Станция метро «Таганская», кольцевая. Еще внизу, на платформе, попадают странные люди с загадочным блеском в глазах. Они мягко, осторожно подходят к вам и тихонько вопрошают: «Билетика не будет?» Это подвижники. Приверженцы идеи, жрецы искусства. Чаще всего — студенты.

Но вот и эскалатор, и вы плывете вверх. Вы отрываетесь от жаждущих заполучить билет. Но быстрее вас летят те, что вопрошают. Они обгоняют все и вся в этот вечер. Их смысл бытия предreshен сегодня ответом на вопрос: «Лишнего нет?» «Исход», «удача», «цель», «проигрыш», «победа», «рок», «случай», «озарение» и т. д. — вот метафизические категории, которыми они бредят в этот вечер. Наш очаровательный круглый мир вдруг превратился для них в спортивное копье, острый конец которого впирается в афишу театра. Или в сердце избранного бедного актера (актрисы). Все остальное — прах, ноль, тлен. И нет бога, кроме златокудрого Аполлона.

Вячеслав Свешников окончил физико-математический факультет пединститута, Литературный институт им. А. М. Горького. Более тридцати лет был сотрудником редакционно-издательского отдела ИМЛИ РАН. Публиковался в книге «Чеховские чтения в Ялте. Чехов и XX век» (М., 1997), «Московском журнале», «Звезде». Живет и работает в Москве.

¹ Основан в 1946 году как Московский театр драмы и комедии. Преобразован в Театр на Таганке в 1964 году Юрием Любимовым.

Эскалатор внезапно уходит из-под ног, и вы на твердой палубе родной земли. Но прежде чем выйти через тяжелые деревянные со стеклами двери, с усилием поворачивающиеся на бронзовых петлях, вы натываетесь взглядом и мыслью на длинный белый свиток, приклеенный к стене, — список желающих: «простолюдинов», скромных претендентов, любителей, знатоков, провинциалов, «коренных», залетных... — всех, кто имеет дерзость желать переступить порог театра и оказаться в труднодоступных стенах «храма». Шаг в сторону, чтобы не мешать людям, выходящим сейчас из метро.

— Записаться изволите?

— Ваш порядковый номер 1768-й. Приезжайте через недельку взглянуть, как продвинулись.

— Не хотите уезжать? Правильно. Не опустим на самотек. Солидарен. С ночевочкой... контроль железный...

Ах, читатель знает как эта жизнь и тем паче искусство любят это роковое, неотвратимое, неподкупное, неподвластное родственным чувствам и стальным связям слово — жертва.

Глава 2. У парадного входа и вокруг...

«Оставь надежду...» «Здесь нужно, чтоб душа была тверда», — неумолимо произнес бы уроженец Флоренции, увидев эти концентрические кольца проголодавшихся людей с иступленными глазами и охрипшими от простуды голосами — всех, окруживших главный и служебный вход театра. Это еще не круги ада или рая, но все же поэт был бы здесь не далек от истины.

— Нет, случайно, лишнего билетика?

— Если будет — мне, пожалуйста; я вас первая заметила еще у метро, потому что у вас шапочка с кисточкой!

Здесь все в азарте ожидания удачи и борьбы за нее: чудно-зеленые провинциалки, школьники, театроманы, солидные люди и не очень; худые и полные; черноволосые и блондины; научно-технические работники и простые служащие, студенты...

Вот медленно кружит в этой пестрой толпе алчущих худощавый юноша с рассеянным взглядом, с лицом и прической средневекового инока. Он протискивается вперед, трется у самых дверей, отодвигается к окнам, заговаривая с кем попало об актерах, об их ролях, о том что, где, когда снимается и ставится, совместно с кем и зачем, и когда выйдет, и стоит ли смотреть, и прочее. Он уже был несколько раз в этом театре, куда так рвется эта пылкая духом толпа. И сейчас на правах «старожила», на правах «друга театра», «сына труппы», воспитанника этих стен и, так сказать, завсегдатая он может с вами поделиться о том, какие актеры сегодня заняты в спектакле (он добросовестно выучил наизусть программу, купленную у бабули месяц назад здесь, у входа), кто играет лучше, кто из рук вон плохо и почему и как следует жить актеру на сцене дальше и т. д. Кто он? Тайный поклонник всех муз? Фанат с соседней улицы? Он в центре внимания то одной группы, то другой. К нему тянутся. Он одет весьма сдержанно, кое-где даже жертвенно. Неизгладимо, как стиральная доска, помятая нейлоновая куртка, на которой, несмотря на осень, нет, кажется, ни крючка, ни пуговицы, ни замка. Виднеющаяся рубашка застегнута в силу невнимания к мелочам мира и в силу глубины идей, потрясающих его, через пуговицу. Брюки ходят ходуном вокруг тощих коленок. И неясно, почему октябрьский весьма строгий ветер до сих пор не подхватил и не унес за собой за черту города его легкую, как дух, фигуру. Все деньги матери он спускает на книги о театре и кино, и оттого, наверное, тело его худосочно,

а лицо так бледно. Но кто бы он ни был, он должен просветить толпу слабых дилетантов. И вот снова и снова обращает свою речь к страждущим, никого не одаривая персональным взглядом — это было бы слишком расточительно.

На служебный вход на противоположной стороне театра жалко взглянуть. Не успеют «Жигули»² с актером (актрисой) подрулить к площадке, как тут же машина оказывается в руках «почитателей талантов» и почти висит в воздухе с вращающимися еще по инерции колесами. Испуганный актер (актриса) выключает и включает зажигание по нескольку раз, вместо того чтобы сделать это один-единственный. Он (она) хватается с заднего сиденья толстый блокнот с автографами, приготовленный заранее, и, забрав в легкие побольше воздуха, отважно выбрасывается вон из кабины. И попадает в жаркие объятия неукротимой, затомившейся в неизвестности толпы поклонников.

Глава 3. Прорвемся к кассе

— Давно стоите?
— С пяти утра...
— Гм, как... гм.... к-хе!
— Товарищ кассир, взгляните на меня, вам не звонил Никифор Иванович ... на пару билетиков?

— Как «нет мест»?! Я буду жаловаться! Стою здесь тринадцатый час, понимаете ли... видите ли ... слышите ли ... знаете ли...

— М-м... вот записочка, пожалуйста, это от Марьи Алексевны, пожалуйста, прочтите...
— Кхе-с, гражданин кассир, я приезжий... из Мичуринска, а вы москвичи, народ здешний... А я издалека, а вам рядом... Могли бы по такому случаю билетик... какой-никакой, пускай неудобный... Я из Мичуринска, а вы в Москве...

— Ну и что, что в Москве! Я вот сорок лет прописана под боком, в первый раз пришла и не могу попасть. Да что это такое творится! И-и-и! Своим, кровным!.. А каким-то лимитчикам несчастным, проходимцам, авантюристам, крохоборам!

— Гражданочка, не оскорбляйте! Попрошу!..
— Успеем-не успеем, не успеем-успеем... — чирикают две студенточки в очках в модной французской оправе, гадая и на пальчиках подсчитывая количество согбленных спин впереди себя.

— Товарищи, обед. Перерыв, — объявляет потный кассир, появившись на мгновение в окошечке.

— Как обед?! — тоскливо ахает спиралевидная, обманутая в лучших чаяниях очередь. — Какой обед, мы даже не ужинали!

Глава 4. Гардероб

Ты вошел. Как в макрокосм — в сферы иные. Здесь воздух другой. Здесь царство равных и вольных счастливыхцев.

Мы замечаем юную женщину в фойе — меж ярких, слепящих зеркальных миражей... Тонкий восточный стан ее нежно повествует о любви, ах, и только о ней, и все о ней, злодейке («Все цветы для тебя в этом мире цветут...»). Она явилась. Свидание... Она расчесывает локоны. Она улыбается победно, лукаво. «Он мой сегодня». Она столько дней (или ночей) мечтала о нем, столько слышала «загадочного», лучше сказать, «дефицитного» от подруг... Он был недоступен. И вот — назначенная встреча. Она вол-

² Ах, господи, это же 1982 год, доисторические, прямо скажем, времена...

нуется, локоны не слушаются расчески, пальцы похолодели, щеки бледны, глаза блещут... Куда уж деться: сердце бьется. Что-то будет... «Ой, только б не разлюбить!..»

И она рассеяннo протягивает свою шубку в гардероб.

Остается поверить, что ее возлюбленный сегодня — освещенный тысячами «свеч», оживленный сотнями свежих голосов, волнуемый нетерпеливыми и ненапряжными ожиданиями — театр.

— Ой, добра шубка и дорогая... — чуть слышно бормочет гардеробщица, румяная, очень бодрая бабушка Лиза, быстро принимая одежду из холодных рук женщины.

— А этот-то шпингалет в заношенной куртке, из студентов, тоже в люди..., по театрам шмыгает; деньги бы лучше зарабатывать, — она ворчит на молодого человека для профилактики, ибо сама денег почти никогда не видела. Все, что зарабатывала, отдавала внукам и внучкам. Жила на пенсию. На хорошем месте, на людях работает и довольна. Театр она любила с юности. Сейчас радовалась своему месту в гардеробе: приятно видеть каждый раз столько новых лиц.

Руки протягивают к ней шапки, шляпы; руки молоденькие, нетерпеливые, в кольцах, с лакированными ногтями или браслетом... Гладкие, безвольные, но чаще — энергичные и уверенные. Иногда она невольно, в силу служебной необходимости касалась кожи этих рук. Такое было общение. Молчаливое, как правило. Хотя, конечно, слышались рассеянные, мимолетные «спасибо». Но ей довольно. Общение состоялось. Мимо нее они не могли пройти, разве что летом, но лето быстро проходит. Да летом и театр подолгу в отпусках или на гастролях.

Ей нравилось принимать плащи, пальто осеннее драповое, пальто зимнее с меховым воротником, а лучше — весеннее яркое, как лужайка. Шубы в затейливых вышитых узорах, шапки генералов и невесомые шляпы дам... Со всем этим вместе забирался воздух с улицы — холодной, завьюженной в феврале или прогретой в мае, промокшей в октябре или пропахшей талой водой в марте... Капли дождя, снег на плечах, шапках; солнце, ветерок, даже, казалось, клочок тумана — все это заходило к ней в гардеробную. Она оживала, поворачивалась все быстрее — к гремящим пластмассовым номерам, к холодным или теплым рукам, обратно — к крючкам и номеркам и снова к ждущим рукам. Конечно, немножко задыхается, но зато и скучать некогда. Сама давненько уже полюбила этот необычный блеск освещенных зеркал, людской гомон и затаившуюся до поры там, за занавесом, сцену...

С удовольствием подмечала, как обновляется человек, скинувший пальто. Ее, как в молодости, слегка кружил этот вечерний карнавал-маскарад платьев, мод, духов, причесок, лиц, улыбок, смеха — все то, что она в минуты передышек теперь наблюдает в фойе театра. Волнение опаздывающих к началу спектакля она всегда умела ласково погасить. И вновь — звон прозрачных пластмассовых номерков, щелканье замков у сумочек, перчатки, оброненное зеркальце... «Слава богу, все хорошо, дай бог здоровья».

Жили и голоса. Ее партия обычно была незатейлива:

- Возьмите ваш номерок...
- Гражданин, вы же забыли снять шарф...
- Ну что вы, без бинокля никак нельзя: у вас же балкон, и вы сегодня без очков...
- Вы хотите портфель? Одну минутку...
- Не волнуйтесь, это еще первый звонок.
- Буфет направо...
- Это вниз, налево...
- Да, это премьеры.
- Прекрасный спектакль, увидите всех звезд...

- Это мне? Ах, спасибо!
- Да, да, я вас помню, как ваша девочка?
- А вы в прошлый раз были в бежевом костюме, я вас сразу узнала.
- Товарищи, больше номерков нет, пожалуйста — рядом.

Глава 5. В зрительском буфете

Нельзя же, в самом деле, пройти мимо самого сладкого (вкусного) места. Попутно, на бегу заметим, что в театре, конечно, два буфета — зрительский и служебный. Мы пока перекусим в первом. Избранные посетители искренне и стойко убеждены, что единственное приличное место, где неплохо расслабиться вблизи, так сказать, Мельпомены и в порядочном обществе — это театральный буфет. Не будем оспаривать это искрометное замечание. Оно имеет силу. Именно здесь молодые пары не обращают порой никакого внимания на сдачу. И только здесь девушки с такой музыкальной грацией кусают зубками дорогой импортный ореховый шоколад, небрежно-мило рассказывая или выслушивая при этом очередную легенду о любимом актере. Только здесь «птичье молоко» — повседневное явление. Женщины пьют, естественно, шампанское или кофе. Настоящие мужчины предпочитают коньяк и еще кое-что, закусывая бутербродами с черной икрой или на худой конец — с красной рыбой. Здесь на стойке буфета порой вырастает огромно-круглый русский самовар. В силу требований века — почти электронный. О, только здесь вы не найдете ничего дешевого. И только здесь вы не скучаете в очереди и только в эти минуты буфетчица для вас — почти любимая актриса.

Что греха таить, кое-кто из поклонников театра, кино и живописи всерьез и надолго увлекся в сегодняшний вечер буфетом и справедливо не обращает никакого внимания на первое действие начавшегося спектакля. Действительно, что может сравниться с бархатно-черной икрой (до отказа набитой белками и витаминами С, D, B, E ...), запиваемой изумительным чешским пивом. Что может быть приятнее этой томной тиши слабо освещенного, опустевшего буфета вдали от суеты мирских забот и дел семейных. Можно, наконец, вольно откинуться на спинку буфетного деревянного креслица, вытянуть ноги и с приятелем вслух предаться мыслям «о Шиллере, о славе, о любви», об искусстве, так сказать, в целом...

Глава 6. Администратор

Но представим, что до третьего звонка остается еще целых десять минут. И часть будущих зрителей еще звенит монетой³ в буфете, а часть прогуливаются в фойе, с удовольствием рассматривая роскошные фотографии своих кумиров. Погуляем и мы...

Но не успеваем мы сделать пять-шесть степенных шагов по мраморным плитам фойе, как нас чуть не сбивает с ног темным вихрем промчавшееся мимо человекоидение... Ах! Что это?!

Не беспокойтесь и поднимите свой платок. Это же администратор. Ответственная должность. Для нее не в шутку надо родиться. Иметь приличное воспитание и солидное образование. Или не иметь ни того, ни другого. Неплохо запастись добротной физической закалкой. И — благоприятной, располагающей к себе внешностью. Иначе горе администратору. И друзьям его. Бывают дни, когда в творческом угаре он весь день, не выходя из кабинета с тремя черными телефонами, забыв про обед и скинув клетчатый пиджак, исписывает листы за листами вежливых, учтивых, страстных,

³ Эра банковских карт и Google Pay еще впереди.

«нежных» административно-личных записок к администраторам-собратьям других театров. А также записок-разрешений-приглашений-пропусков на посещение спектакля в нашем театре многолюдным родственникам, высокопоставленным друзьям-приятелям и очаровательным в своем неведении административных тонкостей дела представительницам изумительного пола. Тети, бабуси-лапушки, тести, тещи, двоюродные, племянницы, внуки бабушки Оли, внучки дедушки Васи, подружки дяди, невестки и пр., пр. Их довольно. Их имя, так сказать, легион. И тьма, и тьма... Администратор один. Он еще молод. Ему хочется жить и работать в театре.

Другой день его заполнен иным. Бег вхолостую. Тренировка. До обеда. Но после обеда он бегает по назначению. От служебного входа к парадному. Через (сквозь) многочисленные извивающиеся пожарной трубой коридоры, труднопроходимые лестницы, переходы, едва заметные лесенки, щели, каналы, фойе, буфеты, кулисы... — и обратно. И вокруг театра. Без шапки, будучи взволнованным... Он принимает всех приглашенных. Он сияет, он растроган. Он счастлив их наконец-то видеть. О-о-о... Проходите! Нет, сюда, вот ваше место. А вам — здесь. Неудобно?! Минуточку! В это кресло, пожалуйста. Может быть, на балкон? Бельэтаж? Что вы! Хотите программку? Вино какой страны вы предпочитаете на ужин?

И он мчится вдаль. Галстук сбит, пиджак расстегнут и вьется на спине, лоб пылает, волосы летят в противоположную сторону, в глазах — наслаждение битвой жизни.

Он знает всех. Его знают все и вся. Слава актера, пьесы, режиссера — да, конечно, это украшение театра, видимое издалека. Но актеры приходят и уходят «толпой угрюмою». Слава имеет свойство рассеиваться, как дым от «Мальборо». Пьесы могут отменяться. Режиссеры орлами парят над Олимпом. Администратор же здесь, на грешной земле, в толпе людской. У него обширное море обязанностей. И мы вправе отдать должное его преданности театру и любви к зрителю. К тому же не будь его вдохновенных усилий — сколь многим из нас так и не достался бы заветный, долгожданный билетик!

Глава 7. Босой Александр

Он работает в театре осветителем лет четырнадцать. Спектакли знает наизусть. Работает свежо, артистично, весело. Заочно обучается на режиссерском факультете ГИТИСа (так гласит театральное предание). Пытается организовать свою труппу и свой репертуар. Свой успех.

Его заработная плата составляет сто рублей⁴. Он снимает однокомнатную квартиру с телефоном неподалеку от театра и платит за нее внушительно-разорительную сумму ежемесячно. Жена моложе его лет на пятнадцать. Ему тридцать восемь. Он маленького роста. Крепкий. Бородатый. Полуодетый.

Выходя из метро, будь то в январе, апреле или августе, он быстро сдергивает надетые на босу ногу башмаки в стиле сократовских шлепанцев, купленные еще во времена цветущей юности, и идет до театра босиком. А подходя всякий раз к метро, он достает башмаки из матерчатой сумки и ловко, как домашние тапочки, нанизывает на ступни. Босиком в метро не пускают.

Он шагает упруго и легко. На нем короткие хлопчатобумажные брюки. Розовеющие пятки скрипят по снегу и замороженному асфальту. Тонкая рубашка расстегнута до половины груди. Систематически раз в год он перекрашивает свою рубашку в иной цвет. Для разнообразия впечатлений. На голове, которую держит прямо, кроме спутан-

⁴ «И он еще жив?!» — воскликнули бы мы, на миг поместив нашего героя со всем его богатством в современные координаты жизни.

ной прически, никогда ничего не бывает («головной убор — помеха общению с тонкими мирами»).

Приветствуя вас при встрече, он слегка театрально (как и подобает долгожителю Таганки) наклоняется навстречу, выделяя весьма многослойной интонацией ваше имя и слово «здравствуй», и жмет руку своей сухой, очень крепкой ладошкой. Заходя в вагон электрички в метро, он величаво оглядывается по сторонам, кивает головой сразу всем и внятно произносит: «Здравствуйте!»

В театре к этому привыкли. Актеры и режиссеры здороваются с ним за руку кто с той же долей игры, кто просто, дружелюбно, но все — с легкостью и удовольствием. Кое-кому, правда, не нравились его босые в пыли, дожде или в тающем снегу ступни, кое-кто находил их не совсем чистыми, но что ж поделаешь...

Он был философ. Главное — дух, утверждал он. А тело — слуга. Не быть рабом плоти. Дрессировать ее. Три-четыре раза в сутки садиться за обеденный стол, ублажая тело, а затем вдобавок бегать и бегать от кухни к сортиру и обратно — да это же кошунство. Неслыханное унижение духа. И он объявил суточные воздержания от пищи. Постепенно он дошел до трех суток голодания в неделю. В эти сутки он снисходительно позволял себе выпить лишь несколько кружек чая. Чтобы не вызывать особых подозрений и паники в рядах обывателей, он объяснял это как лечебное голодание.

Родители с грехом пополам выстроили ему однокомнатный кооператив, за который еще придется доплачивать лет двадцать. На радостях за бесценку он скупил где-то столы, стулья, шкаф, кресла, тумбочки — производства двадцатых—тридцатых годов.

Стояла глубокая осень. Предзимье. Друзья в зимних ватниках ежились у открытого грузового фургона, пока Александър, легкий, как последний лист на березе, сверкая пятками, летал между машиной и подъездом дома, распоряжаясь, как лучше утрамбовать всю мебель. Казалось, толстовские глаза его разгорались вполне земным светом...

Но стиль бытия ничуть не изменился. Проповедуя среди собратьев-осветителей и поклонников с ближайших улиц идею довольствоваться малым, Александър частично представлял нежданно-негаданно воспрянувшее к жизни (конечно же, только в его лице) течение древнегреческих киников. А призывая жить согласно с природой и владеть своими страстями, он не был равнодушен и к стоикам. Мир гармоничен и погружен в себя. Управляй собой. Упорядочивай хаос. Следуй разуму.

Ограничиться устной проповедью Александър не мог. Он изложил свои теоретические взгляды в нетленном (по его стойкому убеждению) трактате символистского стиля. В этом многодневном и многостраничном труде он дал себе благородное мифически-прекрасное и почитаемое имя, окружив его легендами и учениками, подвластными любым колыканиям его священнодействующих рук. Главная проблема — долголетие — решалась молниеносно путем частого отказа от низкой земной пищи и путем перемещения во времени и пространстве со скоростью воображения. Там же излагались мысли воссоединения с природой, возвращения «на лоно ея». Одним из путей к тому служила скрупулезно разработанная методика закаливания слабой человеческой плоти. Робкие намеки его учеников на то, что подобные идеи уже не раз предлагались человечеству в последние тысячелетия, начиная с IV века до н. э., сбивались на лету.

Став автором трактата, Александър не смог усмирить свой дух. Необходимо было идеи воплотить в жизнь, возвести их в ранг живогорящего, бессмертного искусства. Он сотворил пьесу. Нужна труппа. Нужен свой неподражаемый, неповторимый, лучше сказать, единственный под небесами театр. Он спешно стал вербовать последователей, учеников (больше учениц), подсобных, подручных, младоалександэров... Молоденькие девушки не в силах были удержать восторга от приобщения к неземному. После двух-трех психолого-философских сеансов они ахали:

- Вы необыкновенный!
- Вы чудо!
- Вы — гений...
- Вы наш идеал!
- Вы наша звезда!
- Вы — супер! — и т. д.

Он молчал. И ждал продолжения.

Неожиданно, раза три в год Александр, а вместе с ним и сияющий нимб его голых пяток и возвышенных идей исчезали из стен театра. Спустя неделю он возвращался либо из Суздаля, либо из Костромы, Киева, Вологды, Ярославля, Новгорода и т. д. Объяснял: «Отлучался по духовной надобности». Вопросов не было. Начальство чаще мирилось: за давностью срока службы Александра, из-за количества его заслуг перед искусством, из жалости к обнаженным пяткам и семье философа.

Неотразимое влияние своей личности среди учеников и намечающейся будущей труппы не имело, однако, в душе самого Александра должного отклика. Пьесу и трактат-роман в силу незаурядности создателя демократическая масса не смогла, видимо, оценить по достоинству. Тогда он устремил философический взгляд на бедную свою семью.

Сложнее всего оказалось увлечь за собой по высокогорной тропе иной веры жену. Она выражала смиренное согласие, когда, бывало, на кухне, отхлебывая из ложки горячий борщ, он говорил о бренности всех зримых вещей. Она склоняла головку, но тут же показывала на его порвавшуюся на плече рубашку и добавляла, что надо бы купить новую. Тут он недовольно спотыкался в своих тезисах, но продолжал о том, как вредно для глаз и нервов столь часто, как это делают несчастные женщины, посещать символизирующие мирскую суетность магазины, рынки, базары и пр.

Он морщился, как от надоевшей зубной боли, от слов «ювелирный магазин», «парфюмерия», «модная обувь»... Пора погрузить взор свой в духовную природу мира — напутствовал он жену. Почаще вспоминать, какого цвета облака на небе, и есть ли оно вообще, это небо, ибо многие о нем не подозревают. Сколько созвездий она может назвать? Помнит ли она запах бледноглазых подснежников в апреле, когда начинается обильно булькать в ледяных лунках первая капель? Что такое ветер в беспредельном поле? Как зовутся кустарники и цветы, растущие в долинах Миссисипи? Необходимо знать, почему Сократ не покупал своей жене венгерские сапоги, подсчитывая пульс в змеевидной очереди, и сам не гонялся за «кроссовками». Надо читать русскую золотую прозу и русскую философию и не участвовать в спекулятивных гонках за абонементом романов о любовницах французских королей. Почему Коперник прожил жизнь на чердаках, а Эйнштейн был так признателен Достоевскому? Почему зеленому кузнечiku так мало уделяется внимания? Почему никто не спросит, зачем он так лихо щелкает коленками под листом лопуха? Что вообще он там нашел для души? И т. д. О музыкальных предпочтениях Александра история не оставила внятных свидетельств.

Юная жена не смогла довериться всей глубине мудрых мыслей и оценить звучание поэтических струн мужа и порой безнадежно пропадала в яростно освещенных, переполненных глухим ропотом и возгласами универсамах, с восторгом осматривая там что-то, трогая, выбирая, нюхая, перебирая, отвергая, требуя, жалуясь, предлагая, умоляя...⁵ И по-прежнему с упоением читала романы из времен Людовика XIV, Луи-Филиппа, кардинала Ришелье и часами слушала «Битлз».

⁵ «Что за архаика! Она не пользуется Маркетплейсом? Несколько нажатий кнопок на смартфоне — и все привезут домой!» — «Увы, не пользуется, это все тот же 1982 год».

Но время шло. Жена да покорится мужу. И она вникала: «голодовка», «скромность одеяния», «деньги — прах», «бренная плоть», «дух болящий» и т. д. И как-то пыталась следовать за своим босым любомудром, как за Аввакумом.

— Доколь терпеть эти муки? — изредка вопрошает она.

— До самых смерти, Марковна...

— Добре, ино побредем еще...

Итак, жена в последние пять-шесть лет была частично обработана в русле его учения. Остальное — в ближайшие годы.

Бесстрастно-задумчивый взгляд его скользнул по детской кровати, где барахтался, почмокивая и попискивая, семимесячный наследник Александр.

«Пора ему приступить», — глубоко вздохнув и бросив взгляд за окно к горизонту, ввысь, подумал Александр. Он подошел к кровати и хладнокровно стал расстегивать пуговицы на распашонке, благо жены не было дома. Невзирая на протестующие, недоуменные крики младенца, Александр взял голыша на руки и стал массировать его спинку, ножки, ручки. Потом, мерно ступая прославленными босыми пятками по паркету, стал перемещаться в однокомнатном пространстве основательно проветренной квартиры, покачивая раздетого наследника в такт ходьбе.

«Десять минут вводного курса — на сегодня довольно», — сказал он себе, укладывая зашедшегося плачем ребенка в кровать.

Спустя пять месяцев малыш уже не знал в восходящей жизни иного одеяния, чем то, которое предлагает природа-мать. Он стойко и доверчиво переносил по утрам и вечерам прохладную ванну и выполнял под руководством отца массу самых затейливых, многосложных, не поддающихся описанию и воспроизведению гимнастических упражнений.

Голый наследник присутствовал иногда на репетициях и спектаклях в театре, где бывал усажен вместе с испуганной матерью в отдаленный угол.

Идеи Александр набирали силу.

Глава 8. Режиссер

Сегодня репетиция. По театру идет шепот. Вся многочисленная служба-свита ходит на цыпочках. Тс-с-с!.. Не шуршите! Режиссер в зале, радиосвязь включена. Слушают актеры, гримеры, немногочисленные гости, костюмеры, осветители, пожарные, художники, портные, слесари, электрики, помощники режиссера, уборщицы...

Репетиция завершается.

— Смирнов, вы не были вчера на репетиции? Отчего?

— Зуб болел? Гм... И это вы всерьез? Если б у вас случился вывих, не дай бог, гипс на ногу, не дай бог, то на второй ноге вы могли бы вполне прилично приползти на площадку. И репетировать. Свято место. И пусто не будет.

* * *

— Однако как мало вас, друзья, прописанных в театре. Все больше в кооперативах, в гаражах, на даче, у поклонниц ваших талантов, поближе к заласканному морю, домику-садику... Все больше на цыганских гастролях и быстрых деньгах... Дурно-с.

* * *

Старая сцена Таганки. Он любил ее. Часто засиживался один в небольшом, но очень уютном зале. Здесь выращены, взлелеяны лучшие его спектакли. Лучшие мысли, на-

ходки, вдохновение. Счастье художническое пережито здесь. Наизусть помнил каждый метр деревянной сцены. Каждое кресло, отшлифованное руками и одеждой посетителей этого обжитого зала, казалось родным, удобным креслом собственного кабинета. Здесь пронесли лучшие годы. Самые свежие силы развернулись и вспыхнули счастливым подсолнухом, озарив светоносными лепестками лица друзей, актеров-сподвижников и благодарных зрителей.

Возведен новый корпус здания. Вторая сцена театра. Она казалась огромной, пустынной, чужой. И холодной. «У новых домов есть все, им недостает только прошлого» — так говорят французы. Да, она была технически совершенной, но он никак не мог отделаться от чувства неуюта и холода, глядя на ее распаханное пространство. Честно говоря, он даже побаивался ее. Сцена была хороша для массовок. И два спектакля с учетом этого он сделал на новой площадке. Он часто повторял, разводя руками:

— Зачем мне этот комбинат? Оставлю себе старую сцену и буду работать...

* * *

На новое поколение актеров он глядел с надеждой и вопросом: что привнесут? Чем удивят и порадуют? Еще не оправился от недавней ошеломляющей потери... Но главное, верил в старое, проверенное в многолетней работе ядро труппы. Не успокаиваться, не застывать в прошлых приемах. Всегда должно оставаться место изменениям, неожиданным находкам. Нельзя играть так, как сыграно однажды десять лет назад!

Репетиции шли непрерывным потоком. Они были порой важнее самого спектакля.

* * *

Служебный буфет. Телевизор с большим экраном в углу комнаты включен, кажется, на полную мощность. Эстрада планеты. Адриано Челентано, Мирей Матье, Джо Дассен...

Актеры за столиками. Игра продолжается и здесь, она вдохновляется чашкой крепкого кофе или бокалом шампанского. Пересказывается в лицах последний театральный анекдот, идет поиск новых интонаций и жестов. Под гром музыки из телевизора это как-то даже веселей происходит: некий художественный бардачок, где вольность слов, взглядов и улыбок просто расцветает. Молодежь балагурит. Кто-то с пеленок верит в свой гениальный жребий. Он, этот жребий всяческих приятных вещей, уже давненько пал в их молодые улыбчивые рты.

— Ах, это вы, Наталі! Да, да, я видел ваш фильм, очень рад... — это в буфет вошел режиссер.

Но Наталі уже не слышит последних слов, она кивает пальчиком с лакированным ногтем, мол скоро освобожусь, и продолжает доедать свежий салат и допивать кофе, бросая нежный взгляд на сидящего напротив смущенно-красного молодого пианиста, появившегося в театре совсем недавно. «Бедняжка, он еще не созрел для Таганки. Надо помочь юному дарованию». И она с присущей ей элегантностью и врожденным артистизмом принимается за спасение:

— А как чудесно вы играли вчера на репетиции! Это ваше сочинение?..

Черные глаза Наталі слегка искрятся. Ах, как опасно погружаться в их омут. Но все же она чертовски хороша! Увы, неисчислимы и неизъяснимы все роли красивой женщины в этом мире...

Режиссер еще раз быстро оглянулся. Свободных мест нет. И не предвидится.

Телевизор шумно плескается волнами далекого Лазурного побережья.

* * *

Ему минуло шестьдесят пять. Около сорока из них — в театре.

К концу дня он неимоверно устал. Может быть, уже стоит завершать? Не погрешив против истины, можно сказать: дело сделано. Но все же хотелось работать. Чудилось, как вместо того, чтобы убывать, долг нарастал с неумолимым ускорением.

И он решил. Он думал об этом авторе, как о природе, кажется, с рождения. Неотступность долгих дум о новом спектакле внешне прерывалась иными именами, пустяковыми событиями, громкими постановками, заманчивыми гастрольями, возгласами «Браво!», текучкой неумолимой повседневности.

Вот, кажется, созрело. Подтолкнуло сердце — снова к Пушкину. Это необходимо поставить здесь. Сам Бог велел. Еще одно долгое усилие. Удастся ли? Неизвестно. Он пробовал оценить свои силы.

Судьбы его «обширные заботы» устремились по одному прямому радостно-бурлящему руслу — к Пушкину. Отныне он весь — в последнем спектакле. Второй год идут репетиции, раскаленные добела от насыщенности, уровня, объема материала. С кем-то из актеров выдержана творческая дуэль на десяти шагах. Всегда желанные встречи с ансамблем народной песни... Долгие поиски с художником единственно нужных декораций.

И наконец птица подброшена. Из хаоса воля, сумасбродных желаний, самолюбий, кокетства, капризов, обид и ссор выросла, вырвалась вперед, понеслась и повлекла за собой его единая воля, единый замысел — все к заветной цели.

Уже разливается-ширится, звучит симфония, и почти невидимая палочка дирижера послушно трепещет-вьется в его пальцах.

Рождается спектакль — «Борис Годунов». Расцветает в нем, в режиссере как владыке, и в актерах, в художнике-сценографе, в костюмере, композиторе, гримере, осветителе... Далее — суд зрителя и времени.

* * *

Проносится слух-молния: новый спектакль отменяется по каким-то «временным» мотивам. И заменяется другим.

Режиссер исчезает. Спустя дни появляется в театре, как после опасной болезни. Замкнут, молчалив, покоен⁶.

Он был свободен в одежде. Удобные джинсы, легкие кожаные туфли. Простая курточка на плечах всегда распахнута. Седая грива волос небрежно закинута назад. В жестах, движениях — легок и молод, в голосе — интересен и глубок, в лице — открыт и свеж, в глазах — умен и бодр. И всюду свободен. Был свободен в друзьях, замыслах и дарованном таланте. Он оказался не свободен в судьбе спектакля.

Но театр продолжал жить и отвечать взаимностью на любовь зрителей.

Глава 9. Поэт ушел, а мы пока остались

Уже два года, как нет в театре Владимира Высоцкого⁷. Но дух его живет в деревянных подмостках, в складках занавеса сцены, в микрофонах и фонарях софитов, в зри-

⁶ Через шесть лет спектакль будет возвращен (разрешен). Мастер и в дальнейшем обратится к Пушкину («Маленькие трагедии», «Евгений Онегин»).

⁷ Речь идет о 1982 годе.

тельном зале, в фойе и гримерке. Песни звучат те самые, и голос все тот же. И как будто повисли в воздухе вопросы.

Правдив его хрипловатый голос и долетает до голубых небес с золотыми куполами. Но так напряжен! Почему? Отгоняет смерть или нас хочет разбудить?

А что же с нашей чашей? Испить? Выплеснуть? Разбить? Передать другому? Передоверить?

И что такое крик? Вибрация голосовых связок или обнаженных нервов бой?

Все так же путаем мы одежды правды и лжи?

Он в схватке, атаке, в прорыве, а мы легли на дно?

Мы спокойны — у нас есть выбор. А если выбора не будет?

Где наши горы? Где микрофон наш?

Почему его жажда жить и любить порой равна жажде умереть?

Почему он зряч, весел и влюблен — а у нас не получается?

«Конь на скаку и птица влет... По чьей вине?...»

Почему есть вопросы, а ответов нет?

Нелегко было выдерживать актерскому братству (да и всем нам) горячее дыхание этих вопросов. Но жизнь толкает, бьется и клокочет вокруг, дальше, больше... Спектакли продолжаются, зрители благодарны и милосердны. Режиссер рядом. «Да здравствуют музы, да здравствует разум!»

* * *

Северный уголок Карелии... Маленькая бревенчатая школа затерялась в глухих лесах. Ни аэродрома, ни железной дороги. Автобуса не дожدهшься из-за непролазной грязи... Кругом изумительный нетронутый лес, лес, не пуганное ружьями зверье, океан чистого воздуха, крупная и сильная рыба в неизвестных реках. Но еще маловато книг, музыки, людей...

Весна, апрель, волнуются птицы; в проточной воде с крыш поигрывают солнечные блики... В маленькой деревянной пристройке к зданию школы, что на краю села, идет урок физики. За последней партой сидит заморенный теплом солнца через окно, дурно одетый еле-еле троечник шестиклассник Васька Егоров. Класс возится с лабораторными весами. Егоров грызет карандаш, шмыгает носом, хлопает глазами, треплет буйно отрастающий чуб, небрежно постукивает пальцем по чашечке весов, перекидывает с ладони на ладонь гири-разновески и... явно скучает. Время от времени он открывает свой большущий рот и смачно на весь класс зевает. Класс при этом дружно смеется. Наконец и зевать Василию надоедает. Тогда он изображает руками гитару, глядит в окно тоскующими глазами и запекает тихонько, для себя, для души:

А в Ленинграде — с крыши потекло.

И что мне не лететь до Ленинграда?!

В Тбилиси — там все ясно, там тепло,

Там чай растет, — но мне туда не надо!

...

Мне надо — где сугробы намело,

Где завтра ожидают снегопада!..

А где-нибудь все ясно и светло —

Там хорошо, — но мне туда не надо!

Кругом лес, лес, дикие дороги, много болот, и Москвы не видно. Но тринадцатилетний Василий Егоров уже любит эту мелодию, помнит эти слова.

Что ж, это было спето поэтом и вот дальним горным эхом несется повсюду.

Глава 10. Сцена

При первой короткой встрече она поражает своей древесной простотой. И вот этот-то обычный деревянный, не совсем ровный, начисто отмытый настил и есть сцена театра, о котором с загадочной улыбкой и восторженным придыханием говорят всюду до самых глухих, отдаленных мест России? Говорят с обожанием, с веселой искоркой в глазах.

Но она, оказывается, вовсе не так проста. Она вооружена массой специфических сооружений, терминов и понятий. Она может подниматься и опускаться. Может прикрыть себя первым, вторым, третьим занавесами. В конце концов, она может заслонить свое лицо от зрительских настойчивых взглядов загадочным светом рамп. Она имеет софиты⁸ — верхние и нижние. Прожектора, обливающие ее светом и цветом слева, сверху, справа и снизу, могут иметь электронное управление. Она имеет чуткие радиоуши. И тот знаменитый микрофон! И многое другое.

Сейчас мы попытаемся взглянуть, как сцена готовится к спектаклю.

Итак, вначале она гола и пустынна, как те библейские клочки земли, избранные отшельниками веры и муз.

Но вот... Чу! Что это? Отдаленный невнятный шум... Он нарастает, приближается и сейчас, кажется, сомнет вас. С гиканьем и свистом проносятся мимо молодые непричесанные создания: в джинсах, голые по пояс, с мощными бицепсами и стальным прессом, в рваных кедах и с дерзостью во взоре... Это монтировщики. Лихое племя. Их крутая многоголосица вперемешку с русским крепким словом сыплется по всем залам, кулуарам, коридорам, как по степям. Она катится отовсюду, перемешиваясь с грохотом и пылью монтируемой сцены. Тренированные тела мелькают перед глазами во всех четырех измерениях с неопишуемой восточной акробатической ловкостью. В их сильных руках появляются дверные косяки, люстры, крюки, книжные шкафы, сетки, кресла, седла, телевизор... Боже мой, вон двое тяжелым бегом несут на плечах деревянный гроб, и что-то нетерпеливо постукивает в нем...

Их налет на сцену длится от сорока минут до двух часов.

Но вот гул стихает, эхо гаснет, пыль ласково повисает на занавесах, ложится в партер и на балкон. И на мгновение в театре наступает умиротворенная тишина.

Но краток этот миг.

Далее мир во власти осветителей.

Осветитель. Полное имя — «просветитель». Видите, один из них вылезает из-под сцены, как из преисподней, потный, красный с фонарями, проводами, подсветкой, желтыми, зелеными, синими светофильтрами, штативами и прочей физикой в руках и на спине. Вот он жертвенно повисает над сценой вниз головой на верхнем софите, настраивая фонарь.

«Просветитель» силно кричит, обращаясь в диспетчерскую кабину, расположенную высоко над балконом в задней стене зала:

— Давай тридцать первый! Давай ложу! Правую! Софит! Световой занавес!

— Принеси бэбики!⁹ — гаркает кто-то на новичка. Тот бегает по сцене и вокруг, путаясь под ногами у всех, лихорадочно повторяя: «Какие бэбики-бобики-бабочки? Где они? Кто они?..»

⁸ Театральная осветительная аппаратура, укрепленная на металлических фермах и предназначенная для освещения сцены спереди и сверху.

⁹ В те славные времена, в просторечии осветителей — это один из видов специальных фонарей для дополнительного освещения сцены.

Внезапно пустынный зрительный зал и сцена погружаются в розовый, потом синий, фиолетовый полумрак; задняя стена сцены вдруг обливается нежными светло-желто-красными цветами восхода солнца. В воздухе начинает пахнуть детством и сказками... Это колдовство «просветителей».

«Просветитель» — это уже не просто. Это искусство. Он самый внимательный и чуткий зритель каждого спектакля. Его желанная цель — питать светом и цветом актера, кем бы он ни был, как бы он ни выглядел. И самое страшное — оставить актера и вверенный кусочек сцены без света, в крошечной тьме в ответственную минуту его роли! Только свет! Светить — и никаких чертей! И никаких теней!

Замер в своей кабинке на правой ложе осветитель. Вот-вот подадут напряжение на «пистолет» (род фонаря). Сейчас пробьет его мгновение — вырвать из тьмы (в которую вдруг по замыслу режиссерской руки погрузилась вся сцена) лицо актера. Зал затаился. Как будто слышатся шаги самой судьбы. Световой луч золотой стрелой летит вниз и попадает в цель:

Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

....
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить — не поле перейти.

После осветителей на обетованную землю ступают аристократически настроенные радиосвязисты. В белых брюках, в ослепительно-белых тапочках и чуть ли не в белых халатиках. Они два раза небрежно щелкают ногтем в подвешенную над подмостками чашечку микрофона и уходят, не оставив белыми подошвами зримого следа.

Из-за кулис выпархивают девушки с многочисленным реквизитом. Появляются подушки, кружки с пивом, шпага, чемодан, раскрытая книга, настенный барометр, пистолет семизарядный с круглым барабаном, гантели, чернильница... Ах, что только впервые в своей бедной жизни не увидишь на сцене! Все, что душевненько угодно. Хотите «хладный», свирепый клинок горца — извольте, он уж режет в воздухе клочок ваших волос. Хотите шляпу дворянина из Парижа XVIII века, кресло Вольтера; подсвечник, как у Арины Родионовны; обожженный штык 1917 года; колокол Кирилло-Белозерского монастыря?.. А вот голуби порхают над сценой; петух зашелся в боевом кличе; гусиное перо, готовое брызнуть чернилами на бумагу; скрипка со смычком (говорят, это скрипка Сальери)...

Далее — тишайшая работа уборщиц. И вот уже все просушено, проветрено, все блестит. Ни пылинки, ни соринки не будет ни в чьих глазах. Сцена умыта, причесана. Благоухает. Она сейчас — как древнегреческая богиня: все звезды над ней возжены.

На тут на подмостки выбегает помощник режиссера.

Он взбивает подушки, пересчитывает патроны в барабане, взводит курок, пробует на язык острые сабли, пьет пиво, включает телевизор, кому-то кивает и пытается улыбнуться, машет рукой связистам, передвигает кровать на полдьюма и исчезает в складках занавеса, откуда доносится:

— Орлы! Третий звонок, приготовились...

Остается несколько минут — вот-вот в зрительном зале появятся зрители.

И вдруг откуда ни возьмись на середину сцены вылетает мокрый, растрепанный актер. Он начинает энергично шевелить ртом, воздымать глаза, падать на колени, целовать стулья, поднимать гантели и сдвигать пивную пену. Хватается за пистолет, приставляет к своему виску, давит на курок, но как назло — осечка за осечкой... Наконец в изнеможении делает несколько глотков пива, произносит жуткий монолог и убегает. Последняя репетиция.

Глава 11. Зрительный зал

Но пора, пора уж нам войти в зал.

Заполненный зал театра — особое творение. Это картина неизвестного мастера. Общая и слегка очарованная душа. Вы чувствуете, как над собравшимися людьми, усевшимися чуть колышущимися рядами, веет озоновый ветерок всечеловечества. Сейчас и здесь царит аура любви. Что он, человек, еще выдумал, как себя разукрасил; что скажет и чем еще удивит нас этот Сфинкс? А в том, что будет нечто удивительное, узнаваемое и неузнанное, милостивое или грозное, ушедшее или надвигающееся, реальное или фантастическое, музыкальное, живописное, выпуклое или вогнутое, зеленое или голубое, небесное или земное — в этом никто не сомневается. Что-то будет...

Но вот, вот... занавес поднимается... Сцена!

Гаснет свет зала, и загорается свет иной — тот, что в душе художника.

Спектакль уже идет.

Партер. Внимательные лица. Упал листочек с программой, крутят бинокль... Кто-то еще шепчется. А вот девушка пытается развернуть обертку шоколадки.

Галерка. Страсти пантомимы. Наиболее подготовленные балансируют на одной ноге, другой ногой упираясь в воздух или в стену. Стоят вплотную, навтыжку, почти как в утренней электричке в час пик. Шея растет и утончается одновременно. Главное, не упустить из виду героя, героиню...

Горячий воздух, сдерживаемое дыхание, сосредоточенные глаза.

Глава 12. Идет спектакль...

«Послушайте! Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно».

«Граждане, послушайте меня...»

«Слушайте, товарищи потомки...»

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте...»

* * *

«Три сестры». Ольга. Маша. Ирина.

«За что страдаем?.. Если бы знать, если бы знать...»

О боже, в каких только пыльных городках и селениях не выгорает, не выветривается чья-то юность! (А может быть, наша?) Час пик наичестнейших стремлений, мыс-

лей, лучших сил и желаний. Воистину — безмерно звездный час. Солнечная вспышка любви. Где это? Куда они? Тонет все среди дурных дорог, уродливых вкусов и убеждений, среди заскорузлого лишайника примитивного быта и неясного томления бескрайних необжитых пространств. А время летит, и кажется, что жизнь и счастье возможны только где-то там, в обетованной земле. Сколь многих медвежьих углов желанный клич: «В Москву, в Москву!» Почти заклинание, облагороженное чеховской грустной думой.

И вдруг — о чудо! Часть боковой стены зрительного зала театра медленно поднимается выше, выше... И вот уже потоки холодящего вечернего воздуха огненно-сияющей Москвы хлынули в зал. Все головы в изумлении поворачиваются в эту сторону к улицам с жужжащими автомобилями, навстречу свежести, огням, пульсу, дыханию огромного города.

Мы мечтали, тосковали, вы рвались в нее всеми силами молодых душ, сдавленных до поры... Вот она — видите: Москва наших дней. Ступайте же в нее и делайте жизнь!

Этот властный жест режиссера — к кому он обращен? К героям пьесы или ко всем сидящим сейчас в зрительном зале?

Возможно, еще страдаем, но уже знаем, многое знаем...¹⁰

* * *

Но что это происходит со сценой? О-о, в некоторых местах она вдруг вырастает большими грибами в неясных одеяниях. Да это не грибы, это люди! Один гриб — трапеце-видно-квадратная Коробочка, другой — сахарно-ванильный Манилов, третий — гориллоподобный Собакевич, четвертый — гуляющий бакенбардисто-залихватский Ноздрев. А вот еще грибок, всем грибам гриб — смазанный жирком, приглаженный теплым утюгом крепкий жук Чичиков.

А вот что-то... вдали... что за музыка, какая песня и что за ветер? Чудо-чудный Гоголь! Мы спотыкаемся о грибы, но зрим твою тройку, что несется за горизонт, и слышим неподвластный времени удалой свист ямщика. От века он не дает нам покоя. Уж космической бездны достиг он и мчится с неземными скоростями...

Гогочет на всю губернию круглощекий, волосатый Ноздрев и хлещет водку; хихикает с ужимкой коварный подбородок Чичикова. «Давненько я не брал в руки шашек». Хи-хик-с. «Знаем мы, как вы играете в шашки». Ох-кхо-кхо-кхо! Ых-ха-ха-ха!

Нечленораздельно сопит и чавкает Коробочка.

Тает в благих мечтах, расплываясь прошлогодним медом, рыхлая плоть Манилова. Изредка рычит на людской род Собакевич.

А вдоль ramпы, в приглушенных огоньках ее и в самом зале быстро, почти бесшумно мелькает скомканная фигура бедного чиновника в изношенной шинели. Это Акакий Акакиевич Башмачкин, вознесенный силой растревоженного сердца в чин бессмертных.

В морозных сумерках беззвучно мечется человекотень. Воротник шинели поднят, спина согнута, ужас белеет на остром, едва уловимом лице.

Кажется, холодная рябь озноба пробирает затаившийся зрительный зал сквозь прохуdivшуюся ткань полутора столетий («Ревизская сказка»).

¹⁰ Наверное, уже не осталось «медвежьих углов», а если еще где-то... то они сами сегодня представляются многим из нас «землей обетованной». Но мечта об иной, лучшей жизни, порыв к ней? А чеховские герои? Это есть и пребудет с нами.

* * *

Сцена полна тени и молчит. Неожиданно сверху падает прямой тонкий луч прожектора. На конце луча, в ярком круге света возникает лицо певца. Гитара. Микрофон. Тихая простая мелодия вливается в мерцающий зал:

Вы рисуйте, вы рисуйте,
Вам зачтется.
Я потом, что непонятно, объясню...

Певец уходит.

Из тьмы возникает молодой человек. Исполняется пантомима под названием «Жизнь». Неиссякаемым темпераментом, непостижимой пластикой движений, мимикой лица актер проживает всю историю жизни человека. Рождение, развитие, радости, цветение, плоды, несчастье, увядание, старость, смерть. Колдовской танец длится пятнадцать минут.

Бьется о сцену, встает и падает, обовьется вокруг себя, распускается, оживает, погибает, трепещет новой силой и мечтой, разбивается и гордо возвышается, смеется, унывает, негодует это тело в полной тишине сцены и зала. Зрелище постепенно и поочередно захватывает то красотой физических движений, то стремительностью эмоциональных перемен. Как? И это наша жизнь? И это все? А дальше? Где продолжение? Почему все? Не хочу! Я хочу дальше, еще, снова, лучше... Повторите!

Но повторений нет.

Танцовщик исчезает во тьме так же мгновенно, как и появился.

* * *

Многочисленные гости театра протягивают сегодня при входе свои билеты, увы, не контролеру, а отдают их в жесткие руки двух красноармейцев, стоящих у парадных дверей в длинных шинелях с грубовато нашитой кумачовой звездочкой. Солдаты коротким движением по очереди нанизывают билеты на штык боевой винтовки и резко указывают рукой — проходи!

Фойе театра заполнено до отказа. До начала спектакля — четверть часа. Внезапно воздух оглашает бывалая, русская, большевро-бесшабашная гармонь. Гармонь? Откуда? Ах да, это же театр. Все замечают солдата в шинели и троих матросов с бескозырками на стальных кудрях, лихостью в очах и, конечно же, с открытой грудью в славной тельняшке. Среди них девушка в красной косынке. Они быстро и весело проходят сквозь расступившуюся удивленную толпу будущих зрителей — и отчаянно, с вольным присвистом и пляской понеслось по фойе и переходам:

Как родная меня мать провожала,
Тут и вся моя родня набежала.
— Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты,
Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты.
В Красной Армии штыки, чай, найдутся,
Без тебя большевики обойдутся!..

Оглушительный свист! «И — эх!»

Поющих быстро окружают кольцом. «Красная косынка» срывается в круг, размахивая руками, крутя головой и ошарашивая всех дерзкой частушкой. Блаженно гоготнувший матрос с гармонью пускается вслед за ней.

На груди у каждого зрителя внезапно оказывается приколотая тонкой булавкой гвоздика — красный матерчатый бантик.

Частушки сыплются, как пригоршни кедровых орешков, ими крепко щелкают в белых ядреных зубах. Слова подхватывают кто-то из зрителей. Но вот уже в частушках слышится что-то тревожное. Завораживая, они на глазах меняют облик плотно обступившего кольца, и чудится, будто душа начинает подниматься и кружить в огнедышащих ветрах 1917 года.

Запевая все новые и новые песни-частушки, боевая группа двинулась к зрительному залу. Все — за ней.

Медленно гаснет свет. Зал затих. Успокоился. Немножко расслабился. Беззвучно-тяжело поднимается боковая стена зала, та, что рядом со сценой. Открывается живая перспектива городской улицы. По железным ступеням поднимаются трое: рабочий в куртке, крестьянин в шинели и матрос в бушлате. Шаг в шаг они проходят к краю сцены. Одновременно замедленно снимают с плеч винтовки, подносят к плечу, целятся вверх...

Огонь! Три дула вмиг изрыгают короткое пламя и суровое эхо. Кто-то машинально схватился за носовой платок, кое-кто невольно закрывает глаза. Откройте глаза.

Огонь! Кое-кто чуть отшатнулся в кресле, кто-то вжал голову в плечи. Кто-то зажимает уши. Откройте уши.

«Десять дней, которые потрясли мир». Они стущаются под упругим давлением скрестившихся талантов в два огненных часа магического, захватывающе-властного действия, которое будоражит зал.

Лучи прожекторов беснуются над головами людей, впиваются в питерское небо. Залпы орудий с корабля. Штыки винтовок блестят пламенем, как густой загоревшийся лес; гром, гул и неровное зарево над улицами. Мрамор Зимнего, обвисшие щеки Временного правительства; окопы, офицеры, солдатские шинели, мировая дерзость военных моряков... Ходоки, вопли спекулянтов, невозмутимый шаг пролетария.

Вереница характеров, сцен, лиц; хаотическое движение улицы, речи, указы; контрреволюция; декреты... Волны красного цвета. Молодой Джон Рид.

Проходит спектакль — не проходит история.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте...»

* * *

Петербург. Сумрачные краски осенних улиц и глубокой нищеты.

«Тварь ли я дрожащая или право имею?»

Преступление — миг краткий, у бездны на краю. Но наказание длится, длится, длится...

«Спасите наши души!» — взрывается раскаленный воздух зала надсаженным криком певца. Взрыв краток, он тут же гаснет.

В потусторонних, карающих отблесках голубых разрядов молний-фонарей, выхватывающих все новый и новый неподвижный миг действия, сжав голову руками, падает-катится в пространстве и времени Родион Раскольников. Оглуший, ослепший, порвавший нить, поверженный ложными и страшными идеями.

Долог и труден путь искупления. Но остается надежда — тихая любовь Сони рядом. Идет спектакль...

А в это время к служебному входу театра, грустно шелестя теплыми шинами, подкатывает «скорая помощь» и замирает, упершись фарами в кирпичную стену.

Актер, преодолевающий на сцене судьбу Родиона Раскольникова, нередко к концу спектакля теряет сознание, и всякий раз «скорая» отвозит его в больницу. На его место в последнем акте выходит дублер. Актеру резко сократили количество ролей. Ему запретили играть в «Преступлении и наказании». Но отводя рукой все предостережения, страхи, сплетни и лишние роли, он оставил для себя вскоре единственную — Раскольников.

Зрители шли на Раскольникова.

* * *

«Мастер и Маргарита».

Одна из мизансцен. Слева, на краю подмостков стоит Иешуа Га-Ноцри из Гамалы. На плечи накинут старый оборванный хитон. Напротив него, на другом краю — в одеждах представителя римской власти прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Где-то в тени, за их спинами — президент Синагедриона первосвященник Иосиф Каифа. Речи о власти, истине и справедливости оборваны.

Суд окончен. Вам слово, прокуратор Иудеи.

Вот он, миг кровавый выбора! Смерть и бессмертие. Помилован кто? Имя!

— Вар-р-раван!

Свет. Крест. Тело. Тьма. Свет. Распятие!

Гулкое эхо столетий.

Падает занавес (это рубище Иешуа или плащаница Христа?).

Огромный маятник всех времен колеблется перед глазами.

* * *

«А зори здесь тихие...»

Кто-то из них пятерых (а мы знаем, что были сотни тысяч) успел полюбить, кто-то лишь мечтает, кому-то только снится. Пятеро простых девушек. Биографии у них разные, прически разные; отличаются размеры пилок и сапог; непохожие глаза, рост, голоса... Но гибель одним взмахом стирает всякую разницу и погружает всех в единую реку, которая вольется скоро в океан Победы.

Борта полуторки поочередно становятся и зыбким болотом, и высокими стволами деревьев в лесу, и родной далекой хатой в воспоминаниях...

На наших глазах они гибнут: захлебывается одна из девушек в чавкающем и смердящем на несколько верст вокруг болоте, другая падает под ударом длинного ножа в спину из-за ствола мирной березы, третья выскочила навстречу кровожадной автоматной очереди. Несбывшиеся жизни, невоплотившаяся любовь... Они уходят, и мы с ними не встретимся.

Их все меньше. Трое. Зал замедляет дыхание. Чей черед? Остались вдвоем. Одна. Но вот и она... Томительная пустынная тишина. Черный от смертельной тоски и усталости, молча судорожно трет лицо старшина Васков. Он не забудет и не простит.

Как боевой стяг, сникает высокий занавес.

В фойе театра темно, но тьма вдруг расступается. По ступеням лестницы вверх неожиданно и беззвучно вспыхивают пять огней из гильз артиллерийских снарядов — как факелы. Пламя трепетно клонит огневидную голову данью памяти. К этим фронтным огням не привыкнешь. Они провожают прожившего два часа войны зрителя.

Огонь, выше еще огонь и еще огонь...

Глава последняя

Пустеет зал... Уходить из театра всегда не хочется. Как-то бы помедленнее одеваться в фойе, задерживая взгляд то на портретах актеров на стене, то на бронзовых подсвечниках и на молчаливой очереди к гардеробу всех выходящих сейчас из зрительного зала.

Но вот и улица. Бр-р-р, все же весьма прохладно; конечно, осень. Так удивительно жилось... О, как иначе мы дышали там, в воздушно-озоновых слоях театра.

Легкий снежок опять летит, как и до спектакля, или это снег с дождем, или туман. Но погодите, это, кажется, иной снег... Дождь нас мочит, но уже не тот дождь. Ветер бесится под ногами и воет над головой, но это какой-то необычно теплый ветер. Звезды в проблесках между облаков вечернего неба, но это уже звездные струи и сияние небес... И неясное волнение и странные блики на лицах людей.

И опять надвигается туман. Все готов поглотить он, но остаются видны огни фонарей театра. Они мерцают, удаляясь от нас, как маяки спасительного острова.

Но что это? Не может быть. Да вот бывает же так! Чудно все! Где-то в небе отчетливо громыхнуло, и сверкнула короткая молния, как будто в мае или июле. Такое знакомое лицо промелькнуло перед глазами. Да это же Высоцкий! Молодой, живой, веселый! Это же его голос:

Я перетру серебряный ошейник
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, ворвусь в репейник,
Порву бока — и выбегу в грозу!

Все на улице узнают его, вмиг окружают радостным кольцом:

— Пожалуйста, еще! Спойте еще!

Высоцкий срывает с плеча гитару, не заставив ждать:

Спасите наши души!
Мы бредим от удушья.
Спасите наши души!
Спешите к нам!

...

Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.

...

Я поля влюбленным постелю —
Пусть поют во сне и наяву!..
Я дышу, и, значит, я люблю!
Я люблю — и, значит, я живу!

— Еще! Еще!..

Кто сменит меня, кто в атаку пойдет?
Кто выйдет к заветному мосту?

...

Я успеваю улыбнуться,
Я видел, кто придет за мной.

Мы не успели оглянуться —
А сыновья уходят в бой!

Автомобили и троллейбусы притормаживают, прохожие прибиваются к плотному кольцу зрителей этого неожиданно-нечаянного концерта под открытым осенним небом. Высоцкий пел не прерываясь, словно стараясь успеть:

Я весь в свету, доступен всем глазам, —
Я приступил к привычной процедуре:
Я к микрофону встал, как к образам...
Нет-нет, сегодня точно — к амбразуре.

...

Смешно, не правда ли, смешно!
А он спешил — недоспешил, —
Осталось недорешено
Все то, что он недорешил.

...

Я, конечно, вернусь — весь в друзьях и в мечтах,
Я, конечно, спою — не пройдет и полгода.

...

Высоцкий пел. Ветер давно разогнал клочья тумана над городом. Площадь перед театром уже была заполнена битком. Она гудела, волновалась, хлопала в ладоши, с азартом выкрикивала:

— Спасибо-о-о-о!
— Про волков! Скалолазку!
— Про Одессу!
— На Большом Каретном!..

...

— Спасибо, что живой!



Искусство чтения

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

К ВОПРОСУ О ПОЭТИКЕ ЧЕХОВА

Собачка в «Даме с собачкой»

«Дама с собачкой» (1898), один из наиболее известных и любимых рассказов позднего Чехова, начинается так: «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: дама с собачкой». Про даму, Анну Сергеевну (можно даже назвать фамилию: фон Дидериц), в рассказе сказано много, она одна из двух главных персонажей. А про собачку? Что мы знаем о ней?

Следующее предложение — от лица Дмитрия Гурова, второго главного персонажа, человека, организующего действие рассказа: «Сидя в павильоне у Верне, он видел, как по набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете: за нею бежал белый шпиц».

Далее говорится, что Гуров встречал даму в ялтинском городском саду и сквере по нескольку раз в день. И снова про белого шпица: «Она гуляла одна, все в том же берете, с белым шпицем; никто не знал, кто она, и называли ее просто так: дама с собачкой».

Ирина Чайковская — прозаик, критик, преподаватель-славист. Главный редактор американского русскоязычного журнала «Чайка». Родилась в Москве. По образованию педагог-филолог, кандидат наук. С 1992 года на Западе. Семь лет жила в Италии, с 2000 года — в США. Автор 18 книг и многочисленных публикаций в российских и зарубежных изданиях. Автор статей и докладов о жизни и творчестве И. С. Тургенева, А. Я. Панаевой, Н. А. Некрасова и других представителей русской литературы второй половины XIX века. Участница международных тургеневских конференций и конференций по связям русской и зарубежной литературы. Член редколлегии американского русскоязычного журнала «Слово/Word» и поэтического альманаха «Связь времен». Лауреат премии журнала «Нева» за 2015 год в номинации «Критика». Живет в Большом Вашингтоне.

Судя по двум атрибутам, присутствующим в описании дамы, ее с одинаковой долей вероятности можно было назвать и «дамой с собачкой», и «дамой в берете». Отдыхающие в Ялте называли — «дамой с собачкой». Да и сам Гуров, уже ближе к концу рассказа, называет ее в своих размышлениях «дамой с собачкой». Чеховский рассказ носит именно это название. Упомянутый «берет» больше в рассказе не появится. Собачка же станет, как мне представляется, одной из его сюжетостроительных балок.

Постараюсь это показать.

Рассказ «Дама с собачкой» — маленький, состоит из четырех небольших главков, хотя оставляет впечатление повести или даже романа. Это связано с необычайной сгущенностью действия. В сферу внимания читателя автор помещает только то, без чего нельзя обойтись для художественного создания вроде бы непритязательного сюжета. Рассказ начинается как обычный «курортный роман», но затем уходит в сторону и имеет нетривиальное продолжение.

Язык автора лапидарен и емок, с минимальным количеством деталей.

Теперь посмотрим, насколько «собачка», а именно: белый шпиц, входит в художественную структуру рассказа. В первой главке мы встречаемся с нею еще один раз.

«Он (Гуров. — И. Ч.) обедал в саду, она (дама с собачкой. — И. Ч.) подходила не спеша, чтобы занять соседний стол. Он ласково поманил к себе шпица и, когда тот подошел, погрозил ему пальцем. Шпиц заворчал. Гуров опять погрозил. Дама взглянула на него и тотчас же опустила глаза. — Он не кусается, — сказала она и покраснела. — Можно дать ему кость? — И когда она утвердительно кивнула головой, он спросил приветливо: — Вы давно изволили приехать в Ялту?»

Этот кусочек следует проанализировать. Напомним напутствие Чехова его молодым пишущим собратьям: «Лучше всего избегать описывать душевное состояние героев, нужно стараться, чтобы оно было понятно из действий героев». В «Даме с собачкой» можно увидеть воплощение этого принципа. Гуров видит даму, вызвавшую его интерес, когда та не спеша идет к соседнему столику. Он хочет с нею заговорить, для этого использует подходящий предлог — шпица. Он его манит к себе, шпиц подходит.

Далее Гуров ведет себя не совсем обычно: грозит собачке пальцем. Скорее всего, он делает это шутливо: мол, не шали. Шпиц, жеста не понявший и ожидавший чего-то другого, заворчал. Гуров повторил свой жест.

Дама поняла этот жест как знак того, что незнакомец боится собачки (миниатюрного декоративного шпица!), и успокоила его: «Он не кусается». Но проследим, как начался их разговор. До этой реплики дама взглянула на Гурова и тотчас же опустила глаза. Видимо, увидела что-то такое, что ввело ее в смущение. Что же она увидела? Позволим себе предположить, что она увидела того, о ком всечасно думала, кого мечтала увидеть, когда рвалась из С. и под фальшивым предлогом уезжала от мужа в Ялту.

Вот выписываю из второй главки ее признание после «падения»: «Мне, когда я вышла за него, было двадцать лет, меня томило любопытство, мне хотелось чего-нибудь получше; ведь есть же, — говорила я себе, — другая жизнь. Хотелось пожить! Пожить и пожить... Любопытство меня жгло... вы этого не понимаете, но, клянусь богом, я уже не могла владеть собой, со мной что-то делалось, меня нельзя было удерживать, я сказала мужу, что больна, и поехала сюда... И здесь все ходила, как в угаре, как безумная...»

Мы знаем, что Гуров хорош собой, нравится женщинам и умеет с ними обходиться, в прошлом у него было много романов — наверняка он сразу понравился Анне Сергеевне. Об этом свидетельствует еще одна «говорящая» деталь: она покраснела, сказав Гурову, что шпиц не кусается. И ясно, что покраснела опять от того смущения,

ния, которое почувствовала в присутствии этого привлекательного и явно заинтересовавшегося ею мужчины. Еще одна реплика Гурова, связанная со шпицем: «Можно дать ему кость?»

И дальше, в ответ на ее утвердительный кивок, он уже переходит к своей непосредственной цели — к ней самой: «Вы давно изволили приехать в Ялту?»

Ясно, что шпиц, сопровождавший даму, нужен Гурову только как предлог для начала разговора с его хозяйкой. В дальнейшем речи о собачке не будет — вплоть до предпоследней третьей главы. Чехов не станет нам рассказывать, где и с кем оставляла собачку Анна Сергеевна во время своих прогулок и поездок с Гуровым, не уточнит, чем и как она ее кормила. Померанский, или миниатюрный, белый шпиц, мода на которого началась как раз в годы написания рассказа и с особенной силой разгорелась после появления «Дамы с собачкой» Чехова, по словам специалистов, «не доставляет особых хлопот», но «для собаки очень важно, чтобы хозяин находился рядом».

Анна Сергеевна далеко не всегда была рядом с собачкой, да и кормила она его не по прописям. В указаниях по уходу за шпицем сказано, что он нуждается в специальной пище, не со стола. И есть добавление: «...кости для собаки — гибель... Никаких костей, особенно трубчатых и куриных».

Однако нужно учесть, что приводимые правила взяты из современных источников. В XIX веке собак кормили по-другому. Да и Чехов пишет рассказ, а не пособие по уходу за шпицем, его часто не интересуют «подробности», которые имеют «узко характерологические цели», — отмечает в своей монографии Александр Чудаков¹.

Как мне кажется, сам Чехов прекрасно сказал о своей поэтике в письмах к молодым пишущим собратьям: «В коротком рассказе все должно быть взаимосвязано. Идее подчиняются не только поступки и характеры героев, но и все то, что мы называем фоном». А вот самое ценное для нас высказывание: «В маленьком рассказе лучше не досказать, чем пересказать, надо жертвовать подробностями ради целого. Подробности, даже очень интересные, утомляют внимание»².

И потому ни в конце первой, ни во второй главе, где рассказано, как протекает «курортный роман» Анны Сергеевны и Гурова, собачка не появляется, шпиц уходит из сферы писательского внимания. В дуэте Анны Сергеевны и Дмитрия Гурова он не играет никакой роли. В этой связи можно вспомнить рассказы, где ситуация «третьего» на фоне влюбленной или флиртующей пары обыгрывается и становится основной.

В рассказе Стефана Цвейга «Жгучая тайна» некий скучающий на курорте барон заводит в ресторане разговор с мальчиком, сыном вызвавшей его внимание дамы. В итоге мальчик становится не просто полноправным героем новеллы, но и двигателем ее сюжета. В ходе этого происшествия он взрослеет, и перед ним открывается «жгучая тайна» взрослых. А вот еще один пример из недавнего рассказа Валерия Андропова, опубликованного в нашей «Чайке». Рассказ называется «Смотрины». В нем «смотрины» осуществляет кот хозяина. Девушка, пришедшая в гости к хозяину, ему не нравится, и он всячески это показывает. Конец этого очень смешного рассказа такой:

«— Ну и как она тебе? — спросил я у кота.

— Ноу! — ответил мне кот...»

Можно вспомнить и ранний рассказ Чехова «Злой мальчик», где «третий» — брат девушки — преследует пару, не дает ей целоваться и шантажирует тем, что «все расскажет», вплоть до самой свадьбы, когда пара наконец может ему отомстить... Во всех случаях, как можно заметить, «третий» оказывается лицом деятельным и влияет на происходящее.

¹ См. Александр Чудаков. Поэтика Чехова. М.: Наука, 1971.

² См. <https://proza.ru/2003/04/18-02>.

Иное место у «третьего» в рассматриваемом нами рассказе.

В «Даме с собачкой» шпиц — только предлог для знакомства. И в дальнейшем действии он не участвует. Читателю не сообщается ни его имя, ни пол, ни прочие подробности. Чехову это не важно, эти детали НЕ СУЩЕСТВЕННЫ для рассказа.

Вопрос на засыпку: знал ли Гуров имя собачки?

Оказывается, знал. Но об этом мы прочитаем в третьей главе рассказа, к которой скоро обратимся.

Сейчас же поговорим о второй главе, где герои, у которых завязался роман, прощаются: Анна Сергеевна едет домой, в С.

«Она поехала на лошадях, и он провожал ее. Ехали целый день. Когда она садилась в вагон курьерского поезда и когда пробил второй звонок, она говорила: — Дайте я погляжу на вас еще... Погляжу еще раз. Вот так. Она не плакала, но была грустна, точно больна, и лицо у нее дрожало. — Я буду о вас думать... вспоминать, — говорила она. — Господь с вами, оставайтесь. Не поминайте лихом. Мы навсегда прощаемся, это так нужно, потому что не следовало бы вовсе встречаться. Ну, господь с вами».

Мы видим это прощание, видим обоих — ее и его, Чехов не описывает состояния героев, а передает его с помощью минимальных средств, хотя бы такой детали, что лицо Анны Сергеевны дрожало. Ехали на лошадях целый день, потом она села в курьерский поезд.

Где все это время находился шпиц? Наверное, с хозяйкой. Где-нибудь в переноске или на руках — подобная маленькая собачка весит всего 1—3,5 килограмма.

Герои прощаются НАВСЕГДА. Оба думают, что больше никогда не увидятся...

Но это не так.

А пока Гуров возвращается после курорта в родную Москву, о чем говорится в третьей главе.

Казалось бы, все вернулось на свои места, Ялта и Анна Сергеевна должны забыться... «Но прошло больше месяца, наступила глубокая зима, а в памяти все было ясно, точно расстался он с Анной Сергеевной только вчера. И воспоминания разгорались все сильнее».

Выписываю дальше, так как не в силах оторваться от этого текста, от его магии: «Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень, и следила за ним. Закрывши глаза, он видел ее, как живую, и она казалась красивее, моложе, нежнее, чем была; и сам он казался себе лучше, чем был тогда, в Ялте. Она по вечерам глядела на него из книжного шкапа, из камина, из угла, он слышал ее дыхание, ласковый шорох ее одежды. На улице он провожал взглядом женщин, искал, нет ли похожей на нее...»

В итоге все, что окружает героя в привычной московской жизни, кажется ему бессмысленным и пустым, и в декабре он уезжает в С. — увидеть Анну Сергеевну.

Потом, когда герои встретятся, мы узнаем, что и она все время думала о нем, не могла избавиться от наваждения. «Я так страдаю! — продолжала она, не слушая его. — Я все время думала только о вас, я жила мыслями о вас. И мне хотелось забыть, забыть, но зачем, зачем вы приехали?»

Однако загипнотизированные чеховским текстом мы ушли от своей темы, забыли о белом шпице.

Нужно сказать, что и автор о нем словно забыл, сосредоточив все свое внимание на Анне Сергеевне и Гурове.

И однако, в третьей главе шпиц появляется. И появляется в самый напряженный момент. Представим себе картину: Гуров приехал в С., остановился там в лучшей гостинице, узнал у швейцара, где проживает фон Дидериц. И вот он приходит на Старо-

Гончарную улицу, к тому самому дому, где живет Анна Сергеевна, напротив которого тянется длинный серый забор с гвоздями. «От такого забора убежишь», — думает Гуров, и дальше этот серый забор еще несколько раз встречается в тексте, по-видимому, как некая метафора жизни героини в провинциальном, скучном и сером городишке. Такой же метафорой смотрится и слово «лакей», которым Анна Сергеевна характеризует своего мужа, состоятельного чиновника, владеющего собственным домом и экипажем. Однако по своей сути он — лакей, и даже «ученый значок» у него в петлице смотрится как лакейский номер.

Итак, Гуров ходит вокруг дома, поглядывая то на окна, то на забор, надеясь, что случай ему поможет. Его внимание привлекает каждая деталь, каждый звук... Вот в ворота входит нищий, на него нападают собаки, через час из дома доносятся неясные звуки рояля — это, наверное, она играет.

И наконец... вот он, этот момент: «Парадная дверь вдруг отворилась, и из нее вышла какая-то старушка, а за нею бежал знакомый белый шпиц. Гуров хотел позвать собаку, но у него вдруг забилось сердце, и он от волнения не мог вспомнить, как зовут шпица».

Шпиц здесь — как часть Анны Сергеевны, как ее заместитель, хорошо знакомый Гурову, ведь там, на курорте, где начался и протекал их роман, шпиц был всегда с нею рядом. И не потому ли, не от этих ли воспоминаний у Гурова «забилося сердце» при виде собачки, и он от волнения не мог вспомнить, как ее зовут.

Появление собачки ближе к концу рассказа играет, как уже было сказано, сюжетостроительную роль. Это та «рифма», которая придает рассказу, названному «Дама с собачкой», завершенность и композиционную стройность. Структурная и эмоциональная значимость этого эпизода безусловно компенсирует отсутствие упоминаний о собаке в предыдущем и последующем тексте. Характерно, что мы так и не знаем имя шпица, да и нужно ли оно нам? Для восприятия рассказа важнее то, что Гуров забыл это имя от волнения из-за нахлынувших воспоминаний...

В последней, четвертой главе собачки нет. И это понятно: действие этой главы происходит в Москве куда, под предлогом болезни Анна Сергеевна стала приезжать из своего С. каждые два-три месяца — на свидания с Гуровым. Шпиц в этих поездках был бы для нее обременителен, он остается дома, по-видимому, на попечении упомянутой в рассказе «старушки», которая за ним смотрит и его выгуливает.

Скажу в заключение, что Чехов — подлинный мастер малой формы: смог скухими средствами, без лишних подробностей, создать глубокое, вызывающее в читателе эмоциональный отклик произведение.

А шпиц... он навсегда соединился с образом чеховской Анны Сергеевны, оставшейся в памяти современников и потомков как «дама с собачкой».

Станислав МИНАКОВ

ДОЧЬ ТАРКОВСКОГО, СЕСТРА ТАРКОВСКОГО, МАТЬ ТАРКОВСКОГО...

Светлой памяти Марины Арсеньевны Тарковской

Удивительная фамилия! Такое впечатление, что каждый ее носитель наделен поручением свыше. В советском XX веке мы знали в отечественной культуре отца и сына Тарковских — поэта и кинорежиссера. Сын был известен, конечно, больше — ведь по-прежнему «для нас важнейшим из всех искусств является кино». Да что говорить, первую книжечку отца, прежде рассыпанную в типографском наборе, «Перед снегом» (М.: Советский писатель, 142 с., тир. 6000 экз.), позволено было выпустить в том же 1962 году, так совпало, когда сын получил Главный приз Венецианского международного кинофестиваля за свой первый фильм — «Иваново детство».

В XXI веке любителям русской словесности стал широко известен прозаик Михаил Тарковский — внук поэта и племянник режиссера, давно живущий в Сибири. Его мать — Марина Арсеньевна Тарковская, дочь поэта Арсения Александровича Тарковского, сестра кинорежиссера Андрея Арсеньевича Тарковского. Стоит ли удивляться, что филолог, член Союза кинематографистов Марина Тарковская в один прекрасный момент явила себя как прекрасный русский писатель, прежде всего автор книги о своей выдающейся семье и ее истоках — «Тарковские: Осколки зеркала» (М., 2018).

В предисловии автор мемуарных размышлений отметила: «Книга замышлялась мною как семейная хроника, основанная на документальных материалах. Много времени ушло на их сбор, на поездки в города, связанные с биографией семьи, на работу в архивах России и Украины. Но воспоминания, далекие и близкие, вылились в форму коротких рассказов, каждый из которых вполне мог бы существовать автономно. Однако документальные свидетельства и находки вошли в очерки, составившие немалую часть книги. Я сочла необходимым также включить в состав книги главы, ка-

Станислав Александрович Минаков — поэт, прозаик, переводчик, эссеист, публицист. Автор книг стихов и прозы, энциклопедий и альбомов. Родился в 1959 году в Харькове (УССР). Жил в Белгороде, куда по причинам преследований за инакомыслие вернулся в 2014 году. В 1983-м окончил радиотехнический факультет Харьковского института радиоэлектроники. Член Союза писателей России, Всемирной организации писателей International PEN Club. Из Национального союза писателей Украины исключен в 2014-м после двадцатилетнего членства в организации. Лауреат Международной премии Арсения и Андрея Тарковских (2008), Всероссийской поэтической премии имени Анны Ахматовой (2024) и других литературных и журналистских премий России и Украины.

сающиеся лирической поэзии Арсения Тарковского, которую невозможно отделить от его личной судьбы...»

В качестве примера приведу цитату из этой книги — об отце, фронтовике, потерявшем ногу под Великими Луками: «Прошла война. Папа жил уже в Варсонофьевском переулке. Однажды он шел по Кузнецкому мосту мимо зоомагазина, и там пьяный мужик продавал маленького грязно-серого щенка. Мужик, сильно качаясь, грозился убить щенка, если его немедленно не купят. Папа не вынес угроз и купил, хотя жил на шестом этаже без лифта и ходил на костылях. Он положил щенка за пазуху, а добравшись до дома, обнаружил у него несметное количество насекомых. В панике он вызвал по телефону маму. Мама бросила все дела и поехала к папе мыть щенка. После мытья белый и пушистый щенок заснул. А мама поехала домой. Но история повторилась, и через неделю этот щенок по имени Ступка уже жил у нас на Щипке. Он оказался милым псом, добрым и ласковым. Выполнял разные команды Андрея, а гулять выпрыгивал через форточку...»

Или устное воспоминание о моменте, когда во время войны отцу дали отпуск по получении ордена Красной Звезды: «Вообще, это тоже замечательная история военная папина. Ну, он был военным корреспондентом и писателем, ну, так называлось: писатель газеты „Боевая тревога“. Это Западный фронт. Название менялось этого фронта, под конец он стал, по-моему, 2-м Белорусским, если не путаю. В общем, папа мог подолгу оставаться на передовой, потому что шли бои. Если он попал как раз в тот момент, когда идет бой, естественно, что он оставался там и воевал, как все остальные вокруг него, командиры и красноармейцы, или уже потом солдаты, по несколько дней.

Я сейчас перечитываю эти письма военные. Это все было страшно, конечно. Папа пишет, что вот сейчас вернулся, шесть дней лежал в снегу, зарывал голову в снег и снег этот жевал, чтобы хоть что-то пить, а кругом был дикий обстрел: и минометный, и бомбы, и самолетные бомбы. В общем, какой-то ад. И он говорит, что когда попал под снайпера, то это показалось просто домом отдыха...»

11 июня 2024 года Марина Тарковская ушла из жизни на 90-м году.

Мне посчастливилось лишь один раз встречаться с этим удивительным человеком, полтора десятка лет назад, но свет от той встречи не сяднет.

Через несколько лет после встречи я проводил изыскания о знаменитой «Волховской застольной» поэта Павла Шубина и понял, что речь идет, как минимум, о двух песнях, точнее, о трансформации песни. Сообщалось, что слова написал в начале 1943 года П. Шубин, корреспондент газеты Волховского фронта, на мелодию песни белорусского композитора И. Любана «Наш тост», сочиненную годом раньше, в 1942 году. Иногда среди авторов текста песни «Наш тост» был указан и Арсений Тарковский (порой без инициалов, в некоторых тиражах старых пластинок даже как Парковский и Тарновский), вроде бы делавший литературную обработку текста, написанного бывшим шахтером Матвеем Косенко, рядовым стрелкового батальона, где служил замполитом композитор И. Любан. Косенко и Тарковский указаны и на пластинке, где песня «Наш тост» исполнена в 1942 году солисткой минской оперы Ларисой Александровской, народной артисткой СССР, лауреатом Сталинской премии (1941) и однокашницей И. Любана. Пластинка в тираж не пошла, но было замечено наличие дополнительного куплета, заканчивавшего песню в такой версии: «Пусть пожеланием тост наш кончается — / Кончить с врагом навсегда! / С песней победы вновь возрождается / Наша родная страна!»

Усомнившись, я решил выяснить, какое отношение имел к тексту поэт Тарковский. Тогда-то Марина Арсеньевна, занимавшаяся историей этого текста (и именно после

ее публикации текст песни и был размещен в Интернете), в частном письме по моей просьбе сообщила: «В конце 1942 г. при 11-й дивизии маршалом Баграмяном был отдан приказ о создании Ансамбля песни и пляски, для которого и была написана песня „Гвардейская застольная“. Папа переделал первоначальный текст Косенко, у Тарковского было, по-моему, 4 куплета (не было никакой „чашки“). Поясню: в исполнении Л. Александровской пелось не про чашу, как у И. Юрьевой, а «Так и подыдем полную чашку, / Выпьем за наших детей!»

Наблюдение дочери поэта точное: литературное качество последних строф весьма сомнительно. Никак невозможно предположить, что к ним приложил руку Тарковский, выдающийся мастер русского стихосложения.

Ну а сама встреча с М. Тарковской была для меня отрадной и комплиментарной.

История такова. В Киеве, в Доме кино 26 сентября 2008 года впервые вручалась Международная премия имени Арсения и Андрея Тарковских. Идея премии отца и сына Тарковских, объединяющей кинематограф и поэзию, была обнародована годом раньше, в 2007 году, Мариной Тарковской, а также актрисой Маргаритой Тереховой, исполнительницей главной роли в фильме Андрея Тарковского «Зеркало», и координатором и организатором фестиваля «Каштановый дом» киевским поэтом Андреем Грязовым. Воплотить проект в жизнь помогла финансами корпорация «Индустриальный Союз Донбасса» (ИСД, председатель совета директоров С. Тарута).

Киевская пресса писала: «И как же интересно было узнать, кто станет первым обладателем этой объединительной литературно-кинематографической награды! Наконец названы их имена и их города: Москва, Киев, Харьков. Среди режиссеров лауреатами стали Вячеслав Амирханян, друг Арсения Тарковского и автор двух документальных фильмов о нем („Его фильмы сохранили нам образ живого поэта“, — заметила на церемонии Марина Арсеньевна), а также киевский режиссер документального кино Ольга Самолевская. В литературной номинации премии Тарковских удостоен известный харьковский поэт Станислав Минаков. Специальный диплом получил молодой режиссер-дебютант Дмитрий Сухолиткий-Собчук (Киев), за фильм „Отрочество“.

Награды победителям вручила председатель жюри премии М. А. Тарковская, а в числе почетных гостей фестиваля были известный режиссер, друг и однокашник Андрея Тарковского Александр Гордон, поэт Белла Ахмадулина и художник Борис Мессерер.

Вручая лауреатский диплом за том стихов „Хождение“ (Москва, 2004) Марина Тарковская точно определила меру человеческого и космического в стихах Минакова: „Мне кажется, что это поэт с чрезвычайно своеобразным, оригинальным, глубоким, поэтическим миром и взглядом на то, что происходит во Вселенной. Дай ему Бог творчества, сил, мужества и вдохновения. Слава Богу, украинская земля не оскудевает русской литературой и продолжает лучшие поэтические традиции, которые идут издревле, может быть, еще от Григория Сковороды...“»

И поэзия Арсения Александровича, и фильмы его высокоодаренного сына, начиная от «Иванова детства» и заканчивая «Жертвоприношением», есть свидетельства интенсивной духовной жизни этой семьи, представшей перед нами, современниками. Для меня нет никакого сомнения: без Тарковских мы были бы другими. О себе могу сказать это с полной определенностью. Оба этих имени, а также их лучшие произведения ношу в себе как бесценное сокровище. В эту же копилку легла теперь и книга-исповедь Марины Арсеньевны, посвященная судьбам нескольких поколений семьи Тарковских. Потому премия, объединяющая два великих имени, полученная из светлых рук Марины Арсеньевны, не только особо высока и лестна для меня, но еще и ко многому обязывает.

Прежде чем прочесть свои стихи перед переполненным Синим залом киевского Дома кино, я говорил, помнится, что сам посыл — учредить премию отца и сына Тарковских — представляется грандиозным, и помимо духовно-эстетической, сущностной объединительной составляющей в этом усматриваем также, если угодно, историко-географическую: ведь Арсений Александрович родился в Новороссии, включенной потом в УССР, а именно в Елисаветграде (в советское время Кировоград), а его сын, Андрей Арсеньевич, родился в Ивановской области, вырос в Москве; потому отец и сын словно образуют встречный друг другу поток, сцепляющий Украину и Россию — особенно в наше время, когда некоторые власть имущие исповедуют принцип разделения и противопоставления. Послание, которое нам сообщают отец и сын Тарковские, есть послание любви.

С юности эти имена для меня — рядом. И с трепетом повторю слова моего друга, московского поэта Алексея Ивантера, кстати, издателя моей книги: «Когда произносятся имя Арсений Тарковский, мне хочется встать».

В 2009 году премией имени Тарковских были отмечены известные поэты Светлана Кекова (Саратов) и Иван Жданов (Алтай—Москва—Симеиз).

Именно доктор филологии С. Кекова напоминает нам, что поэт Тарковский учился у академика Вернадского, который снабжал его книгами о Павла Флоренского и о. Сергия Булгакова и развил теологическое мышление поэта. По замечанию исследователя Т. Чаплыгиной, так складывалось у Арс. Тарковского, «последнего поэта Серебряного века», сложное соотношение «знания и веры, ума и сердца, богопознания и богообщения, поступка и воздаяния за него, границ свободы духа и заблуждения, смерти и бессмертия человека».

Марина Арсеньевна достойно продолжила несение духовной ноши Тарковских как послание и долг.

РЕЦЕНЗИИ

ПОЭЗИЯ КРИТИКИ

Сафронова Е. В. Улица с фонарями. Книга критических статей. — Рязань: ИП Коняхин А. В. (Bookjet), 2023 — 388 с.

Среди многочисленных ниш современного литпроцесса одна по-прежнему остается относительно свободной и открытой для пополнения. Речь, безусловно, о критике. Елена Сафронова — автор книги «Улица с фонарями» — знает, как заинтересовать своего читателя. Немного занимательности, значительная доля познавательности и обязательный элемент открытия — в итоге получаем универсальный рецепт хорошей критической статьи.

Название сборника — «Улица с фонарями» — определяет главную функцию критики в авторском понимании. Оно взято из известного высказывания Самуила Маршака: «Литература без критики подобна улице без фонарей», сделанного эпиграфом сборника. Ее же, критики, цель, в глазах Сафроновой — не только осветить не до конца изученные, «темные» зоны литпроцесса, но и высветить уже известные факты, судьбы, биографии в неожиданном ракурсе.

У четырех разделов книги есть особая драматургия. В каждой отдельно взятой работе присутствует и экспозиция, и завязка, и кульминация, и даже развязка. И своя образность.

Первый раздел — «Процессы» — представлен масштабными критическими обзорами. И первый же из них, посвященный современной российской прозе, имеет своеобразный центр притяжения. Довольно необычно сопоставление современного литпроцесса с катамараном, имеющим трехчастную структуру: корпус левый — «отсутствие положительных героев в романах и повестях наших современников», корпус правый — «сосредоточенность оных современников на жизненной боли, страхе, стрессе, травме» и балансирный поплавок — «развлекательная литература». Статья «Катамаран современной русской прозы» продолжает характерную для критического дискурса Е. Сафроновой тему: «...являются ли протагонисты современных книг героями в «героическом» смысле слова, продолжением стремления Федора Достоевского изобразить положительно прекрасного человека?» Для рассмотрения этого вопроса в данной статье критик привлекает сочинения авторов литературного мейнстрима, книг «премиальных» и широко распространенных на книжном рынке: З. Прилепина, Р. Сенчина, А. Иванова, Э. Веркина, А. Рубанова, А. Старобинец, О. Славниковой, Е. Некрасовой и т. д. Конечно, этим списком круг писателей — наших современников — далеко не исчерпывается. Например, у таких известных петербургских авторов, как Попов, Кураев, Обух, Мосова, Мелихов, как раз почти все герои «положительные». Критик говорит о тенденции, лежащей на поверхности, но не определяющей все текущую литературу. По мнению Сафроновой, по текстам указанных ею авторов просматривается пересмотр понятия положительного героя в литературе: таковыми становятся не самые благородные, а самые практичные либо «отчаянные» персонажи.

Все статьи раздела «Процессы» затрагивают актуальные, животрепещущие темы современного литпроцесса. Здесь и размышления о нашумевшем романе Яхиной «Зулейха», и обзор современных писательских биографий, и кропотливая оценка творчества двух именитых критиков — Ольги Балла и Александра Чанцева, и даже статья о сборнике новелл Бориса Акунина¹ «Нефритовые четки». Последняя написана и опубликована задолго до того, как беллетрист был признан иноагентом, и она сразу погружает нас в атмосферу интриги и неразгаданной тайны. В частности, исследуется круг европейских первоисточников книги, перечисленных Акуниным на титульном листе. Текст читается легко и занимательно, не лишаясь при этом должной информативности.

Во втором разделе книги — «Персоны» — собраны поэты разных эпох и разных литературных направлений. Михаил Лермонтов, Иван Бунин, Михаил Светлов, Евгений Винокуров, Николай Рубцов... Казалось бы, что может их объединять? Но не покидает ощущение чего-то единого, общего, угадываемого во всех историях. Вероятно, это попытка отыскать ключ к каждой биографии — понять уникальность творческой личности.

Вне всяких сомнений, оригинальность подачи материала — фирменный знак критической прозы Елены Сафроновой. Первая статья раздела («Лермонтов — родственник Байрона») имеет подзаголовок «Нота чужестранства в поэзии Лермонтова». О Лермонтове-чужестранце, одиноком скитальце и изгое, мы как будто слышаны. Но многие ли знают о шотландских корнях поэта по отцовской линии? Эта подробность сразу включает творческую биографию Михаила Юрьевича в некий мифологический контекст, отсылающий нас к загадочной фигуре Томаса Рифмача из Эрседдуна: «Михаил Юрьевич был уверен, что происходит из рода этого певца-сказителя, так как „мирская“ фамилия Томаса была Лермонт. Спустя восемьсот лет в этом не усомнились официальные лица и деятели культуры из России и Шотландии». Чем же все закон-

¹ Внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов.

чилось? А закончилось тем, что спустя почти двести лет «мятежная и неприкаянная душа» поэта обрела свою шотландскую родину в Эрселдун-Эрлстоне, где относительно недавно ему был поставлен памятник.

Хрестоматийный Лермонтов уходит на задний план — вместо него возникает образ совсем другого автора — увлеченного книгами Вальтера Скотта, через всю жизнь пронесшего любовь и тоску по своей духовной родине, автора «Аула Бастунджи». Но даже в традиционных «Тучках» совершенно неожиданно высвечивается мотив мистической Шотландии, куда устремлены сокровенные мысли поэта.

Много любопытных фактов находим и в последующих статьях. Иван Бунин — «первый русский хейтер» — в итоге таковым не оказался в силу природного такта и нежелания называть (обзывать) «живого автора». «Блистательная ложь Михаила Светлова» не в том, что он «отказался от родовой фамилии Шейнкман и от отчества Аронович», а в системном нарушении им же самим выдвинутого в стихотворении «Живые поэты» правила «не бросать под колеса своих героев». Бросал, и довольно часто!

Евгений Винокуров — поэт-фронтовик, редактор отдела поэзии журналов «Октябрь» и «Новый мир» — на поверку оказался проникновенным лириком и автором эротической поэзии. Замыкающая этот ряд фигура Николая Рубцова воспринимается как самая трагическая фигура в истории советской литературы. К слову сказать, история непростых любовных отношений Рубцова и Дербиной известна многим не понаслышке.

В третьей части тетраптиха речь идет о земляках Сафроновой — рязанских малоизвестных поэтах Владимире Доронине и Александре Архипове. Это не традиционная дань, обусловленная принадлежностью своему региону. Это в какой-то мере и восполнение двух значимых пробелов в истории современной региональной литературы.

Владимир Доронин — автор, практически не издававшийся при жизни, окончивший свои дни в доме для престарелых — предстает перед читателем как выдающийся, скрупулезный критик и самобытный поэт, достойный пристального изучения потомками.

Что касается Александра Архипова, то о нем автор статьи отзывается как о «последнем, быть может, не рязанском, а российском имажинисте». Упоминается здесь и об одном досадном обстоятельстве — точнее, недоразумении, связанном с одним из лучших стихотворений Архипова «Коловрат». Вышло так, что в Интернете этот текст был напечатан с чужой подписью. Сафронова здесь проявляет себя не только как внимательный критик, но и как человек, с уважением относящийся к литературе и литературным фактам. «Скверно, если ошибка будет и дальше цепляться за ошибку. Автор прекрасного стихотворения достоин того, чтобы люди знали правду», — отмечает она в конце статьи.

Книга критических статей завершается разделом «Прямая речь». Здесь собраны интервью с разными писателями и культурными деятелями. Выбор интервьюируемых и, как следствие, самого предмета разговора подчиняется определенной логике. В каждом случае речь идет о какой-либо значимой фигуре литпроцесса или о заметном литературном явлении. Так начинается все с вопросов поэту и барду Александру Городницкому. И цель интервьюера — не просто что-то выяснить, а постепенно, по ходу действия, сформировать у читателя нравственный и духовный облик творца, живущего в соответствии с законами, установленными его же собственным творчеством. При этом самое интересное ожидает читателя в конце опроса:

«— Александр Моисеевич, последний вопрос остался. Он всего один, но один стоит целого блока вопросов. О жизненной стойкости...»

Далее автор опрашивает Евгения Попова и Михаила Гундарина — соавторов книги о Фазиле Искандере, автора «современной саги о космосе» Сергея Литвинова, со-

временного прозаика Илью Кочергина, «удалившегося от мира в рязанскую глубинку», и Владимира Новикова — знатока творчества и биографа Вениамина Каверина.

И всегда получается так, что непринужденный диалог перерастает в развернутую дискуссию, в контексте которой возникает образ неординарной, выдающейся личности на фоне эпохи. Человек и время, время, отраженное в человеке, человек, определивший собой облик времени, — пожалуй, все вращается вокруг этих глобальных тем. А еще каждое интервью — это история о духовном восхождении личности, ее «стремление ввысь», как указано самим автором в заголовке интервью о Каверине.

И вся книга, если вдуматься, не что иное, как приглашение читателя к диалогу, ненавязчивая просьба совершить духовное усилие и проникнуть в суть как самого литературного явления, так и частной судьбы творца, это явление составляющей, определяющей пути культурного развития социума.

Голос автора слышен в книге всегда — это наш путеводитель. Но нет в голосе ни категоричности, свойственной иной раз критику, ни жесткости, ни самодовольства. Есть спокойная констатация факта, интонация размышления и еле уловимая музыка — пульсирующий ритм эпохи или даже эпох, в единении с которыми и написана каждая статья. Оттого, быть может, книгу так легко и увлекательно читать.

А если принять во внимание образность и аллегоричность авторского языка, то напрашивается весьма любопытный вывод. Елена Сафронова стала своеобразным первооткрывателем в области литературы, создав ее новый жанр — поэзия критики.

Елена СЕВРЮГИНА

КНИЖНЫЙ ОСТРОВ

Михаил Синельников. Красные листья Гомбори. Книга о Грузии.

СПб.: Алетейя, 2024. — 486 с.: ил.

Большую часть сборника занимают избранные переводы Михаила Синельникова произведений грузинских поэтов, в основном работавших в прошлом веке. Многие из них стали классиками грузинской литературы. Всего представлено более четырех десятков авторов, среди которых — И. Чавчавадзе, Г. Табидзе, К. Надирадзе, Г. Леонадзе, К. Каладзе, И. Абашидзе и многие другие. Их стихи проникнуты любовью к своей стране, к ее природе, истории, преданиям, к собственному народу. Поэтически воссоздавая во всем их щедром многообразии пейзажи родной страны, поэты всегда конкретны, привязаны к определенной местности: Кахети, Колхети, Месхети, используют топонимы как значимые метафоры: Сванские башни, горы Гурии, карталинская дорога, квишхетские липы. Посещение древнего города хеттов в Анкаре дарит радость припоминания: Хети, Колхети, Месхети... Грузинская поэзия — это и богатство образов: античных, библейских — ветхозаветных и евангельских, навеянных национальной мифологией. Это и свободное владение западноевропейским и русским культурным наследием: органично входят в тексты поэтов песнь Одиссея, Данте, Джоконда, праздник Офелии, Шекспир, Пушкин, письмо А. Ахматовой, могила Б. Пастернака. М. Синельников не только переводчик таджикской, персидской, грузинской, армянской поэзии, которая благодаря ему на русском языке созвучна подлинникам, но и великолепный поэт с «лица не общим выраженьем». Уже его первые стихи начала 1970-х

годов отметили известные литераторы: В. Каверин, А. Тарковский, М. Зенкевич, Б. Слуцкий. В. Каверин, в частности, выделил такие основные черты поэтического языка молодого поэта: «Стихи его отличаются богатой и подчас неожиданной образностью, заботой о мелодичности, широтой кругозора...» В 1970 году поэт А. Межиров вовлек еще довольно молодого человека в грузинские переводы. В 1971 году Синельников впервые приехал в Тбилиси. «Впечатления были потрясающие. Я бы сказал, что застал вечер Тбилиси. Но это была еще не глухая ночь. Я видел там удивительных людей, удивительных писателей. Я застал закат. Но роскошный». Грузинские мотивы прочно вошли в творчество поэта. Стихи о Грузии появлялись в каждой из его стихотворных книг, здесь они собраны воедино. В них Грузия явлена во всей ее красе, с ее самотной и пышной природой, с колоритным бытом ее жителей:

Грузинских пиршеств пенье хоровое
Гремит до помрачения ума.
Ревет шашлык, спешащий с водопою,
А на холмах блуждает хашлама.
Томится скот, утаптывая травы,
И на губах баранов и коров
Цветут и вянут пряные приправы
Беспечных песен, будущих пиров.

(«Пир», 1975)

Там в топочущий бешеный круг соединялись танцоры, исполнявшие грузинский танец хоруми; там каждое вино — кинзмараули, хванчкара, саперави, мукузани — имело свой неповторимый вкус и назначение. Там — «весь чин старогрузинского уклада, / Ночь, красноречье, чар вина и чада. / Рог буйвола в черном серебре». «Хоры, танцоры, горластые дети...» И «как при кесарях, как при эмире, / при царице Тамаре, при Берии ночью и днем / все рождается хлеб и колеблется пламя в тандыре». В стихах Синельникова, как и у грузинских поэтов, Грузия многообразна: ветры в долине Риони, древние сакли Архоти, усыпанный красными листьями перевал Гомбори из Картли в Кахетию, Верхняя Хевсуретия, где эль и меч крестоносцев — естественная часть быта. Особой любовью поэта стал Тбилиси, фиолетовый в сумраках и розоватый на заре, его узкие улочки, тысячелетняя обжитость деревьев и домов, город ночных арестов и пиров. Тень Берии не раз появится в стихах. В этом городе поэту знаком каждый закоулок и дом, там «все читали стихи, все писали стихи, а потом / началось избавленье от ига российского слова».

Но только не стало поэтов
И музыки в каждом дворе.
Нет живописцев отменных,
Видевших жгучие сны....
Вялое солнце на стенах
И голоса тишины.
Шорох столетий отцветших...
Ни франтоватых зевак,
Ни городских сумасшедших,
Знавших, что будет вот так.

(2014)

Что ж: «Не выжил мир, в котором все мы жили, / рассыпался и разбежался круг» (1996). Красочный мир Грузии, ее насыщенная звуками, красками, запахами аура живет в стихах поэта. Много стихотворений-посвящений. Заключительная часть книги — мемуарные новеллы, где поэт повествует о переплетении судеб грузинских поэтов и русских гостей Грузии, которым она всегда дарила ощущение своего вечно праздничного быта и свободы. В основе очерков — лично пережитое или известное из уст надежных свидетелей миновавшего столетия. Очерк «Хозяин и гость» — это объемное предисловие, написанное Синельниковым когда-то к книге «Зов Алазани. Шедевры грузинской поэзии в переводах русских поэтов». Фактически очень живая, неформальная история русско-грузинских литературных, в первую очередь поэтических связей и влияний, личных и творческих, начало которым было положено еще в XIX веке Пушкиным и Лермонтовым. Расцвет пришелся на семь десятилетий XX века. Созвездие имен, цвет грузинской и русской литературы, тесное общение и совместная работа классиков двух литератур, вдохновлявших друг друга. Честь открытия грузинской лирики с Б. Пастернаком принадлежит Н. Тихонову. Эпохой в мире грузинских переводов стали грандиозные творения Н. Заболоцкого. Синельников размышляет о встречном влиянии поэзии на поэзию, об энергетическом воздействии переводимого поэта на поэта переводящего. О том, как для переводчика чужеземный воздух вдруг становится родным. О взаимном влиянии культур, обогащающем обе стороны. Сам Синельников принял участие в переводческой работе уже на позднем этапе, когда это дело одряхлело и выдохлось. «Содружество поэзий и братство поэтов все откровенней сменялось поденщиной, бесперебойным конвейером имперской полиграфии. А ведь Пастернак, Тихонов и Заболоцкий дружески общались с Тицианом Табидзе, Леонидзе, Чиковани, пили с ними „кахетинское густое“ и не нуждались в посреднических чиновниках». «За Архотским перевалом» — это воспоминания о том, как летом 1974 года большая компания московских литераторов, собравшихся в Тбилиси, двинулась в Хевсуретию, в вольные хевсурские горы, где все дышало подлинностью, невыдуманными подробностями эпоса. В постскриптуме — комичная история о том, как В. Шкловского, уже видного в то время литератора, местные охотники приняли за горного дэва и что из этого вышло. Героями других очерков являются К. Надирадзе, рассказывающий об Андрее Белом и его жене, Б. Пастернак, поэт и крупный грузинский функционер И. Абашидзе, А. Тарковский как переводчик стихов Сталина и чародей С. Параджанов, одинокий даже в многолюдье.

Публикация подготовлена
Еленой ЗИНОВЬЕВОЙ

Редакция благодарит издательства
за предоставленные книги

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ХАРБИН — «РУССКИЙ КИТЕЖ» Часть 19

Страстная седмица

С. С. Троицкая: «Серьезной подготовки как от регента, так и от солистов и хора требовала Страстная неделя Великого поста. Необходимо было сосредоточить все физические и духовные силы на исполнение нужных для каждой службы этой недели песнопений»¹.

Чистый понедельник

Епископ Нестор (Анисимов): «Утром, в Чистый понедельник, все двадцать с лишним харбинских храмов гудят медленным заунывным колокольным звоном, зовут на покаянную молитву. Даже внешний вид улиц города меняется с этого дня: становится скромнее, тише, сосредоточеннее народ на улицах. Меняется вид храмов внутри. Черным флером задернуты иконы Воскресения Христова, и в черных ризах совершаются богослужения. Вечером на первой неделе читается в церквях канон Андрея Критского, этот чудный, умильный, покаянный вопль грешной души с мольбой о покаянии, с горячей жадной очищения»².

Н. Н. Лалетина (Николаева): «С понедельника начиналась Страстная неделя, готовились к Пасхе, надо было поговорить. На Страстной мама говела в церкви Преображения, а мы со школой — в храме Покрова, своего учителя Закона Божьего о. Иоанна Труфанова»³.

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.

¹ Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm Дата посещения 03.05.2024.

² Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 40.

³ Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 32.

Чистый вторник

Г. В. Мелихов: «Еще идет Страстная седмица, а витрины магазинов, булочных и кондитерских, газетные страницы начинают пестреть рекламой, предлагающей всевозможные пасхальные подарки и все необходимое для праздничного стола. На десятках уже нарядных витрин — замысловато украшенные шоколадные яйца, разных размеров, пустотелые, с обязательным „сюрпризом“ внутри — каким-нибудь простеньким подарком, шоколадные же зайцы, барашки, „бомбы“. Продолжается пост, а в магазинах и на базарах усиливается спрос на скоромные продукты: мясо, дичь, домашнюю птицу, высших сортов рыбу, икру — хозяйки делают закупки к наступающему празднику. Наибольшим всеобщим спросом пользуются яйца. В писчебумажных и книжных магазинах — масса красочных поздравительных открыток с буквами „Х. В.“ — Христос Воскресе!»⁴

Великая среда

Г. В. Мелихов: «Великая среда. В церкви — главное воспоминание этого дня миропринижение блудницы, которая, припав к ногам Христовым, омывает их слезами и мажет мирром. Сегодня вечером и церковь, в отличие от других дней, совершает таинство соборования не только тяжело болеющих, но всех желающих...

А дома? — Дом уже наполняют ароматы пекущихся печений, коврижек, но главное „таинство“ — выпечка куличей — еще впереди. Сколько воспоминаний!.. Куличи — особенно трепетная забота мамы. У нас дома они всегда делались „тяжелыми“, сдобными, в тесто клалось много яиц, специй, сдобы. Его долго замешивали, ожидали, когда оно „подойдет“ — сначала в квашне, затем будучи разложенным в куличные формы и формочки разной высоты и размеров. Нельзя было шуметь в это время и, упаси Бог, хлопнуть дверью! Куличи „сядут“. Следующий пик напряжения — выпечка. Тоже высокое искусство...

Наконец, украшение куличей. У нас — бралась белая салфетка, вымачивалась в „глазуровке“ — густом растворе сахарной пудры — укладывалась на вершину кулича и обсыпалась многоцветными „маковыми зернышками“ (не помню теперь, как их правильно называли!), сбоку кулича выводились крупные буквы „Х. В.“. Восковыми фигурками, цветами куличи в нашем доме не украшали»⁵.

Г. В. Мелихов: «Говеют школьники. Ходят в церковь на службы; в среду после утреннего богослужения исповедуются в своих детских грехах у священника, получают под епитрахилью их отпущение; приходят на всенощную; и в Великий четверг, в праздничной школьной форме, причащаются Святых Тайн»⁶.

Великий четверг. День Тайной вечери

Г. В. Мелихов: «Дóма красили отваренные вкрутую яйца, достигая в этом деле подлинных шедевров. А как красили! Непременно всей семьей, в стаканах, где разводился каждый цвет специальной краски для крашения яиц. Напоследок в эти стаканы наливалось несколько капель растительного масла, и яйца, которые опускали попеременно в разные стаканы, получались „мраморными“, многоцветными. Часто мы разрисовывали их и вручную. В плоские плошки заранее сеялся овес, и в его проросшие зеленые

⁴ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 319.

⁵ Там же. С. 320.

⁶ Там же. С. 267.

ростки или в красивые корзиночки эти яйца укладывались — разумеется, с тщательным подбором цветов и рисунков. Еще одна милая семейная традиция...

Вся церковная служба этого дня — трепет принятия такого дара, как Тело и Кровь евхаристии. Чтение Двенадцати Евангелий. Весь путь Сына Божия к Голгофе. В соборе величественное пение „Разбойника благоразумного“ в исполнении Сенички Коростелева...

Чин богослужения, пришедший к нам из Иерусалимской Церкви, включал в себя молитвы и службы, совершавшиеся в местах страдания Господа на его пути от Гефсимании до Голгофы. По ним совершался крестный ход, продолжавшийся всю ночь, а с наступлением ночной тьмы в нем зажигались свечи и светильники. Отсюда и обычай Церкви: верующие выходят из храма с зажженными свечами-четверговками и стремятся донести их живой трепещущий огонек до дома. А чтобы он не погас по дороге, китайцы, прекрасно знавшие русские православные обычаи, предлагали у всех церквей собственного изготовления бумажные фонарики... Пламенем свечки делали на верхней перекладине косяка входной двери крест»⁷.

Страстной четверг

По старой улице моей
течет, плывет поток огней.
Страстной четверг.
Густая мгла.
Роняют звон колокола.

А я тону в реке огней,
Сливаясь, растворяюсь в ней.
И четверговую свечу
от ветра оберечь хочу.

Ее взволнованный огонь
теплом мне дышит на ладонь.
И капелькой тягучих слез
на пальцы натекает воск.

Апрельский ветер, не спеши!
Мою свечу не потуши.
Мне радостно огонь живой
Из храма донести домой.

Но кто-то обогнал меня.
Но кто-то попросил огня.
И я по-доброму хочу
Зажечь погасшую свечу.

Страстной четверг,
Горящий свет.
А мне всего двенадцать лет...

⁷ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 320—321.

Чернеет бархатная мгла.
И надо всем — колокола⁸.

Вера Кондратович-Сидорова

О. А. Скопиченко: «...настоящая русская весна, когда природа медленно просыпается, и начинают набухать почки на деревьях в харбинских садах. Когда строго соблюдается Великий Пост, и люди идут в церкви: в Монастырскую, Софийскую, Благовещенскую, в Иверскую и в наш собор, в эти дни замирала веселая жизнь харбинцев, храмы были переполнены молящимися, и мы, гимназисты, студенты, школьники, отстаивали величественные и скорбные службы в наших гимназических церквях, готовясь к Великому Празднику Воскресения Христова. Тогда даже самым большим скептикам не приходило в голову, что наступит время, когда в свободном мире будут отменены молитвы в школах. Помните моление в Великий Четверг, толпы людей, бережно несущих четверговую свечу, защищая ее рукой от легкого весеннего ветерка»⁹.

Н. Г. Шарохин: «...Страстная неделя с долгими службами, Великий Четверг со чтением великих страстей (страданий) Христовых. После богослужения все выходили с горящими свечами, которым приписывали особое значение, называя „четверговая свеча“. Я раздобыл большой железнодорожный фонарь, помещал туда и доставлял домой горящую свечу, от которой зажигались лампы. Четверговая свеча хранилась многие годы»¹⁰.

С. С. Троицкая: «В Великий Четверг солисты должны были петь Разбойника — центральное песнопение службы, которое ожидали, можно сказать, с волнением даже молящиеся, не только певцы»¹¹.

Протоиерей Евгений Ланский: «Китайцы — нация удивительной приспособляемости. Помню, они чувствовали: если что-то было нужно, тут же готовили, мастерили. Еще во всех храмах Харбина в Страстной Четверг шла служба Двенадцати Евангелий, а везде уже продавали красивые китайские фонарики, чтобы после службы свечу, не гася, поставить туда и нести домой. Весь город тогда язычками света заполнялся...

По утрам по улицам ходили китайцы — их называли „ходи“ — с коромыслом и двумя корзинами. Там было все, что нужно хозяйке из продуктов на день. Китайцы русских мужчин называли „капитана“, а женщин — „мадама“. И вот бабушка моя ранним утром — старенькая, не спится ей — выходила дышать воздухом, стояла у ворот, а ходя, завидев ее, кричал: „Мадама, цибули нема“. По-украински значит: „Лука нет“»¹².

Епископ Нестор (Анисимов): «И в Великий четверг на Двенадцати Евангелиях, когда перед Святым Распятием звучит великая священная повесть евангельская о страдании Спасителя, и в Великую пятницу, когда совершается вынос Плащаницы, не удивитесь, если встретите в Харбине за богослужением евреев, язычников — японцев, китайцев и других иноверцев. Это чудное, умильное наше богослужение, это вдохновенные хоры и в душу проникающее пение привлекли не ведающих Христа людей в святыне Христовы храмы»¹³.

⁸ Кондратович-Сидорова Вера // Газета «Харбин». Новосибирск, апрель 1992. № 2. С. 2 (стихотворение русской поэтессы, харбинки из Омска).

⁹ Скопиченко О. А. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1993. С. 57.

¹⁰ Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 23. С. 56.

¹¹ Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

¹² Ланский Евгений, прот. Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25).

¹³ Нестор, епископ. Маньчжурия — Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 40.

Н. Н. Лалетина (Николаева): «Существует поверье, что Страстной Четверг — это Чистый Четверг, и раным-рано нужно подняться со сна и при первых лучах восходящего солнца, прочтя молитву, умыться с колодца или речки водицей, чтобы смыть все нечистое. В Страстной Четверг ходили с соседскими девочками в Корпусновскую церковь Преображенья, там было близко от дома, а надо было поздно возвращаться. Двенадцать Евангелий отстоять — дело не шуточное, да потом еще суметь принести домой Святой огонь, которым ставили крестики над входными дверьми, обереги от злых духов. Китайские фонарики успешно Огонь оберегали, но, если у кого-то он вдруг затухал от дуновения ветерка, его дружно зажигали шедшие рядом подружки»¹⁴.

Г. В. Хатковский: «В Чистый четверг служба в храмах была очень торжественной. Все храмы переполнены молящимися, у которых в руках мерцали свечи. Под сводами храма раздавался голос священника, повествующий о Страстях (страданиях) Господних, читались 12 Евангелий, перед чтением колокол отбивал определенное количество раз. После окончания богослужения каждый стремился донести до дома святой огонек, который помещали в специальный складной фонарик, купленный у входа в храм у китайцев, а дома от этого огонька зажигали лампаду перед образами»¹⁵.

М. П. Таут: «В Чистый Четверг, вечером, после двенадцати Евангелий по улицам города растекается ручеек тщательно охраняемых от ветра огоньков; люди несут домой зажженные в храме свечи, чтобы засветить от них лампы перед образами и сделать коптящим пламенем знак креста на верхней притолоке двери. Я очень переживала, удастся ли мне донести до дома мою горящую свечку, помещенную в бумажный фонарик, и, конечно, именно от нее зажгли лампаду в той комнате, где я спала»¹⁶.

Великая пятница

Г. В. Мелихов: «Это ожидание, укрепляется с каждым следующим днем Страстной седмицы, уже наполненным все новыми и новыми предпраздничными хлопотами, становится чем-то совсем очевидным, осязаемым, после говенья и очищения от всех своих грехов, святого Причастия... И чувство это радости и счастья все более укрепляется и поддерживается торжественными церковными службами в Великий четверг и Великий пяток — четверг и пятницу на Страстной неделе, нарастающей в доме и в городе предпраздничной хозяйственной суетой»¹⁷.

<...> В Светлую и Великую пятницу дома делались всевозможные сырные (творожные) пасхи — из обычного творога, творога из топленого молока, шоколадные. Заблаговременно заказанный творог укладывался под пресс, тщательно растирался с добавлением сливочного масла, крутых желтков, цукатов, изюма, ванили, других специй. Вся масса укладывалась в выстланные марлей деревянные формы в виде пирамидки и снова помещалась под пресс. Вкусноты они были, все эти пасхи, необыкновенной!

В церквях — служба святых страстей, вынос и целование святой Плащаницы»¹⁸.

С. С. Троицкая: «В Великую Пятницу на утрени во время чина погребения Христа женское трио исполняло трогательные непорочны со стихами в трех статьях — так называемый плач мироносиц»¹⁹.

¹⁴ Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 31–32.

¹⁵ Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

¹⁶ Таут М. П. «Храня в душе воспоминанья». Часть 1. <http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108374>. Дата посещения 03.05.2024.

¹⁷ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 317.

¹⁸ Там же. С. 321.

¹⁹ Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

Г. В. Хатковский: «В Великую пятницу после школы мы бежали в церковь приложиться к плащанице. В храме сумрачно, развешены везде черные пелены, горят свечи вокруг плащаницы, на душе так скорбно и печально»²⁰.

Н. Н. Лалетина (Николаева): «В пятницу в два часа вынос Плащаницы, опять шли в ближнюю церковь Преображенья приложиться к Плащанице, убранной цветами. Сын Божий уже скорбно лежал, снятый с Креста.

В пятницу отец красил яйца, он это дело никому не доверял, можно было только присутствовать при этом действе, или уже готовое окрашенное яичко перекачивать на чистом полотенчике, чтобы была равномерная окраска. Он мудрил над этим действием с давним опытом, еще приобретенным в детстве, семья-то была 9 человек детей! Даже никому не доверял покупать краски, для этого специально ходил к Чурину²¹ и брал только германскую, на пачке которой был обязательный зайчик с лукошком великопленных пасхальных яичек. Краски, действительно, были отменными, не просачивались внутрь, не пачкали рук, а главное, все цвета были настолько насыщенными, такими яркими, что глаз радовался, глядя на это чудо, расположившееся кольцом вокруг заранее посеянного овса зеленой „полянки“ в тарелке.

У мамы была своя технология, здесь и мне хватало работы — красить в разноцветные цвета яички с помощью разноцветных лоскутков. Сначала надо было выбрать лняющие лоскутки хлопчатой ткани, порезать на мелкие кусочки, затем аккуратно ими обернуть сырое яичко, снова завернуть в тряпочку, обмотать ниткой и только тогда можно класть в кастрюлю и варить!

Вся предпасхальная неделя проходила в посещении службы в храме и в домашних хлопотах — последних штрихов уборки жилища, развешивания штор, мытья полов, расстилания накрахмаленных салфеточек. Куличное тесто обязательно заводили в Чистый четверг, и если оно удавалось, то в пятницу куличи уже „отдыхали“ на столе, прикрытые полотенцами. В укромном месте уже млела и истекала сладким сиропом готовая сырная пасха.

В пятницу же отец коптил окорок на заднем дворе. Занятие это было нескорым. Надо было временами подсыпать опилки, следить за равномерным процессом копчения и временами следить за его готовностью. В субботу отец отправлялся к Чурину в бакалейный и кондитерский отделы. Всегда каждый год в этот день он покупал до 7–8 различных сортов колбас, я уже не припомню всех их названий, была испанская, итальянская, с зеленым горошком внутри и с жирком, обрамляющим ее, словом, как он говорил, для украшения пасхального стола разнообразием колбас. А в кондитерском... это сохранялось в тайне и выявлялось только, когда мы с мамой под утро возвращались с заутрени, папа не ходил в церковь, оставался дома, накрывал на стол и ждал нас»²².

М. П. Таут: «В Страстную Пятницу днем меня берут на короткую, но запавшую в душу службу. Убранная белыми, только белыми, цветами середина церкви, куда вынесли Плащаницу. Чтобы приложиться к ней, многие с утра не принимают пищи. В Великую Субботу, до самой пасхальной ночи, люди будут подходить и молиться у Плащаницы, и мы с дедом еще раз прикладываемся к ней, когда приходим святить кулич»²³.

²⁰ Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

²¹ «Чурин и К^о» — универсальная торговая фирма, существовавшая на Дальнем Востоке Российской империи и Маньчжурии в конце XIX — начале XX века, основанная сыном иркутского купца I гильдии Иваном Яковлевичем Чуриным (1833–1895). В 1900 году открылся филиал в Харбине. «Цюлинь Янхан» (то есть Иностранная торговая фирма «Чурин») продавала одежду, кожаные сапоги, консервированные продукты, водку и др.

²² Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 31.

²³ Таут М. П. «Храня в душе воспоминанья». Часть 1. <http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108374>. Дата посещения 03.05.2024.

Великая суббота

Епископ Нестор (Анисимов): «В Великую Субботу ясно чувствуется приближение чего-то особенного, таинственного, величавого. И ясно выделяется с этого дня глубокое значение русских праздников для всего города, не русского только, но и иноземного. С утра идут причастники в храмы, и с особенной чудесной торжественностью звучат в этот день слова церковных песнопений — торжествующего гимна „Воскресни Боже, суди земли“²⁴.

Начиная с трех часов дня Великой Субботы, несут православные люди в церкви для освящения куличи, пасхи, яйца. В оградах церковных выстраиваются ряды столов со всевозможными пасхальными припасами, и множество народа — интеллигенции и простолюдины, ждут благословения священника. Священник со святой водой и молитвой обходит столы, еще не решаясь провозглашать святыя слова — Христос Воскресе, но окропляя святой водой пасхи и куличи, на которых уже начертаны полные глубочайшего значения буквы — Х. В.»²⁵.

Г. В. Мелихов: «Великая преблагословенная суббота приближала Праздник вплотную, все наступало уже по-настоящему. Днем, по завершении литургии, церковь чудесно преображается: черное великопостное убранство быстро заменяется праздничным — белым. В церковных оградах освящаются принесенные верующими куличи, пасхи и крашеные яйца. Вечером под звон колоколов все идет в ярко освещенный и украшенный храм к заутрене. Особенное не передаваемое словами настроение...»²⁶

Священник Николай Падерин: «Много народу бывало на кладбище и в день Святой Пасхи. Многие любили встречать пасхальную ночь в кладбищенском храме. В Великую Субботу, часов с десяти вечера, нарушалась обычная тишина ночи на кладбище. Множество машин из города подходило к кладбищенским воротам, доставляя православных к светлой заутрене. Перед самым началом богослужения вдоль главной аллеи зажигались цветные фонари на деревьях, а в промежутке между ними горели плашки, создавая изумительную картину ночного торжества. Крестный ход и светлая заутреня совершались при большом стечении городских богомольцев»²⁷.

С. С. Троицкая: «В Великую Субботу перед Святой Плащаницей среди храма мужское трио или женское исполняло умиленное песнопение *Воскресни, Боже, суди земли* Турчанинова. После каждого стиха солистов хор повторял радостное: *Воскресни, Боже*»²⁸.

М. П. Таут: «Наступает Великая Суббота. В этот день у взрослых чувствуется взволнованное напряжение (все бы успеть!), а для меня наступает по-детски трепетное ожидание праздника. Постный завтрак. Дед возвращается от литургии Василия Великого, рассказывает о торжественной службе со сменой облачения у духовенства и всех церковных покровов с черных на белые. Дома завершаются последние пригото-

²⁴ «Воскресни, Боже, суди земли...» — этот текст из 81-го псалма мы слышим в Великую субботу на литургии. Во время этой молитвы священнослужители переоблачаются из черных великопостных облачений в белые. Это означает, что мы уже знаем о победе над смертью, радуемся тихой радостью в ожидании Воскресения Христова.

²⁵ Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 40.

²⁶ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 321—322.

²⁷ Падерин Николай, священник. Церковная жизнь Харбина. Из кн.: Церковь твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. Сан-Паулу, 1967. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 31—32.

²⁸ Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

ния, наносятся последние штрихи к праздничному убранству квартиры, гладятся белые рубашки и белые шарфы для мужчин, нарядные женские платья. На кухне идет производство блюд и закусок для пасхального стола, а главная забота — сотворение сырной пасхи в специальной деревянной, напоминающей пирамидку, форме. У нас ее делали с апельсиновыми цукатами, очень нежной из идеально растертого творога. Вечером в субботу мы с дедом несем святить кулич, окруженный крашенными яйцами. В церкви у заставленного пасхальным изобилием стола и в ожидании священника я ревниво оцениваю, как выглядит принесенный из дома кулич по сравнению с другими. Конечно, он не хуже большинства, и даже украшен лучше многих.

И тут происходит эпизод, значение которого я до конца осознаю только через много лет, в своей взрослой жизни. Элегантная молодая женщина с нарядно одетой девочкой развязывают, красивую корзиночку с огромным куличом, верхушку которого поверх глазури украшает сахарный барашек, поразивший мое детское воображение. Мне страстно захотелось такого же на свой кулич. Я видела в свечном ящике похожие сахарные фигурки, которые можно было купить, и тут же обратилась к обычно баловавшему, меня деду. Но он внимательно посмотрел на меня и предложил сделать выбор: либо приобрести вызвавшее мою зависть украшение для кулича, либо отдать те деньги, которые оно стоит, чисто одетой старушке, скромно стоявшей на паперти и стеснявшейся протягивать руку. У нее, вероятно, вообще нет никакого куличика.

Я чувствую, что краснею, так как принять решение, которого ждет от меня дед, совсем не просто, но, выходя из церкви, протягиваю выданные мне денежки вместе с крашеным яичком светло улыбнувшейся старушке. Мне становится легко и радостно. По дороге домой встречающиеся знакомые поздравляют с наступающим праздником. Уже чувствуется его приближение. Скорее бы пасхальная ночь!»²⁹

Воскресение Христово (Пасха Христова)

Харбин в предпасхальные дни

Г. В. Мелихов: «Перед большими православными праздниками харбинская пресса всегда вспоминала о старинных русских обычаях, связанных с тем или иным торжеством, отдавала дань традициям, воспоминаниям о том, как проходил праздник на нашей Родине. В особенности это относилось к Пасхе. В эти предпраздничные дни появлялись специальные статьи, пасхальные стихи; выходили нарядные многокрасочные номера газет, а после 1927 г. — пасхальный журнал „Рубеж“. Начиная с 1929 г. Пасхальная заутреня из кафедрального собора в Харбине транслировалась по радио на весь Дальний Восток, в том числе и на дальневосточные регионы СССР.

Статьи и стихи эти, конечно, невозможно перечислить, но вот несколько примеров. 1936 год: „Пасха в народных обрядах“, полполосы — „Пасхальный заяц“ — приносящий на Пасху подарки детям — шутивная дискуссия о происхождении зайца в пасхальной символике. 1937-й год: статья „Пасха в старой Москве“; 1940-й год: большое стихотворение Арсения Несмелова³⁰ „Москва пасхальная“, опубликованное в „Луче Азии“, в котором есть такие строки:

²⁹ Таут М. П. «Храня в душе воспоминанья». Часть 1. <http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108374>. Дата посещения 03.05.2024.

³⁰ Арсений Несмелов (наст. имя и фам. Арсений Иванович Митропольский) (1889—1945) — русский поэт, прозаик, журналист. Участник Белого движения. В начале ноября 1917 года (н. ст.) принимал участие в борьбе с большевиками в Москве. Через несколько недель уехал из Москвы на Урал, добрался до Кургана, позже до Омска, где присоединился к войскам Верховного главнокоман-

Чуть, чуть, чуть — и канет день вчерашний,
Как секунды трепетно бегут!..
И уже в Кремле, с Тайницкой башни
Рявкает в честь праздника салют.
И взлетят ракеты. И все сорок
Сороков ответно загудят,
И становится похожим город
На какой-то дедовский посад!..

1945-й год. Пасха — 6 мая, совпадение с днем Георгия Победоносца — моим днем Ангела. Заголовки статей в газете „Время“: „На крыльях радости“, „Светлое Христово Воскресение“... И тут же статья „Стройте убежища малого размера“... Многие, наверно, помнят японскую кампанию „самообороны“ в те времена...

Но вернусь к описываемым 20-м. Пасха, год 1923. Огромное объявление в газете „Заря“ и других: „Прием посылок во все города России“. Тут необходимо пояснение. Пасха 1923 года была особой — не потому, что она праздновалась железнодорожниками на КВЖД от среды до среды — с 4 по 11 апреля, а по той причине, что впервые советские власти разрешили принимать продовольственные посылки из Харбина и полсы отчуждения КВЖД родственникам в СССР. Но только с 10 до 20 мая!

Появлялись в Харбине и сами эти родственники, которым разрешался выезд в связи с громадным размахом кампании помощи голодающим в России, развернутой в Маньчжурии в 1921—1923 гг. В Россию шли десятки эшелонов с мукой, сахаром, продовольствием, медикаментами, а взамен, обратно, вывозились родственники харбинцев и линейцев, но буквально за голову каждого советскому правительству уплачивались огромные деньги. Кстати сказать, в это время разрешили вернуться к сыну и престарелой 80-летней матери Б. В. Остроумова³¹, привезшей с собой в Харбин и породистого бульдога, по кличке „Бонч“ (сокращение от Бонч-Бруевича³²)...»³³

Пасхальная ночь

Епископ Нестор (Анисимов): «Для удовлетворения духовных нужд русских жителей Харбина существует там двадцать два православных храма и устраиваются еще временные церкви в русских учебных заведениях. И в праздничные дни, особенно в пасхальную ночь, и в течение всей пасхальной недели, когда гудят колокола всех этих церквей, кажется русскому человеку в Харбине, что черные тени последних лет — это только кошмарные видения, что он снова на Родине слышит родные колокола³⁴.

дующего А. В. Колчака. Участник Великого Сибирского ледового похода. Вместе с войсками генерала В. Каппеля отступал до Читы. В мае 1924 года перешел советско-китайскую границу. Поселился в Харбине. Активно сотрудничал в местной русскоязычной периодике (журналы «Рубеж», «Луч Азии»; газета «Рупор» и др.). В августе 1945 года арестован и вывезен в СССР. Согласно официальной справке, умер 6 декабря того же года в пересыльной тюрьме в Гродекове (ныне поселок Пограничный в Пограничном районе Приморского края).

³¹ Борис Васильевич Остроумов (1879, Саратов—1944, Вьетнам) — русский инженер, управлявший КВЖД в 1921—1924 годах.

³² Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955) — российский революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель. Ближайший помощник и фактический секретарь В. И. Ленина. Завизировал Постановление СНК РСФСР от 05.09.1918 «О красном терроре». В 1945—1955 годах — директор Музея истории религии и атеизма АН СССР в Ленинграде.

³³ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 318—319.

³⁴ Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 37.

<...> Темной пасхальной ночью весь город оглашается колокольным звоном и зажигается тысячами огней, горящих с высоты колоколен и храмов — целое море огня. В пасхальную ночь в церквях бывает буквально весь Харбин, не только русский, но иностранцы, китайцы, японцы, инославные, иноверные. Не быть в церкви в этот день — страшное несчастье, глубокая духовная потеря для каждого верующего человека. И потому бывает особенно жаль тех русских людей, которые в святую пасхальную ночь почему-то не имеют возможности побывать в храме. А таких в наше тяжелое время, конечно, очень много и в районах, лежащих у Харбина: на маленьких станциях, в захолустных деревушках и китайских городках, в ближайшей, наконец, местности России, лишенной храмов и священников.

И вот для этих людей, жаждущих духовного утешения и, хотя бы крох с богатейшего духовного пира, великой духовной радостью является передача нашей пасхальной службы по радио. И сколько горячих, пламенных откликов мы получаем отовсюду. И от больных, не имевших возможности пойти в храм людей Харбина, и из страдающей подъяремной России: из Иркутска, из Николаевска-на-Амуре, из Благовещенска.

Кто бывал в России, тот знает, а тем, кто не бывал, — нашей молодежи, растущей на чужбине, — только Харбин может дать понятие о величии и красоте пасхальной ночи в России. Многие, даже далекие в повседневной жизни от Церкви люди, говорили мне, побывав на богослужении в Пасхальную ночь, что они действительно чувствовали себя как на небе, что хотелось забыть о мире, о земле.

Церкви, все многочисленные церкви Харбина переполнены народом, ограды, площади заполнены толпами богомольцев. Двери в церквях раскрыты настежь, чтобы и те, кто стоят на улице, могли участвовать в богослужении. В двенадцать часов громко и торжественно раздается пение: „Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небеси“, из алтаря выходит духовенство в праздничном пасхальном облачении, сделанном к празднику трудами и заботами богомольцев, отряды молодежи раздвигают толпу.

Крестный ход выходит на улицу и проходит вокруг церкви. Пламенный, горящий восторг владеет душами в эти мгновения. На земле нет ничего выше, чище и лучше этих минут. Хочется, чтобы как можно дольше продолжались они, но в то же время не терпится душе дожидаться радостнейшего момента, когда послышится „Христос Воскресе!“

И вот, наконец, священные, радостные слова раздались перед закрытыми еще церковными воротами, потом мощно, торжественно и радостно влились слова священного пасхального гимна в самую церковь, могучий хор подхватил их. А народ, заглушая пение хора, в ответ на слова священнослужителя — „Христос Воскресе!“, едиными устами, единым сердцем тысячеголосым радостным кликом победно восклицает: „Востину Воскресе!“ В эти минуты забывается все. Ни усталость, ни утомление, ни страдание, ни горести этих страшных лет — ничто не чувствуется, все забывается, душу наполняет только великая, ни с чем не сравнимая, радость.

Во все время Пасхи весь Харбин, и улицы, и дома имеют поистине праздничный вид. Весна в это время обычно вполне уже вступила в свои права. И русский люд с облегчением снимает с себя зимние одежды, и радостно за бедняков, которым не угрожает теперь гибель от холода. Хорошо, чудно хорошо весной за городом, даже недалеко, где-нибудь на ближнем пригородном поле. Еще лучше на зеленом, красивом харбинском кладбище, с большой заботой и внимательностью содержанием»³⁵.

С. С. Троицкая: «Что можно сказать о Светлой Заутрене, проходившей при огромном стечении народа! Ведь на ней присутствовали даже те, кто являлся в церковь только раз в год, чтобы услышать *Христос воскрес!* В Харбине же на заутреню приходили

³⁵ Там же. С. 40—41.

и иностранцы. Храм ярко освещен. Иконостас алтаря украшен белыми цветами, а над ними горят маленькие лампочки на буквах Х. В. Служба шла торжественно и радостно. С хоров несло красивое ликующее пение, прерываемое только возгласами священнослужителей: *Христос воскрес!* В ответ летело многоголосное: *Воистину воскрес!* И каждого православного охватывала радость: Христос воскрес — и более нет смерти!»³⁶

Юрий Николаев³⁷: «Разве можно забыть пасхальные заутрени в Свято— Николаевском кафедральном соборе? Сотни и сотни православных людей с зажженными свечами на Соборной площади, потому что попасть внутрь храма или в его ограду уже невозможно. И это незабываемое первое „Христос Воскресе“ под темным не русским небом в русском городе не на русской земле. В жизни бывает всегда что-то неповторимое, и это неповторимое был Харбинский Свято-Николаевский кафедральный собор с его особенными: сонмом духовенства, хором и всеми скромными и честными слушателями на ниве Христовой»³⁸.

Протоиерей Евгений Ланский: «В Харбине были изумительные Пасхальные ночи. С Великой Субботы на Воскресенье весь город погружался в темноту. И ровно в полночь, когда впервые перед запертыми дверями храма священники возглашали „Христос воскрес!“, вдруг над всеми церквями зажигались кресты. Иллюминация, конечно, но было ощущение, что кресты плыли в воздухе, прорезая тьму»³⁹.

Архиепископ Нафанаил (Львов): «На Пасху все церкви Харбина ярко освещались, и весь город гудел от звона колоколов»⁴⁰.

Н. Н. Лалетина (Николаева): «Идем с мамой рано, часов в девять (вечера), чтобы встать возле Распятия, оно, как принято, справа, на мужской половине, и здесь посвободнее. В то время молящиеся в церкви придерживались правила: женщины стояли — слева на женской половине, мужчины — справа на мужской.

Долго, до бесконечности, тянется время. Тикают часы, и я начинаю изнывать и уставать от долгого стояния, хочется присесть, но нигде, все скамейки заняты пришедшими тоже заранее старушками. Между тем, убранство церкви преобразилось. Плащаницу уже убрали, вокруг все иконы и Распятие наряжены в белое кружевное, везде живые цветы, но в самой церкви царит полумрак. Время, кажется, остановилось... но стрелки, хотя и медленно, приближаются к тому Светлому и Великому, что вот-вот сейчас произойдет — воскреснет Сын Божий Иисус Христос!

Наконец, началось главное — духовенство, хор, прихожане, все пришло в движение. Уже несут хоругви к выходу, начинается крестный ход трижды вокруг маленькой нашей церкви Преображения. А мы стоим и ждем по-прежнему у Распятия. И вот сначала тихо, затем все слышнее „Ангелы поют на небесах...“ Двери распахнуты, Храм в ярких огнях, и отец Иоанн Ган громким голосом радостно возглашает: „Христос Воскресе!“, и радостный ответный возглас молящихся — „Воистину Воскресе!“ И начинается заутреня! Я засыпаю на ходу, но в Светлую ночь это невозможно и грех, снова собираюсь с мыслями, молюсь и радуюсь, заутреня кончается. Мне семь-восемь лет!»⁴¹

³⁶ Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

³⁷ Юрий Николаев (1917–2009) прожил в Китае с 1946-го по 1956 год. Его книга посвящена истории знаменитого Свято-Никольского кафедрального собора в Харбине, построенного русской общиной в 1900 году и разрушенного во время «культурной революции» 1966 года.

³⁸ Николаев Юрий. Никита иконник. Сан-Франциско, 1968. С. 61.

³⁹ Ланский Евгений, прот. Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25).

⁴⁰ Нафанаил (Львов), архиепископ. Очерки русской жизни в Маньчжурии // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 29.

⁴¹ Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 33.

О. А. Скопиченко: «Пасхальная Ночь. Сияющие огнями храмы, толпы народа, переполняющие церкви, безмолвие, тишина и та минута, когда распахиваются двери храмов, и выходит крестный ход, срывается ликующий, казалось, весь город наполняющий колокольный пасхальный звон. И звучит этот пасхальный перезвон всю Светлую неделю, с многочисленных колоколен наших церквей»⁴².

Г. В. Мелихов: «У всех прихожан внутри церкви и вокруг нее в руках свечи. Крестный ход трижды обходит вокруг храма, и несется ликующее „Христос Воскресе!“, на что люди отвечают „Воистину Воскресе!“! Свершилось! Всеобщая радость, ликование. «В пасхальную ночь и звери разговаривают», — гласит присказка. Тут же все трижды христосуются друг с другом, и ни одна даже самая скромная девушка не отказывается от этого прекрасного обряда. Сегодня даже прилюдно поцеловаться — можно!»⁴³

Г. В. Хатковский: «Как прекрасна была пасхальная заутреня! Ровно в 12 часов ночи начинался крестный ход вокруг храма. Шли священники уже в светлых одеяниях с иконами, хоругвями, зажженными свечами. Все таинственно и торжественно, и каждый год такое чувство, что ты впервые присутствуешь при таком богослужении. В церквях ярко светятся буквы „ХВ“. Особенно торжественно выглядел Харбинский кафедральный собор, стоявший в центре города на возвышенности.

Внутри храмы были украшены светлыми покровами, ярко освещены, а духовенство было облачено в сверкающие ризы. Радостно сияют лица многочисленных молящихся, с колокольной несется перезвон колоколов, вещающий миру радостную весть: „Христос воскрес!“. По окончании заутрени народ не спеша расходился по домам. Знакомые и незнакомые люди поздравляли друг друга с великим праздником Светлого Христова Воскресения. В утреннем воздухе звучали радостные возгласы, разговоры»⁴⁴.

Ачаир (А. А. Грызов)⁴⁵. В пасхальную ночь

Летит по улице мотор,
гудит протяжно, резко...
А из столовой — разговор
доносится до детской...

Кругом костры разложены,
их пламя — звезды лижет.
А с неба — голубые сны
спускаются все ниже...

⁴² Скопиченко О. А. Рассказы и стихи. Сан-Франциско, 1993. С. 58.

⁴³ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 322.

⁴⁴ Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

⁴⁵ Алексей Алексеевич Ачаир (настоящая фамилия — Грызов) (1896—1960) — русский поэт. В 1914 году выпущен из 1-го Сибирского императора Александра I кадетского корпуса. В начале Гражданской войны, с мая 1918 года служил как рядовой-доброволец в партизанском отряде атамана Красильникова. С июня 1919 года в штабе 1-й Сибирской казачьей дивизии. Участник Сибирского ледового похода. В октябре 1922 года, после занятия Владивостока красными, пешком ушел через границу в Корею, а оттуда в Харбин. При содействии американского секретаря ИМКА Ачаир организовал Харбинский союз русской культуры «Молодая Чураевка», который возглавлял до 1932 года. После Советско-японской войны, в сентябре 1945 года Ачаир был принудительно репатрирован советскими органами. Он провел 10 лет в ГУЛАГе (Воркута), три года в ссылке в Красноярском крае, а после освобождения жил в Новосибирске, работал учителем пения в школе. Похоронен в Новосибирске на Заельцовском кладбище.

Колокольца поют, звенят.
им гулко вторят — звоны.
А сверху смотрит на меня
лампадка у иконы.

Летят с небес цветы весны, —
полет их странно гудок.
И в них сидят малютки-сны,
милёны снов-малюток!

Моя единственная дочь, —
Агнесса, кукла-крошка, —
Не спала тоже в эту ночь.
Соснуть бы ей немножко.

Но снова звон... Гудит мотор...
Звонок. (У нас, в передней...)
В столовой — громкий разговор:
Вернулись от обедни...

И мама в детскую вошла
и встала у кровати.
Сквозь штор глядит седая мгла...
И запах слышен сладкий...

А гномик в щелочку пролез
и говорит Агнессе:
— Христос Воскрес! Христос воскрес!
Воистину воскрес⁴⁶.

Пасхальный стол. Пасхальные звоны

Л. Ю. Хаиндрова: «Шумно и хлебосольно праздновали Рождество, а особенно Пасху, но это уже были русские православные праздники, которые были широко известны и к которым готовились задолго до их наступления. Особенной известностью пользовалась православная Пасха. Рынки города наполнялись самой изысканной снедью»⁴⁷.

Н. Г. Шарохин: «Наступали предпасхальные дни. Даже в самом убогом доме пеклись куличи, красились яйца. В украинских семьях делались писанки — расписные красивые яйца, которые жалко было разбить. Пасха проходила торжественно, все люди лобзались, говорили: „Христос Воскресе!“ — отвечали: „Воистину Воскресе!“. Благовест был со всех колоколов. Каждый мог зайти на колокольню и позвонить, как умел. Весь Харбин гудел от звона колоколов и торжественных богослужений. Пасха всегда приносила какую-то особую радость и чувство национального единения всего нашего народа. Малышам на Пасху дарили шоколадные изделия, изображавшие ангелов, круглые шары, яйца с сюрпризом, завернутые в яркий нарядный целлофан. Сами бедные покупали шоколадную свинушку, в которой тоже что-нибудь было»⁴⁸.

⁴⁶ <https://forum.vgd.ru/post/614/31743/p2429694.htm>. Дата посещения 03.05.2024.

⁴⁷ Хаиндрова Л. Ю. Из тетради воспоминаний // Русская Атлантида. 2001. № 6. С. 39.

⁴⁸ Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 56.

Г. В. Хатковский: «Дóма ожидал праздничный стол с непременно куличами и пасхой — начиналось разговение. Днем приходили священники, служившие в доме праздничное молебствие, и появлялись непременно визитеры с поздравлениями и христосованием, что особенно нравилось молодым. Мы, мальчишки, бежали на колокольни звонить в колокола, и над городом плыл непрерывный колокольный звон. На душе было светло и радостно. Звонить разрешалось всю пасхальную неделю, иногда нам помогали и китайские детишки. Во дворах ребяташки катали по специальным лоткам на подставке крашенные яйца, которые раскатывались в разные стороны, и если чье-то задевало другое, то он забирал его себе. Это было веселое занятие, и некоторые ребята выигрывали много яиц, но потом большей частью возвращали друзьям. Дома и на улице люди при встрече христосовались и произносили: „Христос воскрес!“, а в ответ звучало: „Воистину воскрес!“»⁴⁹

Г. В. Мелихов: «Разговляться по приходе с заутрени начинают с кулича и яиц, которыми все члены семьи предварительно „бьются“: кто окажется победителем»⁵⁰.

Н. Н. Лалетина (Николаева): «Мой отец, несмотря на свой суровый нрав, был добрейшей души человек, для него главным в жизни было доставлять радость окружающим. Без этого он не мыслил жизни. Насколько я его помню после прошествии стольких лет, он это делал осознанно, радуясь доставленным радостям не только своим близким, но и совершенно чужим и незнакомым людям. Его альтруизм передался и внуку, и правнучке, которая счастлива отдать последнее без сожалений.

И во все Пасхи, другого момента не припомню, отец занимался торжественным накрыванием пасхального стола, получая от этого огромное удовольствие, когда мы появлялись с мамой после заутрени на пороге. Он следил за нашей реакцией. Хотя мама накануне украсила пасхальный кулич огромной высоты, кулич нарядный с покрытым глазурью и посыпанным разноцветным пшеном платочком, и буквами Х. В., но кулич стоял в центре стола, как только что увиденное чудо! Возле примостилась зеленая овсяная горка с ожерельем из разноцветных яичек. Здесь же возлежал на блюде окорок розового цвета и „со слезой“! Дополнением к украшению стола была упомянутая различная колбаса от Чурина, а может быть и Лейтлова⁵¹, так все было дивно! Был и свой сальтисон⁵² и домашние колбасы, отец все это умел делать сам!

И это еще не все! Возле праздничного стола примостился маленький детский столик, каждый год на котором раскрывалась пасхальная тайна похода отца в кондитерский отдел Чурина. Здесь была полянка с шоколадными зайцами, курочками, сидящими в корзинке с разноцветными шоколадными яичками и просто яички всех размеров, обернутые цветной фольгой, и внутри каждого что-то гремело, какая-нибудь безделица — либо колечко с Микки Маусом⁵³ или Бетти Бупп⁵⁴, брошка с камешком, словом,

⁴⁹ Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

⁵⁰ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 322.

⁵¹ Винно-бакалейный магазин «К. Ю. Лейтлов» (Гоголевская, 69).

⁵² Сальтисон (итал.) или зельц (нем.) — блюдо, приготовленное из нескольких видов мяса с добавлением пряностей, придуманное итальянцами и ставшее традиционным в Польше и на Украине.

⁵³ Микки-Маус (англ. Mickey Mouse «Мышонок Микки») — мультипликационный персонаж, один из символов компании The Walt Disney Company. Представляет собой антропоморфного мышонка. Официально днем рождения Микки считается 18 ноября 1928 года. Именно в этот день показали миру мультфильм «Пароходик Вилли».

⁵⁴ Бетти Буп (англ. Betty Boop) — персонаж рисованных мультфильмов, созданный Максом Флейшером. В 1932–1939 годах Paramount Pictures выпустила в общей сложности 99 короткометражных черно-белых мультфильмов о Бетти. Бетти стала воплощением эпохи джазовой музыки. Популярность героини, без преувеличения, прославила ее на весь мир, что позволило встать в один ряд

что-то, радующее детское воображение. Отец жил нашей радостью и радовался вместе с нами⁵⁵.

Удивительным во всей нашей эмигрантской жизни было особенно трогательное и трепетное отношение ко всем праздникам, особенно к великим, будь то Рождество или Пасха. Считалось невозможным не праздновать, не испечь кулича или не покрасить яиц. Без этого всего и праздник не праздник! А ведь было и безденежье в обычные дни, не то, чтобы делать пасхальные траты.

Помню, в один из праздников Пасхи у родителей были проблемы с деньгами. Но необходимо было купить мешок санхошиновской муки-крупчатки, сахар и все остальное. Праздник на подходе, что делать? Тогда в тот год мама достала из «маленького Чурина», так у нас дома называли стоявший сундук, великолепное филейное шанхайское покрывало, с которым ради Пасхи пришлось расстаться...

Еще был предпраздничный, доведший до семейной трагедии, случай перед Пасхой. Отец всегда ездил на Пристань за мешком муки. Для покупок мама выдала ему «рыжик», субсидию в 5 или 10 золотых царских рублей, он должен был их на Пристани сменять и сделать покупки. Прошел день, а он уехал утром. К вечеру начались волнения и переживания, отца нет... Ночь прошла, было передумано все... На следующий день к обеду вернулся наш провинившийся папа без муки и без денег. Дома была буря эмоций, хорошо, что все произошло без меня. Потом, как выяснилось, наши с Танюшкой отцы, встретившись, решили хорошо провести время! Они попали в кабарэ в Новом Городе «Эдем», поиграли в «девятку», тогда это была модная игра у наших отцов, и очнулись с вывернутыми карманами! Но все же, несмотря ни на что, Пасха была отпразднована!»⁵⁶

Из Сборника памяти 1-го Харбинского русского реального училища: «Среди учащихся были большие любители принимать горячее участие в пасхальном трезвоне на колокольнях, когда во всех наших харбинских церквях, над всем городом раздавались звуки пасхального перезвона всю пасхальную неделю. Ребята стремились обязательно залезть на колокольню аэропорта, чтобы лично звонить в колокол. Это было удобно, так как необходимо звонить по правилам перезвона, чтобы получалось согласование и соблюдался порядок звучания по голосам от малого до самого большого колокола. Это занятие, требующее обучения у старших ребят, которые уже освоили эту премудрость, а некоторые достигли в этом искусстве больших успехов и становились первоклассными звонарями. Так, например, вспоминается мне наш соученик Лева Жегулин — сын известного на весь Харбин соборного сторожа Ивана В. Жегулина⁵⁷ (впоследствии настоятель мужского монастыря игумен Антоний). Лева, живущий в соборном доме, принимал участие в обсуждении этого мастерства и показал высокие результаты, став замечательным звонарем-виртуозом»⁵⁸.

с Микки-Маусом. Жители распавшегося СССР познакомились с джазисткой Буп только в 90-х годах благодаря фантикам на жвачках.

⁵⁵ Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 33—34.

⁵⁶ Там же. С. 34.

⁵⁷ Схиигумен Серафим (в миру — Жигулин Иван Васильевич). Родом из Нижегородской губернии. Во время Гражданской войны включился в Белое движение. После поражения Белой армии эвакуировался в Харбин. Сторож и алтарник в Свято-Николаевском соборе. Принял монашеский постриг с именем Антоний. Иеромонах с начала 1950-х годов. Подвизался в харбинском Казанском мужском монастыре. В 1957 году в его келье обновилась икона «Усекновение главы Иоанна Крестителя». Принял схиму. Скончался в Харбине через несколько лет после тяжелой болезни.

⁵⁸ Сборник памяти 1-го Харбинского русского реального училища. <https://archive.org/stream/sbornikpamiati1g028800/djvui.txt>. Дата посещения 27.11.2022.

Бывший «Реалист». «Лирический этюд»

Я помню — на родной земле,
 И в той чужой для нас стране —
 Где мы учились и росли
 В обычаях родной страны: —
 Церковный звон колоколов.
 Как песнь любви, как песнь без слов.
 Нас призывал под храма сень,
 По-христиански кончить день!
 И с облегченной душой.
 Из храма шел народ домой!
 А звон вперед, вперед летел,
 И песнь ликующую пел.
 Я помню маленький Ваш сад;
 Осенний пламенный закат.
 Что озарял тебя огнем!
 Ты пела мне — Вечерний звон!
 Теперь живем в иной стране.
 Где есть все блага на земле.
 Где изобилие и покой!..
 Но не звучит нам звон родной!⁵⁹

М. П. Таут. «Храня в душе воспоминанья»

Сдержанный благовест великопостный.
 Остановитесь. Войдите в храм
 И вдумайтесь, как это в сущности просто:
 Мне отмщение. Аз воздам.
 А нам так трудно забыть обиды,
 Поступки ближних не осудить,
 И в храме стоять свечой, не с видом,
 А с сердцем смиренным себе просить,
 Чтоб праздность, уныние, любоначалие
 Господь научил нас в себе побеждать,
 Не предаваться в час горький отчаянью.
 И все, что судьба ниспошлет, принимать,
 Помог укрепить нашу хрупкую веру,
 И в памяти детские чувства храня,
 Подняться над будничной атмосферой,
 Под перезвоны пасхального дня!⁶⁰

Пасхальные визиты

Г. В. Хатковский: «Вспоминаются те весенние, яркие от солнца дни, когда харбинская публика широко справляла Пасху, везде был слышен звон церковных колоко-

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Таут М. П. «Храня в душе воспоминанья». Часть 1. <http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108374>. Дата посещения 03.05.2024.

лов, и до позднего вечера по городу носились извозчики с визитерами, перед которыми открывались двери каждого дома. Девушки ждали кавалеров, все христосовались, хозяйюшки дома угощали своих старых знакомых и друзей, как было принято тогда в Харбине. Все радовались Пасхе, яркому солнцу и приходу теплых дней»⁶¹.

Протоиерей Евгений Ланский: «На Пасху все разговлялись ночью, а с утра начинались визиты. Был такой обычай. Визитеры садились на извозчиков и ездили по знакомым. Заходили, христосовались, выпивали рюмочку, кушали и уезжали. И вот, через несколько часов видишь такого визитера: китаец еле-еле везет его, сомлевшего, довольного. Все, навизитерился...»⁶²

Н. Н. Лалетина (Николаева): «Первый день Пасхи проходил в хлопотах по приему и угощению визитеров. К вечеру мама, уже изрядно уставшая, накрывала ужин, давая отбой. А завтра надо было идти в гости, а на третий день праздника все гости приходили к нам, и начиналось все сначала. Гости считали своим долгом приносить шоколадные яйца и зайчиков, и за пасхальную неделю их на детском столе собиралась целая компания. Приходили мои друзья — сыновья крестного Хенек и Олек и Толя с Юрой, и мы в саду катали с горки — деревянного лотка, деревянные, а то и настоящие яйца и бились ими, кто больше набьет яиц.

Не помню, в каком году, в пасхальном номере журнала „Рубеж“ была карикатура на тему: „Пасха. Визитеры“. Помню эту карикатуру, как будто только сейчас вижу, на переднем плане пасхальный стол, в центре, как всегда, кулич и все пасхальные атрибуты. Визитер при параде, с бабочкой, белоснежным воротничком и цветочком или платочком в петлице, его шествие с первого визита вверх странички по всем знакомым дамам и уже последнее... картинка внизу такая: он, бедный, под столом последнего визита и внизу картинки подписано: „Знатоки говорят, что за хорошей водкой надо ехать... в Ригу!“»⁶³

М. П. Таят: «После праздничного завтрака дед и отец отправятся с визитами, поздравлять добрых знакомых, а бабушка и мама (ну и я, конечно!) будем принимать гостей у себя. <...> Первых визитеров можно ждать уже после десяти часов. У меня есть свои любимые гости, которые находят время поиграть со мной. Раздвинув белые занавесочки, я усаживаюсь у окна рядом с распутившимся букетиком багульника, чтобы видеть, кто позвонит у входной двери. Новые посетители бывают редко, всех постоянных я знаю. Однако первыми приходят монашки с пасхальными песнопениями. Слушаем перед образами тропари праздника. Певчих одаривают кусками кулича, крашеными яйцами, пирогами.

Но вот, наконец, появляется первый гость. Какая радость: Это Аркадий Падерин, скромный молодой человек лет двадцати, один из тех, кого я с нетерпением жду. Дядя Аркаша (слово „дядя“ я часто произносите забываю) отдает должное угощению, выпивает рюмочку-другую, а потом так самозабвенно играет со мной, прячась даже под стол, что мама советует поскорее жениться и завести собственных детей. Молодой человек отшучивается: говорит, что будет ждать, пока подрастет для него „вот эта“ невеста. Другой такой же „жених“ — Павлик Деревягин, судьба которого оказалась в даль-

⁶¹ Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

⁶² Ланский Евгений, прот. Воздух детства — воздух веры // Православие и современность. 2008. № 9 (25) / Гончаренко О. Г. Русский Харбин. М.: Вече, 2009. С. 74.

⁶³ Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 34. «Поехал в Ригу» (эвф. разг. фам. ирон.) — рвет, вырвало кого-нибудь. Выпил лишнего и поехал в Ригу. [При создании этого эвфемизма использовано созвучие слов: г. Рига и рыгать в значении извергать рвоту.] Вариант: Рига — сарай для сушки снопов и молотьбы. Там можно было уединиться и «прийти в себя».

нейшем трагической в связи с мобилизацией в небезызвестное АСАНО⁶⁴. Мне с ним тоже бывает очень весело.

Самый почетный из ожидаемых мною гостей — это доктор Николай Павлович Голубев, с помощью которого я появилась на свет, а посему он называет себя моим вторым дедушкой. Дождавшись, пока „любимый докторчик“ закончит трапезу со взрослыми, я на правах „внучки“ принимаю его отдельно в комнате родителей за низеньким плетеным столиком, угощаю чаем из детского сервиза, „своим“ куличом и сырной пасхой из маленькой формочки. Мне нравится чувствовать себя хозяйкой и самостоятельно принимать такого солидного гостя. Доктор — большой шутник. Вручив мне шоколадного зайца, он с помощью забавных скороговорок учит выговаривать букву „р“ (я довольно долго испытывала с этим трудности). Этот человек излучал обаяние и доброту и был любим не только в нашей семье, но практически, всеми своими многочисленными пациентами.

Бабушка и мама всегда особенно рады приходу Игоря Александровича Мирандова⁶⁵, интеллигентного и остроумного, известного в городе словесника, преподавателя английского языка. Но я как-то смущаюсь перед ним, хотя обычно выдерживаю „экзамен“ на знание стихов наизусть, которые запоминаю без труда, а посему всегда имею выбор, что продекламировать для развлечения взрослых. Визиты продолжают-ся часов до шести вечера. Мама периодически пополняет блюда закусками, подливает в графины „беленькой“ и „красненького“.

Поздним посетителям уже трудно отведать все кулинарные изделия, и каждая лишняя рюмочка небезопасна после многочисленных визитов, начавшихся с утра. Напиваться до потери формы не принято, неприлично доставлять беспокойство хозяйкам. Поэтому запоздалых гостей больше потчуют пирогами и стараются напоить чаем или кофе, не настаивая на праздничных гостах. Вернувшиеся к вечеру дед и папа делятся впечатлениями о том, как их принимали, с кем довелось встретиться в гостях, какая хозяйка превзошла других в кулинарном искусстве.

Нанося визиты в течение целого дня, дедушка умеет сохранить прекрасную форму. У отца с чувством меры похуже, и мама журит его за то, что он явился „навеселе“. Но опьянения „до положения риз“, как тогда говорили, мне не приходилось наблюдать ни среди визитеров, ни в своей семье.

На второй день праздника в гости приходят женщины. На столе „дамское“ вино, после закусок — чайный стол. Обсуждаются рецепты куличей и сырной пасхи, расхваливаются бабушкины пироги, печенье и ватрушки.

На третий день Пасхи и до конца недели будет много радостей и развлечений: домашние детские праздники, спектакли-утренники, поездки с мамой в гости и просто атмосфера праздника дома и на улице. И все три дня через открытую теплоту весен-

⁶⁴ Отряд «Асано» — вооруженное формирование в армии Маньчжоу-го, сформированное из белых эмигрантов, живших в Маньчжурии. Из числа русских эмигрантов готовились кадры для службы в японских военных миссиях и жандармских отделах в качестве агентов, переводчиков и военных осведомителей. Основной лагерь этого отряда располагался неподалеку от Харбина, и во главе был поставлен японский полковник Асано. Отряд так и называли «Асано», а тех, кто служил в нем, — асановцами.

⁶⁵ Игорь Александрович Мирандов (1899–1970) — преподаватель английского языка, помощник директора гимназии и колледжа Христианского союза молодых людей (ХСМЛ), заместитель директора филологических курсов при ХСМЛ. Издатель и редактор ежегодного издания «Прощай, колледж», издаваемого ХСМЛ на двух (русском, английском), впоследствии трех языках (русском, английском, японском). Вернулся в СССР. Умер в 1970 году в Петропавловске.

нему воздуху форточку будет доноситься симфония колоколов многочисленных харбинских церквей праздничный, залиvistый ПАСХАЛЬНЫЙ перезвон»⁶⁶.

Г. В. Мелихов: «Завтра — Воскресенье, первый день Пасхи и ответственный день пасхальных визитов. О, эти пасхальные визиты в Харбине! О них и о самих визитерах можно написать книгу, и, наверное, не одну. Сначала об обстановке, атмосфере.

Первый день... Дома. Нарядно убранная квартира. Хозяйка и весь женский состав семьи, остающиеся сегодня дома, накрывают стол. Лучший сервиз, хрустальные рюмки, бокалы. Наша семья была, вероятно, лишь ненамного выше среднего достатка, но стол уставлялся с утра добрым десятком вкуснейших яств и маминых кулинарных изысков. Водки — в графинчиках, вина и наливки — в бутылках. Наготовлено всего множество, но и визитеров ожидают немало. Вся мужская половина семьи в это время приодевается и отправляется „делать визиты“ — поздравлять с праздником друзей и знакомых.

На улице. Особенное весеннее праздничное оживление. По всем направлениям снуют, едут на извозчиках, на машинах нарядно одетые мужчины в черных костюмах или в пыльниках (так называли у нас плащи), обязательно с белыми кашне. Это и есть визитеры. У многих в руках списки, по которым они ходят из дома в дом. Они сегодня чрезвычайно заняты и деловиты. А то как же! Заходят, поздравляют хозяйку и всех женщин, и детей в доме, выпивают специальную крохотную „визитерскую“ рюмочку, две... Закусывают. И откланиваются. Засиживаться сегодня некогда: ждет следующий дом, а у некоторых — намечены до сорока визитов... Так что... хоть и по „наперсточку“, но... К вечеру возвращаются домой часто, как говорится, „на бровях“...

И весь день отовсюду несется праздничный веселый нестройный перезвон. Сегодня „разрешенное время“ — вход на колокольни всех церквей открыт для всех желающих позвонить, потрезвонить, „поиграть на колоколах“.

По-моему, всех визитеров — и рождественских, и пасхальных — можно разделить на три категории:

— „старички“ — старая гвардия — всегда и при всех условиях до конца сохраняли прекрасную форму;

— среднее поколение — как люди социально активные, с массой друзей и знакомых — они все-таки, подчас „увлекались“, иногда перехватывали через край, к вечеру приходили домой пьяненькие, но, конечно, не до безобразия. Или же, в крайнем случае, их привозил извозчик:

Это ваш барин?..

Наш, наш!..

— третьи — это молодежь, студенты. Как правило, ходили по двое или по трое и, главным образом, по домам знакомых барышень, к своим „предметам“. Раньше (раньше!) — молодые люди водку у нас совсем не пили, но всегда хорошо закусывали, доставляя истинную радость хозяйкам. Договаривались со своими пассиями о вечеринке на третий или следующие дни. Приходили по знакомым домам и священники с крестом, в праздничном облачении, монашки с песнопениями, мальчишки-христославы, певшие тропарь.

Второй день — дамский „чайный стол“. В гости друг к другу приходят дамы. Тут в центре внимания успехи хозяйки в выпечке куличей, ее мастерство в приготовлении всевозможных сырных пасх, тортов, одним словом, сладкого. Устраивались настоящие дегустации...

⁶⁶ Таят М. П. «Храня в душе воспоминанья». Часть 2. <http://pravsvet.ortox.ru/tvorchestvo/view/id/1108375>. Дата посещения 03.05.2024.

Третий день — званые обеды.

Следующие дни — для детских праздников, утренников, для молодежных вечеринок. Танцы — со своими „предметами“, „объектами“ — какое удовольствие! Игры — в „бутылочку“, с поцелуями, „в монахи“ — тоже... Весенние балы и обязательно — „Розовый“ бал ХСМЛ⁶⁷. Качели. Карусель с „лошадками“ в городском саду. Красная горка. Свадьбы, свадьбы, свадьбы... Одним словом — Пасха!!!»⁶⁸

Радоница⁶⁹

Живые к мертвым с надеждой ясной
Душой стремятся и ищут встречи
И в день Пасхальный с яичком красным
Идут туда, где дышит вечность.

Где над крестами склонились ветви,
Немые стражи свечей потухших,
Где ночью бродят при лунном свете,
Ища земное жилище, души.

С любовью шепчут, склонясь к могилам,
Живые мертвым — «Христос воскрес!»
И льется с Неба крылатым гимном:
«Грядет в величье Царь Небесный»⁷⁰.

Бибикина Екатерина⁷¹

Г. В. Мелихов: «Православная Церковь поминает усопших шесть раз в год. Но наиболее значимый и торжественный день поминовения — это, конечно, Радоница. Наверное, не ошибусь, если скажу, что самой оживленной и многочисленной была Радоница на Новом кладбище. В этот день сюда со всего города стекались тысячи православных харбинцев, чтобы навестить родные могилки, помянуть как положено по-русски своих дорогих умерших.

В этот день весь Харбин был у родных могил. Весь транспорт, который только существовал в городе, был широко использован от раннего утра и до наступающих сумерек... Из переполненных трамваев виднелись целые семьи людей; ребятишки выглядывали из окон; сидячие и стоячие пассажиры ехали с корзинками со всякой снедью, с узелочками и узелками. А в них — и цветочки, и освященные вербочки, и куличи, и крашеные яйца — покрошить на могилках и раздать нищим „на помин души“. И вся-

⁶⁷ ХСМЛ [Христианский союз молодых людей] (Харбин, 1925—1933).

⁶⁸ Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 322—324.

⁶⁹ Радоница, Радуница — день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших. В Русской православной церкви отмечается во вторник после Фомина воскресенья, на второй неделе после Пасхи. Выбор в качестве дня поминовения именно вторника обусловлен логикой устава: заупокойные богослужения запрещены всю Светлую седмицу и Фомино воскресенье, поэтому панихиды накануне понедельника совершить невозможно.

⁷⁰ Цит. по: Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5. (Харбинка Екатерина Ершова (Бибикина) вернулась на родину в 1954 году; по этому поводу ею написано стихотворение «Возвращение».)

⁷¹ Екатерина Ивановна Раевская (урожд. Бибикина) (1817—1899) — русская писательница и художница.

кая снедь для себя — ведь едут-то надолго, — посидеть, отдохнуть на скамеечках у могил и просто на траве, закусить и даже выпить. Ряды китайцев-торговцев на подходах к кладбищу шумно предлагают цветы: искусственные, живые — срезанные и в горшочках, веночки, напитки и сладости.

Священники, служащие панихиды на могилах; несущиеся со всех сторон их возгласы: „Христос Воскресе из мертвых“, „Смертию смерть поправ“, „Вечная память...“, ветер приносит дымок ладана... Пряный запах черемухи и какой-то остро пахнущей травы перемешивается с дымом ладана, а возгласы детей и окрики взрослых — с пением пасхальных молитв на могилах. Наполненное этими звуками и запахами, кладбище как будто оживает...

А там, за противоположной от входа его стороной, через улицу, располагались такие же тенистые и ухоженные католическое, лютеранское, мусульманское и еврейское кладбища. Но там сегодня — обычная тишина и покой. К вечеру на большой поляне служилась Вселенская панихида. Еще большее оживление царило здесь в те годы, когда православная Радоница совпадала с китайским праздником поминовения усопших в соседнем с Новым кладбищем китайском монастыре Цзилэсы.

„В этот день сюда отправляются, — писала газета «Время», — десятки тысяч китайцев. Возле храма сооружаются многочисленные цинопочные балаганы, цирки, киоски и рестораны, представляющие собой отделения харбинских и фуцзяньских ресторанов; все это открывается около храма только на время торжественного празднования и поминовения духов усопших родственников и предков. Оживление наступает задолго до торжественного часа. Принимаются решительные меры по регулировке движения, которое осложняется телегами крестьян, прибывающих на праздник из окрестных деревень. Вокруг храма вырастает огромный базар и целая улочка этих походных ресторанов, пользующихся огромной популярностью. Цинопочные стены всех заведений оказываются в конце празднества почти сплошь обклеенными квадратиками ритуальной желтой бумаги, с соответствующими изречениями, которую поминающие специально покупают для своих целей“. Картина этого праздника, которую я видел всего один раз, была колоритнейшая и запомнилась на всю жизнь...»⁷²

Архиепископ Нафанаил (Львов): «На Радоницу кладбища от раннего утра до позднего вечера были наполнены толпами богомольцев, поминавших своих родственников. Во внехарбинских приходах поминовение усопших на Радоницу совершалось по понедельникам Фоминой недели, а ко вторнику все батюшки со всей Маньчжурии съезжались в Харбин, и все-таки духовенства всегда не хватало в этот день»⁷³.

Епископ Нестор (Анисимов): «На кладбище приходит весь Харбин через неделю после Пасхи, во вторник, когда празднуется Пасхальная Радоница. В этот день все, кто имеет почивших близких, друзей и знакомых на городском кладбище, приходит туда, чтобы похристосоваться с ними, поделиться с ними пасхальной общей радостью, объединяющей и живых, и усопших.

В день Радоницы народ еще с утра идет к литургии в храмы. Там, посредине церквей, стоят длинные вереницы столов, заставленные кутьей, просфорами, куличами, пасхами, яйцами для христосования с почившими и для раздачи бедным. После литургии служится панихида, а потом все — и духовенство, и миряне — едут на кладбище.

Конечно, есть какой-то отголосок язычества в этом поминальном торжестве, особенно к вечеру, когда на могилах родственники почивших начинают есть и пить, до-

⁷² Мелихов Г. В. Белый Харбин. Середина 20-х. М.: Русский путь, 2003. С. 335—336.

⁷³ Нафанаил (Львов), архиепископ. Очерки русской жизни в Маньчжурии // Русская Атлантида. 2004. № 11. С. 29.

ставая из принесенных корзин и кульков заготовленные припасы. Но утром и днем, пока поминальные пиршества не начались, народ истово молится у родных могил, христосуясь с покойниками по доброму христианскому обычаю.

От могилы к могиле ходят священники. И среди зеленеющих кущ и деревьев, среди пестреющих цветами могил, звучат слова церковных песнопений пасхальных и заупокойных. Безвестные могилки безродных бедняков также не остаются не посещенными в этот день. Как среди некоторых священников, так и среди многих благочестивых мирян, есть добрый, благочестивый обычай в день Радоницы посещать забытые могилы с молитвой и радостным приветствием — „Христос Воскресе!“⁷⁴

Священник Николай Падерин: «Наибольшее стечение народа на кладбище наблюдалось, конечно, в день Радоницы. Если в праздник Богоявления почти весь православный Харбин направлялся на реку Сунгари, то в этот день пасхального поминовения усопших такое стечение народа наблюдалось на Успенском кладбище. Для совершения панихид на могилах съезжалось на кладбище не только все городское духовенство, но и духовенство ближайших линейных приходов.

Идешь по кладбищу и слышишь впереди и по сторонам панихидное пение: здесь поют „Христос воскрес“, там произносится ектенья, тут поют „Со святыми упокой“, а там уже „Вечную память“. Это продолжается в течение всего дня до пяти часов вечера, когда все объединяются на месте вселенской панихиды на одном из участков кладбища. Панихида совершается архиерейским служением со множеством духовенства при пении усиленного соборного хора.

Возвращаясь с кладбища, верующие раздают милостыню деньгами или пасхальными куличами и яйцами убогим, во множестве собравшимся в этот день поминовения. „Веруй в Мя, еще и умрет — оживет“, — гласит выдержка из Евангелия, помещенная на своде ворот кладбища, которую, обернувшись для крестного знамения, читают уходящие домой к своим житейским занятиям с этого места покоя православные люди Харбина»⁷⁵.

Н. Н. Лалетина (Николаева): «Вслед за Пасхальной неделей была Радоница. Всем миром шли во вторник на кладбище. В этот день стояла проблема, как добраться от собора по Большому проспекту до кладбища, которое, казалось, было нескончаемо далеко. В лучшем случае ехали на драндулетке-американке, но и это было в тот день проблемой, весь город шел и ехал на кладбище. Уже становилось достаточно тепло, но были и годы, когда было в это время жарко. Для меня это путешествие всегда было мукой, если еще идти пешком.

Задолго до ворот кладбища стояли со всего города собравшиеся нищие разных мастей — цыгане, китайцы, русские, все с полными уже к вечеру мешками подаяния — куличей, яиц и всего съестного. Мы заходили на кладбищенскую территорию, и вот тут начиналось хождение от могилы к могиле всех ушедших родных и знакомых. Главной заботой необходимо было „поймать“ батюшку, а они были нарасхват, чтобы отслужить панихиду на той или иной могиле. Наконец, когда это удавалось, а его каждый тянул на свою, он быстро отпевал очередника, быстро помавав кадилом и пропев „Со святыми упокой...“, бежал к следующему.

После совершения панихиды садились на скамеечку возле, накрывали, если не было столика, на могилку салфетку и раскладывали припасы для поминания. После поминальной трапезы обязательно надо было крошить остатки кулича и яичек птицам. Между могил бродили нищие и просили подаяния.

⁷⁴ Нестор, епископ. Маньчжурия—Харбин // Русская Атлантида. 2005. № 16. С. 41—42.

⁷⁵ Падерин Николай, священник. Церковная жизнь Харбина. Из кн.: Церковь твою утверди: Из воспоминаний о церковной жизни Харбина. Сан-Паулу, 1967. Цит. по: Русский Харбин. Изд. Московского ун-та, 1998. С. 32.

К вечеру, переходя от одной могилки к другой, я уже не в состоянии была еще куда-либо тащиться за взрослыми, и начиналось нытье — пошли домой! В пять часов вечера возле кладбищенской церкви Успения начиналась Вселенская панихида, на которую идти не было уже ни сил, ни желания. И вожделенной мечтой было снова попасть на драндулетку, но желающих было гораздо больше, чем транспорта, и зачастую приходилось волочить ноги до собора, а там шел в Саманный городок трамвай домой.

Тогда Большой проспект — это была такая даль! Но в 1997 году, когда я жила у своих приятелей возле Успенского кладбища, оказалось — от собора до них рукой подать! И как это мы ходили в детстве и не представляли, что это так близко! Но вот сейчас, вероятно, опять покажется далеко и трудно, пришла старость... Теперь понятно, что имеется в виду за фразой „что старый, что малый...“⁷⁶

День Святой Троицы⁷⁷

Н. Г. Шарохин: «День Святой Троицы праздновался уже летом, когда было тепло. Продавалось множество снопиков молодой зеленой травки, которую потом разбрасывали на полу помещений. Ставились зеленые ветви деревьев, покупались букеты цветов. Люди стояли с букетами цветов и с зажженными свечами. День Святой Троицы был особенно светлым, невольно думалось о том, сколько поколений русских людей соблюдают этот праздник»⁷⁸.

Г. В. Хатковский: «День Святой Троицы, Пятидесятница также широко отмечался в Харбине русскими людьми. Вездесущие китайские торговцы знали заранее, что требуется русским к соответствующему православному празднику, приносили по домам свежескошенную длинную траву, которой мы застилали в квартире все полы, соблюдая русский обычай. Во всех русских домах пахло приятно этой травой, напоминая о празднике Святой Троицы. После богослужения собирались все родные для поздравления.

Так жили мы, русские, сохраняя все старинные обычаи и традиции в далеком Харбине на китайской земле, мечтая о скорейшем возвращении на родную землю в Россию, что не все сумели осуществить, оставшись навсегда в китайской земле, а сейчас мы не имеем возможности посетить родные могилки»⁷⁹.

С. С. Троицкая: «Через 50 дней после Пасхи — праздник Святой Троицы. К этому дню хор готовил красивый праздничный репертуар и специальный концерт (запричастное) Преславная днесь Дегтярева. Радостно, весело праздновали Троицу русские люди в Харбине. Долгая холодная зима осталась далеко позади. Обычно этот праздник был в конце мая — это конец весны, или в начале июня — начало лета. Тепло. Ласково греет солнышко. Деревья покрыты молодой листвой. В полях цветут цветы. И настроение у людей становится бодрее; веселее, с надеждой смотрят они в будущее.

В этот праздник дома и храмы по обычаю были украшены зелеными ветвями, полы усыпаны душистой травой. Китайцы знали этот русский обычай и накануне праздника носили на продажу траву в корзинах на коромысле, которую хозяйки и покупали у них. На главных улицах города они продавали весенние цветы, главным образом, душистые ландыши и пионы, а также и другие полевые цветы. В самый праздник в цер-

⁷⁶ Лалетина (Николаева) Н. Н. Японцы // Русская Атлантида. 2009. № 33. С. 34—35.

⁷⁷ День Святой Троицы (Троица, Троицын день) — один из главных христианских праздников. Православная церковь празднует День Святой Троицы в воскресенье в день Пятидесятницы — 50-й день после Пасхи.

⁷⁸ Шарохин Н. Г. Мой Харбин // Русская Атлантида. 2007. № 22. С. 56.

⁷⁹ Хатковский Г. В. Юность моя — Харбин // Сибирская православная газета. 2003. № 5.

ковь шли с букетиками цветов в руках. А в храме везде зелень: на полу трава, алтарь украшен веточками; около колонн и хоругвей привязаны большие ветви деревьев, а на аналое посредине церкви икона праздника украшена живыми цветами. И душу охватывала светлая радость»⁸⁰.

Эпилог

Н. Г. Шарохин (2008): «Все чаще и чаще грезится Харбин. Всплывают воспоминания далекого прошлого: улицы, здания, скромные домики, окруженные кудрявыми садиками, величественные соборы и гулкий звон колоколов, образы людей, давно ушедших из этого мира, торжественные праздники, великолепные богослужения в церквях, упряжки чистокровных рысаков, милая родная русская речь, звучащая повсюду, торжественное шествие христовославов со звездой, крещенские богослужения на Сунгари, бесконечные толпы людей, спешащих на поклонение к чудотворному образу святого Николая на вокзале. Сердце мое разрывается от воспоминаний. Харбин — светлый град Китеж, ушедший из этого мира! Разрушенные и оскверненные кладбища и могилы дорогих мне людей, разрушенные прекрасные храмы и величественные здания! Все это осталось только в моих воспоминаниях»⁸¹.

Я с грустью глубокой Харбин покидаю,
Мой город, построенный русской рукой.
И снова вернусь ли к нему — я не знаю.
Нет, лучше пусть будет в мечтах он со мной.

Любовь Ланге

⁸⁰ Троицкая Софья. Русский Харбин: Воспоминания. Брисбен, 1995. https://zarubezhje.narod.ru/texts/chss_1221.htm. Дата посещения 03.05.2024.

⁸¹ Шарохин Н. Г. Чужой среди своих // Русская Атлантида. 2008. № 28. С. 68.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НЕВА» ЗА 2024 ГОД

Наталья Анатольевна Гранцева (Милих). III, 3.

Памяти Натальи Гранцевой. III, 4.

Проза

Азаева Э. Недобитки и иже с ними. *Рассказ*. V, 111.

Алейников В. Воин света. *Проза поэта*. VI, 9.

Ахметова А. Сольтадас. *Повесть*. IV, 22.

Бескровный И. Дуб Артем Воробьев. Птица в хоре. Трагедия. *Рассказы*. II, 76.

Бузулукский А. Нежность Пушкина. *Стихотворения в прозе*. X, 67.

Бушуева М. Тихая душа. Шкаф. Сбежавший. Светящиеся фонарики. *Рассказы*. II, 8.

Вялков П. Король и шут: парадигмы времени. Звездные войны: postscriptum истории. Ночь в Шереметьеве... «Атлантида». *Рассказы*. II, 122. Правдивая история персидской княжны. *Рассказ*. VI, 120.

Вяхякупус Е. На перекрестках. Все нужно делать вовремя. Женская гордость. Две матери. Пипа. Сад. «Молочные ведомости». *Рассказы*. II, 113.

Гедымин А. Мама в своем репертуаре. *Рассказ*. IV, 14.

Гобзев И. Предсказание. *Рассказ*. V, 131.

Грозная К. Мы вышли из девяностых. Мой боди-арт. Студентки на телевидении. Енот и свадебный лимузин. *Рассказы*. III, 88. Роудлента. *Роман*. IX, 9.

Гундарин М. Mindestkontakt erforderlich. *Повесть*. V, 150.

Гурина А. Путь в Дамаск. *Рассказ*. I, 6.

Долгопят Е. **Метемпсихоз**. Две сестры. Метемпсихоз. Прецедент. Синоптик. *Рассказы*. III, 138.

Евсеев Б. Аскания. *Заповедная повесть*. XI, 7.

Земан А. Васил Иннокентьевич: частица сибирской эпопеи. Главы из романа. Перевод с чешского и предисловие С. Солоуха. III, 14.

Ильичёв Л. Когда рок-н-ролл был зеленым. *Роман*. Предисловие П. Барсковой. XII, 8.

Каминский Е. Вглубь. *Повесть*. VIII, 8.

Каспер К. Вариант доктора Стокманна. *Вариации на тему пьесы Генрика Ибсена «Враг народа»*. Перевод с эстонского Л. Шера. VI, 71.

Колина Е. Теперь я это знаю. *Рассказ*. III, 109.

Крусанов П. Полет шмеля. *Рассказ*. II, 101.

Крюкова Е. Долина царей. *Фрески*. V, 7.

Ливергант А. Даниель Дефо: Факт или вымысел. *Фрагмент книги*. VIII, 89.

Макаров А. Свобода для мертвых. *Рассказ*. IV, 147. Намасте. Тише, тише... *Рассказы из цикла «Золотая чешуя»*. IX, 132.

Мирошниченко В. Мы не успели оглянуться... *Повесть*. XII, 106.

Митрофанова А. Молчание Паулины. *Повесть*. VII, 7.

Михайлова П. Топить можно вернуться. *Рассказ*. I, 113.

Мосова С. Ярослава. Козлиная песнь. *Рассказы из цикла «Картинки конца столетия с бабочкой в правом верхнем углу»*. IV, 8.

Начарова И. Житейские истории. *Рассказы*. VI, 115.

Носов С. Экссесс. *Рассказ декламатора*. III, 121.

Окоменюк Т. По уточненным данным... *Рассказ*. VI, 89.

Олексюк А. Предметы. *Цикл миниатюр*. I, 58.

Осолодкина Д. Не переплыть. За дверью. *Рассказы*. I, 35.

Пенкин А. Розовый банкомат. Заветная субсидия. *Рассказы*. I, 77.

Перегулов В. Метель. *Рассказ*. VIII, 101. Лес. Сапсан. *Рассказы*. XI, 52.

Пятков А. Выхожу один я на дорогу... Автобус проходит обратно. Поминки. Как будто жизнь прошла... До вокзала. Рябиновый день. Утром, поздней осенью. *Рассказы*. I, 15.

Разживин Р. Работяги на грани вечности. *Рассказ*. VII, 35.

Рябов О. Рисуночек Пикассо. «Шестисотый». *Рассказы*. XII, 136.

Сенчин Р. Поминки. *Фрагмент книги-очерка*. VIII, 58.

Сергеев С. Чтение и чувства. *Страницы романа*. II, 27.

Стригин М. Исповедь искусственного интеллекта. *Рассказ*. I, 103.

Тарасов Д. Опыт бессмертия, или Поручик Тенгинского пехотного полка. *Повесть*. X, 7.

Федоровский И. Человек, не встретивший человека. *Рассказ*. VII, 51.

Фетисов Е. Бегство. Вечер Пасхи. *Рассказы*. XI, 39.

Чайковская И. Везувий зев открыл. *Рассказ*. XI, 71.

Черникова Е. Партита соло. *Рассказ*. VIII, 79.

Шапиро М. Аллергия. Голубой единорог. Сон Израиля. *Рассказы*. IV, 124.

Шумейко И. Егр. *Федеральный роман*. VII, 72.

Юрьева А. Литературная критика. Не в ресурсе. Абыюзер. История про мальчика, или Почему оливы не режут треугольником. Щетки. Родные люди. *Рассказы*. III, 151.

Поэзия

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Агаркова В. VIII, 55. | Лашин Е. IX, 128. |
| Аникина О. VI, 84. | Леонтьева М. XII, 103. |
| Бобылев Д. III, 131. | Литвак С. II, 151. |
| Валух М. IX, 139. | Лукин Е. I, 69. |
| Вацаев О. III, 172. | Мавлиханов (Будда) Р. V, 128. |
| Викторова О. V, 145. | Машевский А. IV, 144. |
| Витченко Е. II, 3. | Митюшкин Н. I, 32. |
| Власов Г. XI, 3. | Полянская Е. III, 8. |
| Гедымин А. VI, 68. | Пугач В. XI, 48. |
| Городницкий А. IV, 3. | Рецептер В. V, 3. |
| Гундарин М. VIII, 73. | Синельников М. VIII, 85. |
| Данилова С. VII, 28. | Скобло В. III, 84. |
| Замшев М. II, 73. | Соболь О. VII, 69. |
| Зиновьев Д. VI, 109. | Степанов Е. VIII, 3. |
| Зубарева В. IV, 117. | Стоянова Т. VII, 3. |
| Калмыкова В. VI, 3. | Фролов А. V, 109. |
| Каминский Е. IV, 18. | Хайруллин Ф. I, 55. |
| Ковалев Б. X, 3. | Харитонов Е. I, 100. |
| Комаров К. I, 3. | Чигрин Е. X, 60. |
| Крылов Д. VII, 171. | Шарыгина К. VII, 48. |
| Курапцев А. X, 76. | Шелудько Л. XII, 3. |
| Ларина Т. I, 12. | Шихалёв А. II, 109. |

Вселенная детства

- | | |
|---|--|
| Кечеджан А. Городской остров. <i>Мариупольские рассказы</i> . X, 128. | Окоменюк Т. Клуба с петушками. <i>Рассказ</i> . VIII, 108. |
| Макарова И. Дворовые игры. <i>Рассказ</i> . III, 176. | Шабанова А. Зефирантес. <i>Повесть</i> . I, 126. |
| Малышев И. Детские игры. <i>Рассказ</i> . XII, 149. | Юрьева А. Детство цвета зеленки. Пики. Фишки. Снежное чудовище. <i>Рассказы из цикла «Городок»</i> . IV, 156. Ботики. Одуванчик. <i>Рассказы</i> . V, 190. |
| Михалкова Т. Мое детство. VI, 166. | |
| Обух А. Я тут был, я тут буду еще долго. <i>Рассказ</i> . VII, 199. | |

Нестоличная Россия

- | | |
|--|---|
| Авченко В. Космос Шукшина. <i>Предисловие Е. Попова</i> . XII, 143. | Знобищева М., Макаров А., Часовских Е. Тамбовские лирики. <i>Стихи. Предисловие М. Кудимовой</i> . X, 90. |
| Ансеров И. Газовый ключ. <i>Повесть</i> . VII, 173. | Кантов Д. Стихи. <i>Предисловие Е. Каминского</i> . XI, 74. |
| Бакалова А. Город людей. <i>Рассказ</i> . X, 92. | Мушинский А. Холодно, горячо и опять холодно. <i>Рассказ. Предисловие Е. Попова</i> . XI, 80. |
| Белозёров А. Грустное волшебство . Как пройти в библиотеку. <i>Рассказ</i> . Москвы нет. <i>Правдивая повесть</i> . X, 103. | Новикова Л. Стихи. <i>Предисловие Е. Каминского</i> . XI, 91. |
| Бирман Д. <i>Стихи</i> . IX, 3. | Русаков Э. Моя жена — корректор. Гордая мама. Машина времени. Комсорг дурдома. <i>Рассказы из цикла «Комсорг дурдома»</i> . <i>Предисловие Е. Попова</i> . VI, 143. |
| Болотников А. <i>Стихи</i> . VIII, 144. | |
| Даль А. Варезжа. Шторм. Скрипка. Собачья жизнь. <i>Рассказы. Предисловие Е. Полянской</i> . XI, 97. | |
| Жданов А. Гори, гори ясно. Подвалы пахнут войной. <i>Рассказы</i> . V, 181. | |

Савченко А. Птицам тесно в небе. *Повесть*. VIII, 114. Харитонов Е. Стихи. V, 177.

Переводы

Из французской и англоязычной поэзии. *Пер. М. Серебринского. Вступительное слово М. Кудимовой*. I, 148.

Архипелаг Благородства

Доморощенок С. «Она не боится самого прокурора...». XII, 152. *гопят, С. Щелкунова, И. Шумейко, М. Бушуева*. VI, 180. Лечить и учить надо всех. XI, 120.
Мелихов А. «Бойцы должны видеть друг друга». *Авторы: Д. Драгунский, В. Калмыкова, Е. Дол- Мухина И. Рождение Сталиночки. Рассказ*. VIII, 150.

Год семьи

Усов В. Семь путей по бездорожью. *Семейная хроника*. IX, 143.

Мудрецы и поэты

Рыбаков В. Вредно быть богом. VIII, 153.

Публицистика

Бердников Л. Глубокий эконо. III, 198. Дерзость подпоручика Ржевского. VIII, 173. Попов Е., Гундарин М. Явление «Невозвращенца». VI, 188. Мракобес и империалист Кабаков. XI, 136.
Беркович Е. Охотничьи рассказы академика Арнольда об Эйнштейне и Пуанкаре. VIII, 157. Травин Д. Рождение свободы в Европе. *Часть 1*. III, 178; *Часть 2*. IV, 171.
Верность и свобода. *Диалог писателя Александра Мелихова и поэта Вадима Пугача*. IV, 164. Усанов П. Загадка промышленной революции: какое событие вызвало промышленную революцию в Англии. X, 142.
Заньковский А. Время твердых медуз: Метамодерн, который мы заслужили. I, 156. Фрумкин К. Куда эволюционирует мораль. XII, 155.
Костецкий В. Обратная сторона цивилизации. XII, 167. Харченко В. Современные угрозы и деятельность филолога-профессионала. V, 212.
Кураев М. 100 лет без Ленина. *Размышления с отступлениями*. II, 157.

Машевский А. Так кончилась ли история? IX, 204.
Мелихов А. Защитит эстетика. V, 208. Самый драгоценный и опасный дар Прометея. VII, 205.

Критика и эссеистика

Блохин Н. «Всё тихо — на Кавказ идет ночная мгла...». III, 208. Той». X, 176. Прирученный авангард, или Что такое тотальность искусства. XII, 182.
Влащенко В. «Огненное А» и духовная драма Евгения Замятина. II, 176. Коваленко В. Неформатная и неформальная: атипичные произведения в мировой литературе. XI, 184.
Давидиани Д. Потаенная символика фашизма. *Неразгаданная кинопритча Андрея Тарковского*. IV, 209. Костецкий В. Эстетика улицы в ранней античности: истоки западной философии. VII, 208.
Зубарева В. Смирная лачужка: Коломенский сюжет на «встречном течении». VI, 203. Лурье Ф. Дуэль Пушкина с Дантесом. I, 166.
Калмыкова В. Вор. Зверь. Художник. Читатель. V, 216. Слабые места силы. VIII, 190. «И жадно взор гонялся мой за каждой краской и чер- Мелихов А. Невидимая миру трагедия. VIII, 200.
Панкратов Г. Шамора-Вава-завертон: о поездке во Владивосток на фестиваль «Печатный двор» от АСПИР. VIII, 204.

- Свешников В. На Таганке. XII, 192.
 Секацкий А. Свобода под покрывалом. XI, 150.
 Семкин А. Бунин и Тэффи. *Об одной любопытной сюжетной перекличке*. XII, 176.
 Собенников А. Первая мировая война в русской поэзии: от факта к мифу. XI, 167.
 Фрумкин К. Как литературные критики оценивают язык писателей. IV, 195. Пространство— время—смерть: Метафизика Иосифа Бродского. IX, 211.
 Щербинина Ю. Языковая картина мира в современной российской прозе. III, 212.

Петербургский книговик

- Балтин А. К 215-летию Н. В. Гоголя. III, 222. Виктор Виктора Астафьева. V, 226. К 100-летию В. Солоухина. VI, 232.
 Васькин А. Корней Чуковский: Путешествие из Ленинграда в Москву. VII, 220.
 Воскобоева Е. Творческая и сценическая истории сатирического обозрения Е. Л. Шварца «Под крышами Парижа» (к постановке темы). XI, 188.
 Горбачевский А. Картина мироздания в романе «Мастер и Маргарита». XI, 196.
 Далеинова Л. Благословенные писательницы... I, 215.
 Дробинина Н. Ветви и корни. I, 203.
 Евграфов Г. Исход. VIII, 210.
 Захаров А. Говори, Мнемозина! Заметки энтомолога о Владимире Набокове. IV, 220. Leonid Maksimovich. Заметки ботаника о Леониде Леонове. V, 230.
 Зубарев А. Сколько веревочке ни виться... I, 207.
 Измайлов А. «Я родом не из детства – из войны». V, 224.
 Киселева М. Потерянное поколение нашего времени. I, 199.
 Книжный остров. Публикации Е. Зиновьевой. I, 224; II, 217; III, 236; IV, 234; V, 238; VII, 235; VIII, 234; IX, 233; X, 237; XI, 219; XII, 224.
 Колесников Д. Живые стихи Бориса Рыжего. IX, 228.
 Крап拉克 О. Некритические эссе. X, 232.
 Либерман А. Живой Тургенев. III, 225.
 Мальцева А. Век Виолеты... I, 211.
 Маркелов Н. Лермонтов: кавказский контекст. X, 198.
 Маслова А. Пляска смерти. I, 201.
 Мелихов А. Это многих славный путь. II, 210. Романтический путеводитель. III, 231.
 Минаков С. Дочь Тарковского, сестра Тарковского, мать Тарковского... XII, 218.
 Новикова-Строганова А. Право на достоинство личности... I, 219. Вслед за Гоголем... IV, 216. Единство поэзии и прозы (И. С. Тургенев и Алоизиус Бертран). VI, 222.
 Панурова Д. «Создать новый документ». I, 196.
 Рейбо М. Неувядающая классика: рождение нового героя в «золотую» эпоху западноевропейского реализма. IV, 224.
 Севрюгина Е. Легкое дыхание памяти. III, 233. Поэзия критики. XII, 221.
 Сеницына Л. Что наша жизнь? VI, 235.
 Соснина Е. Мистический след в биографии М. Ю. Лермонтова. X, 191.
 Спектор В. Время не ангелов — бесов, войны и попкорна... IV, 230. Переступив черту добра и зла, войны и мира... V, 234.
 Сухих И. Мысль семейная-2023. I, 196.
 Хусаинов А. Кому принадлежит прошлое? VI, 240.
 Чайковская В. Точные данные бесспорных свідетельств. XI, 213.
 Чайковская И. К вопросу о поэтике Чехова. *Собачка в «Даме с собачкой»*. XII, 213.
 Яковлева А. Омут в четырех стенах. I, 213.

Пилигрим

- Архимандрит Августин (Никитин). Харбин — «русский Китеж». *Часть 8*. I, 229; *Часть 9*. II, 228; *Часть 10*. III, 241; *Часть 11*. IV, 242; *Часть 12*. V, 244; *Часть 13*. VI, 242; *Часть 14*. VII, 240; *Часть 15*. VIII, 241; *Часть 16*. IX, 239; *Часть 17*. X, 243; *Часть 18*. XI, 227; *Часть 19*. XII, 227.

Contents

Prose and Poetry

Leonid Sheludko. Poems • 3

Leonid Ilyichev. When Rock and Roll Was Green. *Novel. Foreword by P. Barskova* • 8

Maria Leontyeva. Poems • 103

Viktor Miroshnichenko. We Didn't Have Time to Look Back... *Story* • 106

Oleg Ryabov. Picasso's Drawing. „The Six Hundredth“. *Short stories* • 136

Non-Capital Russia

Vasily Avchenko. Shukshin's Space. *Foreword by E. Popov* • 143

Universe of Childhood

Igor Malyshev. Children's Games. *Short story* • 149

Archipelago of Nobility

Sergey Domoroshenov. „She's Not Afraid of the Prosecutor Himself...“ • 152

Publicistic Writings

Konstantin Frumkin. Where Morality is Evolving • 155

Viktor Kostetsky. The Other Side of Civilization • 167

Criticism and Essays

Alexey Semkin. Bunin and Teffi. *About One Curious Plot Roll Call* • 176

Vera Kalmykova. Tamed Avant-Garde, or What is the Totality of Art • 182

Vyacheslav Sveshnikov. On Taganka • 192

Petersburg Bookman

Art of Reading. *Irina Tchaikovskaya.* On the Question of Chekhov's Poetics. The Dog in „The Lady with the Dog“. **Territory of Memory.** *Stanislav Minakov.* Tarkovsky's Daughter, Tarkovsky's Sister, Tarkovsky's Mother... **Reviews.** *Elena Sevryugina.* The Poetry of Criticism. **Book Island.** *E. Zinovieva's Publication* • 213

Pilgrim

Archimandrite Augustine (Nikitin). Harbin — „Russian Kitezh“. *Part 19* • 227

Contents of the journal „Neva“ for 2024 • 251

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»

Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18

Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9

Телефон: (812) 314-72-50

E-mail: nevaredaction@mail.ru

Страница «Невы» в «Журнальном зале»: <https://magazines.gorky.media/neva>

Сайт «Невы»: <http://nevajournal.ru>, <https://neva-journal.ru>

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежие номера журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция. Заказ можно оформить на сайте издательства: <http://nevajournal.ru/book.html>, <https://neva-journal.ru>

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 15.10.2024. Подписано в печать 19.11.2024.

Выход в свет 03.12.2024. Гарнитура «Октава».

Формат 70×108 $\frac{1}{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.

Тираж 800 экз. Свободная цена. Заказ № 68

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»

199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86

Тел. (812) 207-58-43